КРАСНАЯ НОВЬ

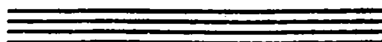
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 8

АВГУСТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ



Продолжение воспоминаний С. Подьячева **«Моя жизнь»** будет помещено в следующем номере **«Красной нови»**.

14-я типография
„МОСПОЛИГРАФ“
Варгунихина гора, 8.
Главлит № А-43931.
П. 13. Гиз 33446.
Заказ № 2474.
Тираж 13.000.

Свои и чужие

(Рассказ)

Леонид Борисов

Окулов отвел глаза от кораблика на Адмиралтействе и огляделся.

Разорванным кружевом свисали опушенные инеем ветви лип. Синева и прозелень тусклыми полотнищами лежали на фасадах домов. Туго заплетенной косой тянулся из труб медлительный дым. По-зимнему булькали звонки трамвая, и стучали копыта лошадей.

Город тонул в лунном водопаде.

В полночь запели фабричные и заводские гудки. Окулов на мгновение протрезвел и подумал о том, что до Путиловца очень далеко — во-первых, начала работать третья смена — во-вторых, и окончательно ушла жена — в-третьих.

Завод позвал и умолк. Кому следовало, тот пошел и встал за работу. Окулов допил булькавший на донышке бутылки остаток, крякнул и произнес в сторону милиционера:

— А жена ушла...

И добавил:

— А мы пьем.

Нагнулся, поставил бутылку на краешек плоской тумбы, мигнул в пространство и пошел, как пароход в бурю.

Окулов жил на Пушкинской улице.

Жена ушла.

Третья смена подошла к станкам.

В шесть утра город скупо помутнел. Окулов спал у подножия василеостровских сфинксов. Карманник с рыжей бородой и тремя пальцами на правой руке невозбранно возился над ним. Ему достались: кошелек с полтинником, билет члена профсоюза металлистов на имя Николая Ивановича Окулова, портрет женщины с ребенком на коленях, серебряная цепочка с медным ключом и рабочий номер 392.

I.

1912 год. Лето. Санкт-Петербург.

Был июль, жгло солнце, летела сухая, праздничная пыль. От тоски и скуки Окулова потянуло в Александровский сад. В саду бил фонтан. В длин-

ных юбках с боковыми разрезами прохаживались вкруг фонтана женщины. За ними толпами шли солдаты и матросы, покуривая и снисходительно остря. Александровский сад в ту пору был надежным убежищем от начальства. Офицер и генерал в этот сад не входили: пахло махрой, потом и низшим сословием. Представители сего сословия кушали мороженое, пили лимонад и навзрыд кричали:

— Земляк! А накрути мне всех сортов!

Сортов было четыре: сливочное, земляничное, крем и лимонное. Мороженщики богатели, ибо было жарко. Шаркали ботинки, стучали острые каблучки, шуршали газеты-копейки. Часы на Адмиралтействе говорили шесть.

— Тоска! — воскликнул Окулов, оглядывая свои запылившиеся сапоги и низ штанов. — Жену бы мне...

У круглого прудка с золотыми рыбками Окулов остановился и стал решать: что делать?

Седьмой час. В кармане восемнадцать рублей. Получка через неделю. Долгов нет. Здоров. Тоска.

— Познакомлюсь-ка вот с этой. Ишь, ты, сидит и скучает. Скажу ей: давайте скучать вдвоем.

Сел рядом и сказал:

— Градусов тридцать, не меньше. Дождика бы хорошо.

Помолчал, присмотрелся к чулкам и туфлям и продолжал:

— Живешь это, уверяю вас, как бык в запряжке. Работаешь по двенадцать часов в сутки, а больше шести красных не выгонишь. Никак.

— Хорошие деньги, — заметила шляпка с зеленым пером.

— Деньги что! Человека нету, должны вы это понять! Образования нету, культуры , отпуска нету. Ходишь, как каторжник! Дома у меня «Нива» с приложениями, посуда, костюм хороший, мать в деревне.

— Вы смешной, — заметила шляпка.

— Рабочий я человек, барышня. Другие тут, солдаты да матросы, к бабам пристают, как мухи. Им что — уволили на день, а вечером в казарму. Вы поймите: тоска.

— А вы женитесь, — улыбнулись глаза, рот, ямочки на щеках.

— Милая вы моя, угадали! Пронзительный у вас глаз на тоску мою! Вон там, на Невском, офицер барышне перчаткой махнул, духами понесло на всю улицу, понимаете? Городовик на тебя косо глядит, ясно? На заводе шпионы, увольнение, понимаете? Ото всего тоска. Из царевой рожи на полтиннике свиную морду сделаю, хотите? Скучно вам, как я погляжу.

— С вами мне не скучно.

— Тоска, милая, спасибо вам! На мой взгляд, лодки надо на Неве предоставить рабочему человеку. На заводе, чтобы в деревню отпустил. Свободы рабочему человеку нету!

Свободы рабочему человеку не было. Слева от сада стоял Сенат и центральная канцелярия господа-бога, справа—дом градоначальника, в тылу Окулова — военное министерство. Генерал поймал у входа в сад солдата и пек его службой, притоптывая.

В восемь вечера Окулов и Анна Николаевна Бутова шли по набережной. Шпоры, котелки, трости, мутные русско-интеллигентские глаза. Две-три рабочие кепки конфузливо жались к торцам. Ладожский ветерок рябил воду. Окулова грызла тоска.

— Ведь вот, Анна Николаевна, познакомились мы с вами просто и хорошо. А заметили вы, что нам с вами среди всех людей в городе места нету? Вижу как на ладошке. Эх, дали бы мне, так я бы лодки пустил по Неве по двугривенному за час!

— Вы об этом говорили. Еще что? — сухо, но с любопытством спросила завитая головка. Шляпа лежала на скамье, собачонка внюхивалась в зеленое перо. Когда-то оно было белым, цвет этот хозяйке надоел. Вкус.

— А еще вот что: ларьки понаставил бы, кинематографы бы такие завел, чтобы картины из рабочей жизни шли, понимаете? Вам это трудно понять — не рабочий вы человек.

— А вы что, политикой занимаетесь?

В сущности, никакой политикой Окулов не занимался, но в тот день, жаркий и душный, распалила его тоска. Забыл он свое одиночество и поверил в шаловливый свет фальшивых глаз Бутовой. Посадил Анну Николаевну на извозчика, показал ей им самим никогда раньше не виданные Острова, азартно смеялся над проделками Макса Линдера в кино «Молния» на Петербургской стороне, угощал утешительницу своих будней конфетами и вишней. В два часа ночи расстался с нею у ворот дома № 40 по Николаевской улице.

На прощанье поцеловал.

2.

Когда любишь, то живешь, как на солнцепеке.

В августе посыпался сгоревший за лето лист. В воздухе пахло солнечным нагаром. В Александровском саду играла музыка. Окулов мял пальцами свои коленки и об'яснял и себе и соседке.

— Хорошо, это, значит, когда всего тебе довольно. Плохо, это, когда чего-то недостает. Мне и хорошо и плохо, выходит, что, ежели... А, ну-ка, поглядитесь мне в глаза, как в зеркало смотритесь. Во-во! Теперь слушайте. Знаю я вас сорок семь дней, — как же, все дни помню, полюбил я вас, как собака хорошего хозяина, простите! Тут бы мне и кончить, Анна Николаевна, а с сегодняшнего дня — Нюша потому, ежели, если вы скажите... Да...

Пронзительно гудел «Двухглавый» марш.

Окулов пристально взглянул на Бутову и только сейчас заметил на левой щеке ее бородавку с волоском.

— Все замечаю, чортом делаюсь, простите! Любовь!

— А вы продолжайте после слова «ежели».

— Хотите?

— Страшно!

— Ну, тогда...

Ничего не вышло. Язык не повернулся договорить до конца. Но через три недели без слов досказал один короткий, оборванный стон после полуночи. Сыпался желтеющий лист, сквозняк шел из коридора в окно и обратно. Неизвестно, чего больше было со стороны Бутовой — любви или любопытства. Много лет спустя не мог понять Окулов, что именно связало его с Анной Николаевной: люди они были разные.

В ту же августовскую ночь 1912 года Бутова сказала:

— Я тебя люблю, но если ты политикой занимаешься, ходи стороной от моего отца! Не бросишь? Любишь? Ну, говори!

Политикой Окулов не занимался.

Нюшу любил. Об этом можно было и не спрашивать.

3.

В 1916 году Окулов женился на Бутовой. От военной службы его спасла работа на оборону страны. В 1917 году родился сын.

Бутова любила духи и пудру, дорогие наряды и диковинные цветы. Комнату мужа своего она убрала по своему вкусу: навешала полочек и рамочек с портретами Максимовых и Полонских, Гаррисонов и Мозжухиных. Это бы еще ничего. Это, отчасти, нравилось и Окулову.

Чужие калоши в передней и незнакомые лица каких-то юнцов появились в конце семнадцатого года. Возвращаясь с завода, частенько наблюдал полусчастливый Окулов такую картину: жена сидит за самоваром и хохочет. Два-три гостя, пухлые физиономии, в струнку брюки. На столе цветы, пироги и журналы. На куче подушек на полу — кривоногий Миша.

Как-то Окулов сказал:

— Нюша, а без этих... не можешь? Хоть бы познакомила меня с ними, совестно, ежели... Домой прихожу, как в гости, на кухне высиживаюсь, пока ты...

Бутова дрогнула, выпрямилась и, морщась от безутешного мишиного плача, строго произнесла:

— Знакомить? Тебя? Ха! А ты с интеллигентными людьми говорить умеешь? Ты! Рот раскроешь — лягушки скачут. «Ежели» да «простите». Поди, умой свою харю, а потом... Ха-ха!

Окулов тщательно отмыл в'едчивую путиловскую копоть, отскоблил пемзой грязь с ладоней и скул, прошел в комнату и, сдерживая себя, спросил:

— А что они такое, твои гости?

— Художественную студию организуют. Не натуживайся, ничего не поймешь. Горох греть?

— Горох? А горох есть?

— Получила, дали. Скоро не будет. Твоя рабочая власть ужо на липовый цвет да на жолуди посадит.

— Так, ладно, А горох этот самый, который получила, грей. Есть буду много.

Не выдержал, забылся и сказал, что думал:

— Я никаких таких студий не организую. Я по восемь часов в сутки у кранов вожусь да водой с сухарями питаюсь. Ребенка уйми, дура завитая. А насчет рабочей власти рот заткни.

Жена молча ковыряла пальцами пирог с брусничным вареньем.

В полночь, укладываясь на покой, Окулов обнял жену, вздохнул и мягко, мечтая, сказал:

— Я все вспоминаю, Нюша. Александровский сад помнишь? Фонтан еще бил, не забыла? В пруду золотые рыбки плавали, а? Я еще тебе семечек предлагал, а ты сморщилась, как простокваша. Помнишь? А потом по набережной шли, я говорил, что нам места среди людей нету... Да, это для меня не было, а для тебя, пожалуй, и тогда было, ежели... Да... Ну, я сплю.

Милейший человек Колька Окулов, слесарь с «Красного Путиловца». Только стал он замечать, что жена его — чужая ему. Сперва в мелочах, потом в главном — в материнстве, в быту, в отношениях к товарищам по заводу. Через год ясно ощутил он в себе прежнюю, мучившую его во времена одиночества тоску.

Бутова бегала в какую-то студию, на целый день оставляла Мишу без присмотра, репетировала посредине комниты какие-то бесстыдные танцы, говорила в нос и букву «е» выговаривать стала, как «э». Вот так: тарэлка, дэрэво, идэя, бэж, проспэкт. Окулов хихикал, качал головой и изыскивал способы борьбы с тоской. Летом девятнадцатого года, в день семилетия со дня встречи с Бутовой, Окулов привел к себе в гости мастера Калинникова. Жены не было дома.

— Вот, посмотри, как живу, — сказал ему Окулов. — Зеркало с голыми шкетами видишь? Помпандур, ежели хочешь. Духи видишь? Голых мужиков с медалями видишь? Тошно, товарищ Калинников. Точно не у себя живу, честное мое слово. Ты гляди, гляди. Глаз у тебя, я знаю. Мальчишка, как щенок, — весь день без присмотра болтается.

Калинников поглядел вкруг себя, качнул головой, сделал бушки-барашки заинтересованному чужой бородой Мише и строго спросил:

— Из каких краев жену достал? Наша?

Окулов не понял. Нет, понял, но только хотелось ему, чтобы вопрос был несколько иначе фомулирован, несколько мягче произнесен. Калинников гмыкал и, точно угадывая мысли приятеля своего, вторично спросил:

— Родители жены кто такие? Сама она какого круга?

Да, и в такой форме вопрос был и неутешен и обиден. Окулов махнул рукой, словно отвечая, что не это важно, но Калинников перебил и самое мановение руки.

— Ты погоди, вопрос важный. Давай, обсудим. Мне сорок два, в партии я четвертый год, кой что смыслю. Парень ты настоящий, только говорят, что...

Резкий звонок. Бутова на ходу кинула на кровать невозможного цвета шляпу, небрежно кивнула Калинникову, и с ногами забралась на диван.

— Познакомься, Нюша. Товарищ Калинников, старший наш, душа человек. На фронт едет.

Калинников снял со лба и щек глубокие складки, загасил трубку коричневой мякотью большого пальца.

— Знакомы...— произнес он.— Папашу вашего знавал, да... Папаша ваш, Бутов, Николай Николаевич... Да... Били мы его, бывало, в паровозной. Нда... Царство ему, хе-хе.

Сунул трубку в карман и вышел, забыв попрощаться. За ним Окулов.

— Что такое? Семь лет живем.

— Ничего, паренек. Это, Окулыч, пустяки. Только, ты прости меня, дело говорю,— бросай. Дерьмовая бабенка. Бери нашу. Наша не обманет. Не продаст.

— Батька-то ее, ты что говорил?

— То и говорил, было дело. Жаль мне тебя. Родные есть?

— А что? Мать в деревне.

— Посылай туда сынка и айда на фронт. Тебя отпустят. Забудешь все, образуется, а жена тем временем свою линию найдет. Ангел завсегда на небо просится, это уж ты как хочешь. А на фронте... ну убьют, есть за что убитым быть, жив останешься,— сына по рабочей части пустишь. Подумай.

Калинников был в меру груб и нежен. Все советы его шли от сердца, а сердце старого рабочего — точные аптекарские весы: ни на унцию меньше, ни на унцию больше. Окулов долго благодарил мастера. Хотя на сердце его от этого спокойнее не стало. Но все-же...

Жена чужая.

Калинников свой.

4

На фронте тоже свои.

Жизнь шла в обмен на смерть, а смерть не пугала, ибо стояла рядом, и правильно поступал военком Калинников, указуя в ее сторону.

Окулов ждал минуты, когда все станет ясно. Когда откипит обида на жену и ревность к ней. Только с этой минуты сумел бы он по-настоящему уважать себя. Его товарищи дрались, отстаивали свою рабочую, первую и единственную, трудовую республику от многочисленных врагов. У товарищей Окулова было дело. Конечно, и они оставили дома и жену и любовь, и неудачи, и все то глубоко личное, от чего он, Окулов, ушел на фронт. Другие пошли или по призыву, или потому, что находили нужным делать то, что делать было нужно.

— А я? — спрашивал Окулов.— Зачем я поехал сюда? Не за тем ли, чтобы забыть неудачную личную жизнь, выветрить из памяти чужую женщину, случайно ставшую женой и не менее случайно — матерью?

— Да,— отвечал он.

Фронт — это долг, работа, дело. Шел враг, и его следовало отбить. В этом и была личная жизнь.

Окулов старался глубже и бесстрастнее уйти в железную обстановку фронта. Он вызывался в одиночные разведки на виду белых, пел, когда выдавалась минута досуга и бойцы коротали ее песней, дремал, когда спали

другие, и делал мелкую, серую работу, когда получал право на отдых. В письмах к матери просил беречь сына и не прекращать переписки с Бутовой. Мать изредка отвечала — пять-десять строк.

Стал Окулов забывать жену. На фронте были свои и командиры и рядовые. Фронт лечил Окулова, как сосновый лес чахоточного. И когда Калинников схлопотал ему двухнедельный отпуск, он покачал головой особенно выразительно.

— А ежели не ехать? Ты — как?

— Подумай.

Возвратился из отпуска по болезни приятель Окулова, красноармеец. За обедом, облизывая приставшую к ложке кашу, сказал он Окулову по доброте душевной:

— Твою жену видал.

Окулов вскочил.

— Где видал?

— В киношке.

— В киношке?

— Ну да. Плясала. А другой за ноги ее держал, интересно.

— Врешь?

— Ну, вот. Разговаривали.

— У нее был? У меня, на Пушкинской?

— Ну да. Пляшет. На твоей кровати дядя спал, как вошел. Другой ручки ей слюнил. Ты чего?

— Так. Ну, и что?

— И больше ничего. Народ пришел разный, шантрапа. Я ей сказал...

— Что сказал? Жене?

— Ну да. Я ей сказал: кончим на фронте, за вас примемся. Работы, говорю, хватит. От тебя поклон передал.

— Ну, и?..

— Ешь кашу. Свернуть есть?

Двухнедельный отпуск Окулов взял. На Пушкинской улице росла травка, паслись козы в сквере. На дверях своей квартиры он прочел на бумажке: «Звонок не звонит, стучите». Подумал: надо починить.

5.

После длительной разлуки люди встречаются пылко, с бестолковостью в жестах, с придыханием в голосе. О такой встрече мечтал Окулов в поезде на пути к дому. Он представлял, как выбежит из комнаты жена, как кинется ему на шею, как заговорит, расплачется, пожалуй. На самом деле:

— Вот и я, Нюша, здравствуй! На целых две недели.

— Здравствуй. На сколько?

— На две недели.

— Я рада.

И ушла в комнату. В комнате стоял рояль. Раньше его не было. На стене над столом, там, где год тому назад висел портрет Окулова, теперь

сверкал старинный дагерротип: генерал под руку с гордой дамой. В углу висела икона с лампадой цвета небес. Новые занавески на окнах, кресло, кошка с бантиком — «Мэри». Обои тоже новые: амур целится в кавалера со скрипкой.

Места Окулову в такой обстановке не было. Человек в зеленой шинели и промасленной брезентовой фуражке глядел на жену, как на себя в зеркало. Встречи не вышло.

После обеда и короткого, сдержанного разговора Окулов оделся и пошел бродить по городу. В витрине кино на Загородном он увидел карточку жены, под нею было написано «Кэт Бутэ». Окулов побежал домой. На диване лежал человек с книжкой в руках. Он встал, протянул руду, отрекомендовался:

— Вилли.

Окулов пожал протянутую руку, мягкую и узкую, назвал себя и прыснул.

— Вы чего?

— Да так, рад, что домой приехал.

— Надолго приехали?

— На семь дней.

— Э... вы, что же, муж Кэт?

— Он самый. Только при мне жену мою Нюшей звали.

— Гм! Садитесь.

Удивление следовало за удивлением. Позже всего явился гнев. Одолевать его Окулов решил на виду товарищей путиловцев.

«Красный Путиловец» не сдавал. Несмотря на голод и холод, завод шел в ногу с революцией. Это не беда, что станки кряхтят, как подагрики, а резцы тупятся и просят смены. Выживем.

Так сказал предзавкома. Так говорить мог только подлинный рабочий, и только настоящий пролетарий-путиловец мог от души и сердца поверить в это.

У Окулова разбежались глаза. Гнев остался на пороге дома. Правда, ныло что-то внутри, но это нисколько не мешало другой, товарищеской встрече. Эта встреча удалась.

Домой Окулов шел с парнишкой комсомольцем Колей Федоровым. Говорили громко, чтобы перебить вой гудка.

— Ты надолго в отпуск?

— Завтра уезжаю.

— Так.

Идут в ногу. Парнишка сплевывает голодную слюну, отстает от Окулова, семенит, запыхается.

— А я, Окулыч, женюсь.

— Поздравляю. На ком?

Он не заметил, что в тон голоса своего включил нотки калинниковского баса. Парнишка принял во внимание эту строгость.

— На ком? Ты не знаешь. Девченка — ух.

— Кто такая?

— Артистка знаешь ли. Батька помещиком был. Образованная, гимназию кончила.

— Так. Здорово влюблен?

— Как сказать... Манеры у нее, понимаешь ли, что надо. Французский знает. С художниками знакома. Меня один рисовал.

— Так. А на заводе подходящих нет? Своих?

— Ну, так у нас же простые бабы.

— А ты?

— Что я?

— Да я так, Колька, — тоскуешь?

— Скучно, Окулыч.

— Так. А я, брат, тоже, ежели... семь лет тому назад тоску эту самую испытал. Однако время темное было. Ты меня слушай. К соленой матери артисточку, понял? На артисточке пусть артист и женится. Дочь помещика, говоришь? А чего она к нам, рабочим, лезет, а? Шугани ее, пока не поздно.

Колька отстал. В сторону совершенно чужого, постороннего прохожего бросил Окулов, закрыв глаза от слабости:

— А мне уж, ежели... — поздно...

На следующее же утро, за двенадцать дней до срока отпуска, поехал Окулов обратно на фронт. За минуту до отхода поезда Бутова, подставляя щеку для поцелуя, мимоходом кинула:

— Забыла я, Коля, новость тебе передать. Миша помер. Третьего дня мама написала. Я видишь ли, траур хочу носить. Ко мне пойдет. Ну, бог с тобой.

Пронзительный свисток, скрип колес, ветер. За кирпичным зданием депо сразу же пошли поля и заколоченные, оборванные дачи. Окулов закрыл дверь телячьего вагона и сказал пассажирам:

— На фронт еду, товарищи. До самого конца там буду.

6.

До конца гражданской войны пробыл Окулов на фронте. Никаких наград он не получил и домой приехал в 1921 году. Он поседел, похудел, казался выше ростом, и лоб его словно бы вырос: это оттого, что глубже ушли глаза и ниже упали кустики бровей. На Пушкинскую шел, как в театр. Пушкинская чинилась.

Пенье кенаря и писк котят встретили Окулова в его квартире. Бутова приподнялась с подушек в постели и глазами сказала: больна. Окулов скинул шинель, обмотки, ботинки, гимнастреку, подошел к жене и голосом, для нее новым и пугающим, проговорил:

— Сейчас мыться буду. А потом давай о деле говорить. Что с тобой?

Жена кашлянула. В груди у нее что-то с хрипом ерзало, точно там пилили затупившейся пилой. Щеки и лоб были влажны, глаза поблескивали. Окулов переполнился теплом и состраданием.

— Здорово больна?

Да. Доктор подозревает, что у меня туберкулез.

— Ну? Ерунда.

Сходил на кухню, вымылся в железном корыте, причесал редкие, будто пеплом посыпанные волосы, сжал губы и подошел к жене. Тепло все прибывало и прибывало.

— Ну, поздравляй с легким паром, Нюша.

— Смешной, Коля. Вон там, в шкафу, костюм серый висит. Надевай.

— Чей костюм?

— Ах, потом. Надевай. Я теперь совсем одна. Я такая нехорошая. Я тебе...

Слезы брызнули, как вода из зажатого пальцем крана. Нос сморщился, опали щеки. И, может быть, потому, что все лицо вдруг засветилось новым, несвойственным Бутовой светом, показалось Окулову, что можно и верить и начинать сызнова хорошую жизнь. Он положил свою огромную коричневую ладонь на голову жены, заглянул в глаза и спросил не то, о чем думал:

— Скучала?

— Ах, если-бы ты знал, Коля! Какая я дрянь!

Окулов отошел от кровати и стал думать. Думал он о том, что здоровье — это одно, болезнь — другое. Здорового человека можно и не жалеть, человеку здоровому можно сказать все, что следует. А больному, — больному необходим покой, тем более, если этот больной — жена. Человек, которому вверены дом, быт и... еще что?

— Я тебе изменяла, Коля. Простишь? Не выгонишь? Или уже позабыл, огрубел, отвык? Коммунистом сделался, братскую кровь проливал?

При слове «простишь» Окулов улыбнулся и подошел к жене, протягивая руки. Дальнейшие слова ударили по рукам, как плетью, и они опустились. Этим все было сказано. Однако Окулов добавил:

— Думал уехать. Ну, а любишь ежели, то ладно. Я тебя не гоню, я тебя люблю, Нюша. А ты?..

— И я люблю. Только — я дрянь. Куда бы я без тебя девалась?

Через день Окулов пошел на завод. В скором времени встала жена, туберкулез оказался простой простудой. Серый чужой костюм сидел на Окулове, как на доске.

Прошел год. Окулов ел булки, суп с мясом, пил чай со сливками. Перестала расти трава на Пушкинской улице. Бутова родила сына. Спустя неделю со дня его рождения пришло письмо. Окулов, не читая конверта, вскрыл его. В нем:

«Завтра в семь. Дурака своего ушли куда-нибудь, утешь. Будут пирожные, шоколад, вино. Рано Уфимцев в Париж удрал, ей-богу, рано, и тут у нас жить можно, большевички уступили. А как твой? Мальчишка не мешает тебе? Согласен, коли он мой, отдать в хорошие руки. Впрочем, подрастет — увидим. Вилли».

7.

Вечером того же дня Окулов писал матери в деревню:

«Дорогая матушка, измучился я с Нюшкой, сил нет. Попалась мне жена такая, что в письме и не об'яснишь,—рассказать только можно при моих слабых силах характера. Ужо, получу отпуск и приеду к тебе, заодно на могилке мишиной побываю. А нового, второго, забудь,— не мой сын, право. Ты пишешь: бить таких жен надо. Это, дорогая матушка, по старому, может, и правда, только, на самом деле, унижение для того, кто бьет. А надо вот что: забыть мне, отпустить на все четыре стороны, ежели так захочет. Товарищи по заводу говорят, чтобы я в партию шел, вместе росли, вместе воевали и вместе завод на ноги ставили. Не хочу марать рабочую партию, разделаюсь с домом своим, тогда и можно будет работать на общую пользу, а пока... — ничего-то ты не понимаешь, моя старая матушка. Испортила Нюшка весь мой путь, и не одного меня такие портят. Я замечаю, что молодежь наша за врагом своим в браке гонится, злых дур женами делает. Им легче, как будто, мне же не уйти от своей судьбы, со мною давно началось, когда рабом был. А пареньков-товарищей жаль—уводят их с рабочей дороги. Увидимся, всю мою боль расскажу. Целую тебя, матушка. Твой Николай».

Увиделся, рассказал.

Вернулся — жена уже ушла.

8.

«Красный Путиловец» залечил раны и в двадцать седьмом году перегнал самое благополучное «мирное время». Корпуса его стояли как вызов. Многотысячная армия его рабочих вышла однажды на демонстрацию в своих синих, с пятнами масла и сажи, блузах. Центральный район Ленинграда ахнул. Окна третьих и четвертых этажей открывались и закрывались, как с'еденные страшным любопытством глаза. Десять оркестров сообща с ветром рвали красные знамена и плакаты. Окулов шел левофланговым, он запевал и он же держал счет шагу. У здания штаба синеблузый корпус встал. Светлоглазый юнгштурм шел на месте. По старой военной привычке забил в торцы и Окулов. Женщина на тротуаре вытянула шею и прочла золотые слова на плакате:

Укрепим основу социализма!

Вперед за индустриализацию страны!

— Сволочь!— воскликнул один из плакатоносцев.

нически и подло, раскрыл золотозубый рот и произнес, так, как это умеет делать панельная мелочь:

— Индустриализация. Самое подходящее название для сборника юмористических рассказов! Ха!

— Сволочь!— воскликнул один из плакатоносцев.

— Мразь гнилая! — сказал музыкант, надевая на шею трубу, как на лошадь хомут.

— Задержать его... — вырвалось у всей колонны.

Франт взял женщину под руку и втерся в толпу. Безудержаный гнев выбросил Окулова из рядов. Он нагнал франта и попридержал его за плечо.

— А ну-ка, на минутку! Повтори!

Франт потемнел. Он молчал и ждал. К Окулову обратилась женщина.

— Что вам нужно, товарищ? Отпустите его сию минуту!

На женщине великолепное пальто, лаковые туфли, ноги залиты шелком. На лице — улыбка. Особенная улыбка,— приказ.

Руки легли по швам. Окулов взглянул на женщину, против воли и сознания поднял взор, увидел золотой кораблик на Адмиралтейской игле и вспомнил весь свой путь до сегодняшнего дня.

Брызнул марш. Ряды пошли под арку.

Окулов встал на свое место. Сосед спросил:

— Всыпал?

Да... Я его, знаешь ли, как следует. Жаль, что тронулись, а то бы!.. Первый раз в жизни своей солгал Окулов.

Вскоре он стал лгать ежечасно. Сперва другим, потом себе. Что же, наконец, слаб был Окулов, мягок характером и небогат волей? Или в недобрый час напали на него в жаркий день июля и тоска и чужая женщина?

Окулов встретил Бутову и говорил ей:

— Вместе давай жить, Нюша! Я, как перепел, — он всегда на одном кустике сидит и голос подает. Лучше тебя не знаю. Нюша!

Опять жили вместе и опять разошлись.

Последний раз солгал Окулов, когда впервые выпил лишнее и пошел бродить по городу. Падал снег. Инеем и морозом ковала зима землю. Пустотой и сладким бессознанием пленила Окулова водка.

9.

Трехпалый карманник пошел прочь от пьяного тела. Пьяное тело пробудилось. Протрезвела голова. Глаза увидели и ложь, и стыд, и все то, что было не так как надо.

Фабрики и заводы гудели кругом. Первая смена шла к станкам.

Пошатываясь, Окулов спустился по ступенькам к синему, блестящему от падающего снега, полю Невы. Ступил на лед и пошел. В двух шагах от квадратного окошка вскрытой руками человека реки, возле прозрачных сундуков наколотого льда, он присел на корточки. Зябла непокрытая голова, стыли пальцы, густой иней свисал с отмороженных ушей. А когда все тело стало тяжелеть и согреваться, то, ничего не помня и ничего не желая, упал головой в зыблящийся снег и пополз к воде.

Хруст. Всплеск. Круги.

10.

Товарищ Калинников был прост и прям. Он не умел красиво говорить и расставлять слова в своей речи точно и верно. Но зато он умел последовательно мыслить. Очередное собрание коллектива «Красного Путиловца» было многолюдным. Товарищи Калинникова слушали внимательно.

Целый час говорил он, и никто ни разу не перебил его, никто не покинул своего места. Вот стенографическая запись речи Каллиникова.

«Я оглянусь назад, товарищи. Мне нужно очень многое сказать вам, и я никак не могу поймать самое нужное и первое слово. Хорошо, товарищи! На той недели в среду мы похоронили беспартийного рабочего тракторной мастерской товарища Николая Окулова, проработавшего на нашем заводе целых девятнадцать лет. Я хорошо знал Окулова, многие из вас знали его не хуже моего. Нам известно, что в пьяном виде он упал в реку и утонул. Милиционеры вытащили его, но было уже поздно, товарищи, да и сам Окулов вряд ли хотел быть во-время спасенным. Почему, спросите вы меня? А потому, товарищи, что он кончал жизнь самоубийством. Да, мне одному это известно. Сейчас я оглядываюсь назад, потом скажу то, что мне хочется вам сказать. Надо говорить, вопрос серьезный, товарищи!

Вот что: за дочками наших злейших врагов молодежь наша бегает. Каких врагов? Их много, товарищи. Генералов, министров, буржуев мы разбили раз и навсегда, но отростки их, родственники, сыновья и дочки живут и происходит такое: дочь генерала, скажем, пытается выйти замуж за рабочего, дочь провокатора царского душит нашего товарища, портит его быт и доводит до потери классового самосознания. Сыновья наших врагов, приткнувшиеся в разные места, женятся на наших работницах. Но наш нашу избегает. Говорю то, что вижу и хорошо знаю. На минуту забудем Окулова — это старый счет, дорого хотя и оплаченный. Это — прошлое, я говорю о смене нашей. Наш брат, рабочий, плюет на работницу, ему, видите ли, красота да обличье от чулок до шляпенки требуются. Наш товарищ рабочий от девчонки-ниточницы или, скажем, пряхи отворачивается. А что мы, старая гвардия, делаем?—Ничего не делаем, сидим и смотрим. А что мы видели месяца два тому назад в токарном цеху?—Видели мы славного парнишку Колю Федорова, умницу и активиста, бегавшего вдогонку за юбкой выше колен и пудрой в пять слоев, морда, товарищи, что фасад нашего дома культуры в ремонтное время. Одну минутку! Я ставлю вопрос: что сталось с Колей Федоровым после того, как он втюрился в эту девицу в арбузных чулках на последние деньги? Видели мы его после этого на собраниях? — Нет, товарищи, не видели! Повысилась у него продукция труда? — Упала, товарищи! Заразился он чужими влияниями и взглядами или остался прежним Колькой?—Нет! На наших глазах не узнать его стало. Мушку черную возле левой ноздри посадил! Меня, старого большевика, серой порцией обозвал как-то! Одну минутку! Что сделал коллектив, чтобы этого Кольку вернутв в свою родную рабочую семью?—Коллектив подсмеивался над ним! Да! Коллектив махнул на него рукою! Дело серьезное, товарищи! Или мы позабыли, какое будущее поставили мы себе целью? Чего мы хотим? О чем говорит пятилетка? Только ли о том, что мы должны догнать, перегнать и стать богаче?—За эти пять лет мы должны смену нашу воспитать, товарищи! На борьбу зарядить нашу смену должны! Нашего комсомольца с комсомолкой сблизить, чужих в наш быт не пускать! А чужие и идут и к себе зовут! Ставлю вопрос так: наш с нашей! Наша молодежь растет физически, в муж-

чину обращается. Ему жена нужна. Дадим ему жену, но откуда? Из танц-класса, с короткой юбкой и поганым рылом с намалеванными губами?—Нет, сблизим своих со своими. Мы не делаем в этом направлении ни чорта! А работа большая, работа трудная! Из-за чего погиб наш лучший беспартийный товарищ Окулов? Чужую взял, а эта чужая его от рабочей части оторвала, своим миром помазала, в мещанское болото окунула; покойник на живом человеке сидит и живым человеком помыкает, вот, что я хотел сказать! Шпика Бутова знаете? Вот дочка его сгубила нашего Окулова. А расстрелянного фабриканта Зуева слыхали? Его племянница крутит голову пареньку кимовцу. Старому миру голову приклонить негде,—за рабочих хватается, поймите, товарищи, мое слово! Ясно? — Должно быть ясно! За то ли мы на фронтах дрались, чтобы после наш новый рабочий быт в аренду дочкам врагов наших сдавать? Шалишь! Я не умею красиво говорить, товарищи, но я вижу, как дрянь, разбитая, чужая и гнилая, за рабочих замуж выходит, чтобы женой представителя победившего класса быть! Вот что! В этом вся правда, а двух правд не бывает.

А теперь позвольте вас спросить: в какой семье мы не видим разводов? В такой семье, в которой и муж и жена одинакового социального происхождения и положения,— и он рабочий, и она или работница или родилась в семье нашей, родной, путиловской, скороходовской,— поди, сосчитай всю нашу семью! А в каких семьях видим мы разводы, истерики, ревности, гадости, слезы, полочки да иконки? — А вот тут-то я и подхожу к моему заключительному слову: там, где Коля Федоров берет себе в жены какую-нибудь Кэт Фу-фу или Дину с дворянским паспортом. Нам нужно сколачивать свой рабочий быт. Отсюда — путь к хорошему, желанному, за что сотни лет боролись! А коли парень наш ревнует, а ревнует он всегда чужую, из другого, барского гнезда,— значит, ему не до культуры нашей, ему впору о своих нервах думать.

Одну минутку, товарищи, я сейчас кончу. Почтим еще раз память Коли Окулова вставанием и вспомним, наконец по-настоящему о нашей смене, о комсомоле, что тут под боком к чужим идет. Нам каждый товарищ дорог! Нескладно я говорю, отлично понимаю, но вы поняли меня, а выводы сами напрашиваются. Уж коли дети — цветы жизни, так пусть о них заботится наш и наша, а не гражданки Бутовы. Я ставлю острый и серьезный вопрос; нам, ужо, придется решать его практически. Я кончил, товарищи!»

Лошевод

(Роман)

М. Громов

(Окончание)

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

На другой день к вечеру поднялся сильный ветер, небо сплошь обложило темно-серыми облаками, спрятавшими от людей солнце, и начался дождь. Земля, насытившись дождевой водой, стала вязкой, и точно подымалась на дрожжах, пузырилась, хлопала под ногами. Сухое, ломающееся сено в низких местах подняло водой, а маленькая безыменная речушка, выйдя из берегов, залила низкие луговины, унесла копны сена и бурливо шумела, как настоящая большая, в дни половодья, река.

Но вот, на четвертый день, после пасмурной погоды, расчистилось небо, и показалось солнце. Земля обрадовалась, на ней засеребрились трава и вода. Словно невесты перед женихом, безмолвно стояли березы и ветлы, низко опустив зеленый наряд, увешанный серьгами крупных водяных капель.

Подняв высоко штаны и платья, на улицу выбегали девочки и мальчики; на скользкой дороге они падали в лужи теплой воды, брызгались, звонко смеялись и во все горло кричали.

— Ганьк! Иди! Солнышко! Тепло! — крикнул своему брату Митька и тут же, поскользнувшись, шлепнулся в грязь.

Ганька не вышел из избы: он еще вчера с вечера сговорился со своим товарищем Степкой, если разгуляется погода, итти по рыбу на «барские пруды», и теперь,, отыскав на полке удочку, чтоб не увидели Митька с Дунькой, побежал огородами. Подходя к Степкину дому, Ганька свистнул и остановился в нескольких шагах от забора. На дворе отчаянно залаяла потревоженная собака.

— А червей приготовил? — спросил Ганька, увидя в калитке голову товарища.

Степка утвердительно кивнул головой и сказал:

— Подожди, Ганьк, маленько: допью чашку — приду.

Сию же минуту, как только скрылся за калиткой Степка, из подворотни вылезла небольшая желтая собачка; подбежав к Ганьке, она подпрыгнула, как бы желая поцеловаться.

— А-а, узнала! Дымочка, Дымочка! — нагнувшись, говорил Ганька, гладя теплый с мокрыми, оттянутыми сосками живот собаки. — Ах ты, моя Дымочка, сучка, сучка! Щеночка, кобелька дашь мне?

Собака, словно поняв Ганькины слова, выскользнула из его рук и уползла в подворотню. Отворив ворота, Ганька последовал за ней. В полутемном дворе кудахтала курица, тихо визжали щенята. Идя на голос, Ганька увидел в солнечном пятне маленького, прорубленного в стене окошка Дымку и четырех щенят, ползающих под мостом на позолоченной солнцем соломе. Маленькие щенята казались Ганьке круглыми, блестящими, синими, а их мать — смеющейся, красной, с огненными глазами, как бы говорившими: «Что, хороши, хороши?»

Щенята были действительно хороши. Высунув из-под живота матери короткие мордочки, они дико глядели на Ганьку еще не совсем прорезавшимися глазами. Один из них сердито ворчал и, распустив слюну, смешанную с молоком матери, лаял, как большая рассерженная собака, упираясь в землю белыми передними лапками. Ганьке захотелось погладить щенка, но тот не давался и прятался за мать.

Занимаясь со щенком, Ганька услышал скрип отворившейся двери, а за ним голос Степкиной матери:

— Ба, Ганька! — удивилась она. — Никак ты подошел к собаке? Уйди, уйди скорей! Она-ти за ноги-то схватит. К щенятам она никого не подпускает!

— Она, тетка Марь, меня ничего... — сказал Ганька. — Она меня не тронет.

Удивленно качая головой, Марья, сложив руки поверх высоко поднятого живота, сказала:

— Ах, ты, бедовый! Да как же это она не укусила тебя? Я, намедни, хотела взять, утопить двух щенят, ощетинилась, не дала.

В это время на двор прибежал Степка, достал из кармана пшеничный пирог и, разломив, меньшую часть дал Ганьке.

— Вы часто, Степ, белые пироги печете? — спросил товарища Ганька.

— Часто: каждый праздник, а другой раз в будень печем. У нас в горенке пол-большого мешка белой муки стоит... А ваша бабушка, Гань, часто?

Махая удочкой, Ганька, не утаивая, сказал Степке, что он белые пироги пробует один раз в два месяца: пшеничная мука не своя, покупная, а денег на нее у них некому зарабатывать, потому что его отец помер.

— Твоему отцу можно покупать-то, — добавил он. — Сшил сапоги, вот тебе и муки белой полпуда, а то и пуд можно купить. Вы против нас много богаче живете.

Степке, видимо, не понравились Ганькины слова, что его отец много зарабатывает и что они вообще живут лучше Пряхиных, выпекая и в будни и в праздники белые пироги.

— На сапоги пуд белой не купишь! — задористо сказал он, толкнув плечом Ганьку.

Годами Ганька со Степкой были ровесники, но какая разница была в их росте, характере, голосе, в движениях их молодых тел! Ганька был не по годам высок, тонок, с длинными неповоротливыми ногами; Степка — мал, немного толст, с быстрыми короткими ногами. Лицо Ганьки — крупноглазое, смуглое и терпеливо-спокойное; а Степка был белокурый парень с голубыми бойкими глазами и вздернутым носом.

Свернув с проезжей дороги, товарищи пошли по узкой пешеходной дорожке, извилисто-тянувшейся между яровых хлебов. Зеленый овес и жито холодно лизали босые ноги ребят, осыпая с тяжелых веток на сырую тропинку крупные капли воды. Солнце, ослепительно искрясь, весело грело. Над головами ребят пел, вздрагивая крыльями, жаворонок; не умолкая трещали кузнечики, греясь на ветках овса. Шагая по скользкой дорожке, ребята слышали, как изредка пищали мыши, сверля норы в мягких бороздах молодого картофеля.

— Давай с тобой, Ганьк, споем какую-нибудь, — сказал Степка, запустив камень в картофель и пугая мышей.

— Запевай, я подтяну,— ответил Ганька,— у тебя голос звончей.

Степка не заставил себя долго ждать и во все горло запел:

Воробей письма читает,
Молится богу галка...

— Ну, не так! Нескладно, — сказал Ганька, когда Степка, сбившись, умолк. — Эта прибаутка так поется:

Воробей письма читает,
Галка богу молится,
А красавица-девчонка
За мальчишкой гонится.

Спев эту песню, Ганька сказал, что он недавно слыхал от больших ребят новую:

Пионеры-малыши
В барабаны грохают,
Сидят старухи на печи
Ахают да охают.

После новой прибаутки на товарищей нашла какая-то дикая веселость, сопровождаемая безрассудочным уничтожением. Они начали толкать друг друга под бока, стегаться удочками, перепрыгивать невидимые канавы́, кидать в овес камни, кататься по очереди друг у друга на спине, свистать, кричать, лаять на разные голоса, дергать горстями овес, жито, вырывать с корнями картофельную ботву, на которой висели белые зародыши картофеля, величиной от горошины до ореха. Теперь они шли уже не по дорожке, а напрямик, по яровому полю, безжалостно топча и путая ногами: овес, жито, лен и все попадавшееся на пути.

— Ты, Ганьк, в пионеры осенью будешь записываться? — спросил вдруг ни с того, ни с сего Степка.

— Обязательно... А ты?..

— Я не запишусь.

— Почему же?

— Мне маманька не велит.

— А отец? Велит? — спросил Ганька, споткнувшись о камень.

— А папанька говорит: если запишешься, я тебе тогда сапожным ножом уши обрежу, а потом шпандырем отдеру. Там тебе, говорит, делать нечего. Богу не будешь молиться.

Внимательно слушая Степку, Ганька, улыбнувшись, сказал:

— Это он нарошно... Не обрежет.

Но Степка, зная своего отца больше, чем Ганька, серьезно утверждал:

— Обрежет: он у нас очень сердитый, горячий, он как чорт все равно, мамка от него все плачет. Я боюсь его, как огня, а как пьяный придет — под печку заберусь: он убьет, если что...

— А ты, Ганьк, большой вырастешь — будешь жениться? — спросил его Степка.

Ганька вспомнил о Катьке и сказал:

— Нет. Я буду один жить.

Степка забежал наперед Ганьке и, погрозившись пальцем, заметил:

— Да, да рассказывай! А зачем ты тогда Катьке два яблока подарил? Я видел, видел! Я все видел. Я тогда в щелочку, из сарая, подсматривал. А говоришь — жениться не буду!

Ганька на эти слова с минуту не мог ответить товарищу.

— О, подарил!— начал он оправдываться.— Увидел... Что ж тут такого-то? Она мне за это целый подол репы принесла. Что ж, это, по-твоему, не стоит двух яблок?

Разговорившись о Катьке, Ганька вспомнил последний разговор с ней, в тот день, когда она наряжала на сходку. Также он вспомнил про голубенькую ленточку, теперь далеко спрятанную им, которую она еще год назад подарила ему. Потом встала перед глазами гребенка с красненьким ободочком, которую она просила привезти из Москвы. Этого, кроме Катьки, не знает никто. Эта тайна радовала и пугала Ганьку. Москва, пионеры в синих костюмах с красными галстуками, ясноглазая, веснущатая девочка-Катька, — вот о чем он думал, вот что все эти дни занимало его.

Подойдя к пруду, рыболовы закинули удочки в зеленую цветущую воду с той стороны, где мокла в пруду сухая, безлиственная береза.

— Не клюет что-то! — в раздумьи сказал Ганька. — Местов мы с тобой, Степк, не знаем. А клевать должна после дождя. Можа на том пруду лучше!

Рыболовам скоро надоело смотреть на пробки, спокойно плавающие на воде; они закинули удочки на другое место, а сами побежали по парку.

— Дедушка Иван Галкин,— сказал Степка, стараясь бежать вперед,— целых две горсти старинных денег под домом выкопал. Медные — зеленые, большущие-большущие! Вот какие! — указал он, соединив большие и средние пальцы.— Пойдем и мы пошарим. Можа, чего найдем.

Скоро товарищи, обгоняя друг друга, прибежали к месту, где несколько лет назад стоял барский дом, контора, людская, кухня и другие постройки старой помещичьей усадьбы. Теперь за цветущими кустами жасмина, сирени и акации чернели ямы, засоренные мелко-искрошенным кирпичом, из-под которого прорастали жирный лопух, крапива, бурьян. Прыгнув в одну из таких ям и ничего не найдя, они вылезли.

— Айда в сад! — сказал Ганька, запустив куском шлифованного мрамора в дрозда, беспокойно трещавшего в зелени тополя. — Можа, яблочка найдем.

Направившись на-прямик, они запутались и попали в еловую рощу. В траве, у пней, ребятам попалась земляника; Ганька, кидая в рот крупные сладкие ягоды, громко сказал:

— Наша бабушка говорила, что она еще при дедушке пошла сюда за ягодами, а ее барин увидал и собаками борзыми затравил. Здесь собак, она говорила, тогда оченна много было! Как увидят кого деревенских — разорвут!

— А где тот барин-то теперь? — спросил внимательно слушавший Степка.

Ганька встал на липкий горячий пень и сказал:

— Не знаю. Он, говорят, недавно был здесь. Переоделся мужиком и ходил. Его здесь в саду новвишенские видели.

— А ты, Гань, не видал его?

— Нет.

— Вот бы хорошо посмотреть: какой он?

— Человек и человек. Чего его смотреть-то?

— Да, моя мамка говорила: он очень сердитый. Розгами его отец народ драл. А ты не знаешь, Гань, где он теперь живет? Можить, здесь в лесу шалаш сделал и живет, никому не показывается?

— Мы с тобой, Степ, малы — ничего не знаем, — ответил Ганька: — ни про барина, ни про большевиков, ни про революцию.

Подбежав к пруду, где были закинуты удочки, ребята увидели, что Ганькино удилище плавает в воде, а поплавка не видать.

— Кто же это закинул ее? — в недоуменьи спросил Ганька, засучивая штаны.

Удилище плавало недалеко от берега, и Ганька, спустившись выше колен в воду, взялся за него. Но лишь только он приподнял удочку, как кто-то завертел, задергал нитку, бегая по дну пруда и вырывая из рук рыболова гнувшееся удилище.

— Гань, что это? Здоровая! Можить, большая щука?

Ганька, не выходя из воды, крепко держал обеими руками удилище.

— Гань! Что это? — оробел Степка. — Я боюсь! Ну-ка там попала крыса, выдра, змея какая? Я домой убегу. Может быть, зеленый чорт?!

Чтобы не переломить удилище, Ганька опустил его на берег, а сам, осторожно перехватывая нитку, тащил на себя лесу и то живое и тяжелое, что попалось на крючок. Чем ближе подтаскивал Ганька крючок, тем сильнее

кто-то дергал его, вырывая нитку из рук рыболова. Скоро на поверхность воды, серебристо поблескивая, всплыла плоская, широкая рыба, и Ганька вытащил на берег большого линя.

— Ох! Какой попался карась, Ганюшка!— воскликнул Степка, глядя на серебристую рыбу, брошенную в кусты. — Счастливый ты!

— Это линь, а не карась,— сказал Ганька, продевая тонкую бечевку через маленький ротик линя, чтоб пустить его в воду.

Наживив на крючок других червей, рыболовы закинули удочки.

— Вон дедушка Мирон к нам идет, — сказал Степка, оторвав взгляд от плескавшегося в воде линя. — Он нас не заругает? Не попадет нам?

— За что заругает? — ответил Ганька, — чай, не его пруды-то!

Высокий белый, в длинном кафтане, старик, опираясь на толстую палку, подошел к рыболовам и сел на берегу, прислонившись спиной к лежащей березе.

— Вы что, молодцы, из Вишенок, что ли?—спросил он откашлявшись.

— Да, дедушка, Мирон, из Вишенок,— ответил Ганька, вглядываясь в сухое, морщинистое лицо старика. — А ты что, нешто не знаешь нас?

— Где мне узнать! Видеть-то я, мои милые, стал плохо... А из какого вы дома-то?

Ребята, перебивая друг друга, рассказали о себе. Ганька вытащил из воды линя и поднес его к белым, маленьким глазам старика.

— Вот какого, дедушк, поймал! Насилу вытащил: чуть-чуть нитку не оборвал!

— Вижу, вижу, — щупая рукой мокрую рыбу, сказал старик. — Молодчина! Большого, большого линя поймал. А из какого ты дома-то будешь, я позабыл?

Ганька сказал.

— А-а, — разинул рот и показал два желтых зуба старик. — Отец-то у тебя хорош был, а поди вот — из пустяка помер. А вот дедушка твой не дело делал, не дело. Шибко бедов был твой дедушка, шибко. Как еще проходилю у него. Смекалист был.

Старику, видимо, очень хотелось рассказать что-то интересное про Ганькиного дедушку, но он сдержался и смолчал.

— А ты, дедушка Мирон, барина знал, который здесь жил? — спросил Степка, вспомнив разговор в роще.

Старик улыбнулся, хотел что-то сказать, но закашлялся. Освободившись от приступа кашля, он стер полой кафтана слюну с нового дегтярного сапога и не спеша, тихим, глуховатым голосом, произнес:

— Э, милый, кого я не знал? Кого я не помню? Ты знаешь, сколько лет живу я?

— Двести годов! — выпалил Степка.

Но старик не смутился.

— Да, да, батюшка, близ этого. Давно, давно я родился! Мне думается, и земля-то в то время была совсем не та; и лес-то был совсем не такой; и народ-то был совсем не похож на таперешний народ.

— Неужто правда, дедушка Мирон, что тебе столько годов? — спросил Ганька.

— Не знаю, батюшка, не знаю сам. Тут вот как-то пришел ко мне наш председатель и сказал, что я, говорит, дедушк Мирон, справлюсь нащет твоих годов в волости, потом после уж увидел меня и раз'яснил: ничего, говорит, никаких следов не нашли. В волости, сказал он, таких и книг-то нетути. Теперь и сам не знаю: сколько мне по-настоящему. Знаю, что много, уж больше сотни. Я еще парнем был, помню эти липки, березнячок около пруда барину сажали. А теперь уж они падают: много ль их осталось? Тогда эти пруды только-что сыкопали. А как выкопали — напустили сюда господа рыбы, гусей, лебедей разных, уток всех мастей. Шум, крик они здесь подняли, за версту было слышно. К нам тада в Вишенки сколько раз прилетали. Мне как вот сейчас видится: иду это я по нашему мужицкому полю, смотрю — ходят две птицы, хвосты у них длинные, так и волочатся. Подхожу ближе, смотрю, не подымаются. Что, думаю, за птицы такие? Красивые!

— Что это, индюшки? А, дедушка Мирон? — спросил Степка.

— Нет, не индюшки, нет,— возразил старик.— Нет, их как-то поиначе называли.

— Фазаны! — подсказал Ганька, вспомнив картинку из школьной книжки.

— Нет, опять не то, все не то... А похожа на это...

— Павлины.

— Вот, вот, — согласился с Ганькой старик. — Павлины, павлины, самые они. Это, думаю, не иначе, как с барского двора. Поймал одного, притащил домой и пустил по избе. Вся деревня пришла смотреть, любоваться. Очень уж хвост хорош, распустит, как радугу. К вечеру, смотрю, идет управляющий. Ну, и вкатили за это мне двадцать розог! Двадцать раз вжарили на конюшне.

— За что же это, дедушк Мирон? Кто? — спросили в один голос ребята.

— Барин велел... Так-то он, может быть, ничего не тронул, но дядины ребятишки хвост этому павлину выдернули. Вот в чем беда-то! А птица-то, ишь, ценная, дорогая. Барин сказал: я за них десять лошадей выездных заплатил, да еще деньгами придал. Вот какая птица-то! По молодости это я, конешно, наделал. Да еще злоба большая была в нашем брате в те времена на господ. Большая злоба!

— Небось, дедушк, больно было? — поморщившись, спросил Степка.

Старик вздохнул, трогая палку и сказал:

— Как же не больно-то? Портки спустили и всего в кровь иссекли. Тогда такие розги-прутья нарошно для этого дела припасались, из лозняка.

— А что, дедушк, вырос у павлина другой хвост-то? — поинтересовался Степка. — Не знаешь?

— Не знаю, навряд ли. К тому же — окривили его: один глаз выкололи ему. Их гуляло-то два. И тому тоже кто-то голову отвернул, нашли через

неделю под кустом на Длинных Межах. Сторожа, прислуга больно шибко пострадали за это.

— За что, дедушк? — вставил Ганька, — за павлинов?

— Ну, да. Чего не усмотрели? Апосля дело-то узналось, что другую-то птицу задушил Фома. Смелый, царство ему небесное, был этот Фома, — старик снял овчинную круглую шапку и перекрестился.— Товарищ, ровесник мой был. Помню, узвал он тада меня на этот пруд гусей, уток воровать. Дело было уж перед вечером. Подкрались мы с ним вон с того боку, от лип, — подняв длинную руку, указал старик. — Подбежали, я схватил утку, а Фома двух гусей выволок за шеи. Утки, гуси на полет крыльями захлопали, зашумели, закричали, заквакали. Прямо, стон на весь барский двор поднялся! А лесник тогда здесь Микита-черный — здоровый был: не из наших мест, привезен был откуда-то. Вот он и увидал нас, да за нами с ружьем. Он за нами, мы от него. Слышу — бах!.. Спину так вроде огнем мне опалило, ожгло. Бегу, а утку все не бросаю. Промчался через лес, прибежал домой, скинул кафтанчик, вся спина в крови, и свинец в ней торчит... Болела она у меня апосля этого стрась как! Бывало, сниму рубашку, лягу на лавку, а мать-упокойница возьмет ножик, да и начнет мне из спины свинец-то кончиком выковыривать. И сичас четыре дробинки чувствительно катаются под кожей.

— А ему, Фоме-то, дедушк, влепили за это? — спросили ребята.

— Нет, он, упокойник, бойко бегал. Он в другую сторону пустился. Он двух гусей притащил, и ему ничего, а меня за утку было на смерть, сукин сын, положил. Апосля этого самого лесника-то на осине в лесу удавили: обезобразили всего, страшно было взглянуть!

— Кто же это его удавил-то, дедушк Мирон? — спросил Ганька, протаскивая между пальцев ноги травинину.

— А кто· е знает, — спокойно сказал старик. — Мужики, и я им немножко подщабил.

Сквозь сучья берез просвечивало солнце. Рассказчик молчал, кряхтел и жмурился, закрывая рукою глаза. Выбрав удобный момент, Степка потянул палку у старика.

— Палку, парень, не тронь мою: она живет у меня годов тридцать, больше. Баловник, видать, ты, — рассердился старик. — Вот такой же тогда аккурат мальчик, как ты, Устиньин, забрался к барину в сад по яблоки, а садовник увидал и стащил его за ногу с яблони-то и перекинул через забор; ну, два дня пожил — умер: все внутренности отшиб ему... А один сын был у Устиньи... Баловник, страсть, какой был! Еще баловнее тебя,— указал дедушка Мирон пальцем на Степку. — Да, ребятишки, строго, строго тада было. Вот, видишь, человека убил—ничего... Поплакала, поплакала тогда мать, тем и делу конец! А теперь попробуй, тронь вашего брата — засудят. Немножко, я скажу, волю велику дали бабам с ребятами... Велику. Советовой власти народ не боится, хозяином считает себя, а так нельзя, власти надо бояться, слушаться. Строгость народу, как хлеб, нужна! Да, да, баловники, не смейтесь, — как хлеб необходима. Бывало, барина-то, вы знаете, как

боялись? Да, я скажу вам, взгляду боялись его! Я, небось, больше пятка их пережил, с последним-то, с Евгением Евгеничем Двояруковым-то. Помню еще, когда барщина была — все барину работали. То время я хорошо помню.

— Чего, дедушк, работали? — не вытерпел, перебил Степка. — Сапоги, одежу ему шили?

— Все работали: и косили, и жали, и пахали, все, что заставят, то и делали... Раз как-то вон там направо за прудами косили, — поднял палку старик,— до слободы еще. Ну, косим, как и всегда по обыкновенному, стараемся. Видим, барин молодой на дрожках под'езжает. Ну, мы поклонились ему, поздоровались. А он подошел к нашему отцу и говорит: «Егор, пошли свою дочь домой за косой. Коса плохая у ней». Отец-упокойник говорит: «Коса у ней, барин, косит чисто, хорошая, за чем же по-пусту бежать такую даль? Я уж лучше, говорит, барин, сам схожу или Миронка сбегает». А барин на своем: «Нет, тебе говорят, дочь пошли, не разговаривай». Ну, что ж делать, бросила работу, побегла Фяколка — барину перечить в те времена было нельзя. А сестра-то моя Фяколка — красавица на всю округу была!.. — Старик закашлялся, покраснел и замолчал.

— Ну, вот,—откашлявшись, продолжал рассказчик,—только она стала подходить к лесу-то, а барин за ней по пятам все ехал. Как только он поравнялся с Фяколкой-то, остановил лошадь, велел ей сесь с ним вместе на дрожки. А она испугалась — в лес от него. Он бросил лошадь-то, да за ней по кустам, а она опрометью от него. Пробежала лес, а он все не бросает ее, все бежит за ней. Тут попалось болото; она, сломя голову, в болото. Но тут барин бросил, отступился, а она бедненькая, как прибежала в избу, как ляпнулась середь избы на пол, так и готова. Кровь из носу, из роту хлынула у ней, и померла — не встала больше.

— А зачем он, дедушк, за ней бежал-то? — наивно спросил Степка. Ганька улыбнулся.

— Не знаю, — глубоко вздыхая, тихо сказал старик, — поцеловать, что ль, хотел? Она у нас оченно красива была! От женихов отбою не было! Вот что, вот в чем дело-то!.. А таперь, — молвил старик, вытягивая злые синие губы,— таперича совсем не то! Какое уму непостижимое дело получилось в нашей Россеи! Мыслимо ли это! Царя сшибли, господ прогнали. Сам народ хозяином стал! И все сделал почти што один человек. Да, один человек! Так богу угодно было... Ему одному.

— Кто это, дедушк? — спросил Степка.

— Ленин, — торопливо сказал Ганька, заглядывая в глаза старику.

— Он, он, мнучек, верно, он,— прослезясь, говорил старик.— Какое дело совершил, хотя одну нашу местность взять, посмотреть. Ведь вон, вон те новые Вишенки-то, та деревня-то наша, только теперь как из-под земли выросла. Мы отошли от старых Вишенок и построили новые.— Тут старик, словно молодой, встал на колени и дрожащей палкой указал через пруд:— Вон, вон она, деревня-то, наши Новые Вишенки стоят. Я-то не вижу, но она, чай, знаите, там. На хорошем месте стоит: баринова беседка там раньше стояла, гуляли в том месте господа.

Там, куда через головы ребят указывала палка, сквозь стволы берез была видна новая деревня, которая стояла на невысоком бугре. Там виднелись облитые солнцем новые тесовые крыши домов, палисадники перед светлыми окнами, позади домов фруктовые садики с белыми стволами яблон. У колодца Ганька увидел синюю косилку, блестевшую на солнце сталью острых зубов.

— Видали! — сказал за обоих Ганька.

— Ну, вот. Ведь задаром выстроились: ни копейки за лес-то не платили. Сперва, после ривалюции боялись: думали, господа воротятся, а мы в ихом именьи на ихой земле выстроились; их дома, скотину по себе разобрали; всю иху рощу попилили; весь их сад выкопали, к себе перетащили... Мы, ну, я уж плох, никудышный: скоро умру, а вы будете... Смотрите, сопливые чертенята,— грозился, подымаясь, старик,— не пускайте в именья господ. Бейтесь с ними руками, зубами, ногами, всем, что под руку попадет! А если придут—одолеют вас, построят новые дома: огнем их жгите, жгите, нипочем не давайте им укореняться. Мины, бонбы под их дома подсовывайте. Против всяго народа, против всей силы народной им не выстоять. В случае, ежели что,— деритесь, деритесь; жгите все, жгите, сопливые чертенята! Вот, помните — ничего они тогда с вами не сделают... Мы раз, давно этому, сговорились Голубинского помещика сжечь. Наладили меня: беги! У меня в ту пору детей не было. Побежал я за двадцать верст. Ну, вот, дождался, когда уснут, поджег. А у большевиков, у советской власти, я вам скажу, дело пойдет. Ленин-упокойник, царство ему небесное, сразу с первого дня, плотно сел на телегу. Нашу Россею я называю телегой, большой телегой. Понимаете? Вот, вот, старой телегой.

— Понимаем, — кивнули ребята.

— Ну, вот, сел он на нее и поехал, по целику, по бездорожью. Ехал, я вам скажу, шибко, бойко. Дорога, знамо дело, тяжелая, ненаезжанная, новая, ненакатанная; на ходу у него обрываются постромки, вожжи, перелетают пополам оглобли; вывихаются, ломаются у коней ноги. А он на ходу упокойник, связывал, починял, а сам летел, что есть силы-мочи. А теперь умер, — обнажив густые белые волосы, перекрестился старик.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Всю неделю Ганька спал с дядей в сарае. Твердо надеясь, что Филимон возьмет его в Москву, он старался услужить Филимону Егорычу.

— Я, дядь, взял кафтан и шубу, — сказал он, выходя из темной избы, обвешавшись с головой одеждой. — Тебе неловко: у тебя папироска в руках.

Спустившись с шатких ступенек крыльца, дядя с племянником пошли по огороду в сарай. Направо от них собиралась туча.

— Ты, дядь, боишься грозы?— спросил Ганька.

— Всего бояться на свете — нельзя жить. А ты боишься?

— Я боюсь: громом убить может.

Вскарабкавшись по бревенчатой стене, впереди дяди, на сено, Ганька расстелил принесенную им одежду и сказал Филимону:

— Дядь, ты ложись на шубу, а я — на кафтан: на шубе мягче, а кафтан колет очень.

Докурив папироску, Филимон лег, как предложил ему услужливый племянник. Лежа на спине, они видели сквозь длинные щели сарая, как с одного края тучи на другой перебрасывалась огненной, извивающейся змеей молния, а где-то далеко-далеко, точно на краю света, слышался гул грома, нарушавший настороженную тишину. Удары грома с каждым разом становились все сильнее и резче. Накрыв глаза тяжелым халатом, Ганька старался как можно скорее уснуть, чтоб не видеть и не слышать начинавшейся грозы. Но и под халатом, с плотно закрытыми глазами, он слышал гром, видел мгновенные вспышки молнии.

На улице уж сильно шумел ветер, ему отвечали беспокойным шелестом рябины, березы у дворов.

— Чего ты все ворочаешься? — недовольно сказал Филимон, отвернувшись от Ганьки.

— Никак не усну, — послышалось из-под кафтана. — Дядь, ты ничего не слыхал? Тебе бабушка наша не говорила, как нынче весной в Березкине бабу с лошадью громом убило? Как, говорят, трахнуло — и наповал! Баба, сказывали, черная-черная, как котельная сделалась. А там летом сарай с амбаром в Ежеве молнией спалилю. Вот сколько, дядя, происходит несчастий, и все от этой грозы.

— Да, — подтвердил Филимон, — темнота-матушка, некультурность, невежество. От грома, от молнии спастись очень просто. Совсем, надо сказать, пустяки

Ганька высунул из-под кафтана нос и спросил дядю, как можно спастись от грома и молнии.

— Как? Не знаешь как! Как в Москве в таком роде делают? Там ни одного дома, брат, не сгорит, не бойся; там на каждой крыше громоотводы стоят, и делается это очень просто, доступно каждому малограмотному человеку. Материалу совсем пустяк: взял, прикрепил к трубе какую-нибудь с вострым концом железную палку; а от нее протянул в землю проволоку; вот и вся недолга, и гром и молния бессильны какой-нибудь вред нанесть дому; совсем пустяковое дело, а поди вот, не знают. Это просто, об этом давно знает все мировое человечество.

В это время сарай так ярко осветила молния, что Ганька с Филимоном ясно увидели под крышей, над их головами, ласточкино земляное гнездо, перышки и травинки. За молнией последовал двойной оглушительный удар грома, от которого, казалось, рухнуло небо и своей громадой задавилю всех людей, пощадив лишь дядю с племянником и сарай, в котором лежали они. От удара замычали коровы, и тревожно залаяли, испуганно завизжали собаки.

После удара в сарае вдруг просветлело, и Филимон, приподняв голову, увидел, что ворота открыты настежь и сарай с бешеным свистом пронизывает ветер.

— Поди, Гань, затвори, — сказал Филимон, не ворочаясь.

Мальчик сдернул с лица халат, отозвался:

— Я боюсь, дядя, пойди сам затвори. Ты мужичок.

— Ну, не хошь, как хошь. Мне наплевать! Сарай не мой; пускай ветром крышу сорвет.

Мальчик оробел:

— Пойдем, дядь, лучше вдвоем, а то упадет крыша, придавит тебя и меня.

— Иди, иди, знай, без разговору. Лентяй! — серьезно сказал Филимон, не шевелясь и не двигаясь с нагретого места. — Иди, вроде паленым запахло. Уж не горит ли где?

Во время этого, до ужаса потрясающего, грома, бушующего ветра, молнии, от которой пахнет паленым и гарью, Ганька вдруг вспомнил о Москве, решительно сбросил с себя халат, перекрестился и сполз на землю. Ветер дул так сильно и злобно, что Ганька никак не мог затворить ворота. С большими усилиями оторвав их от наружной стены, он изо всех сил упирался в землю ногами, а ветер со страшной силой отбрасывал тяжелые ворота назад, безжалостно прижимая мальчугана к стене. Выбрав момент, когда ветер утих, Ганька сумел, наконец, затворить тяжелые ворота. Но опять беда: оставшись снаружи, он никак не мог отворить эти проклятые ворота. Подхлестываемый крупным холодным дождем, обливаемый непрерывными потоками с крыши, мальчик в отчаяньи царапал мокрые доски, хватался за железный пробой, но у него нехватало сил: он никак не мог побороть разбушевавшуюся грозу и отворить захлопнувшиеся перед ним ворота. В конце концов, после долгих мучений, он с трудом оттянул их и просунув в щель руку, проскользнул в ворота, подгоняемый страхом, который придавал ему силы.

— Ты со мной больше не ложись, — сказал Филимон, когда Ганька, шурша сеном, подполз к нему.

— Почему, дядя? Оттого, что я мокрый?

— Мокрый это одно. А главное: гром одним ударом сразу двух погубить может.

Когда Ганька брал у Филимона халат, чтобы уйти от него в другой угол, блеснула молния, и Ганька увидел, как дядя, зажмурившись, перекрестился, зажал уши и ткнулся в сено лицом в ожиданьи страшного удара. Но удар оказался настолько слаб, что Ганька, глядя на спрятавшегося в сено дядю, никак не мог удержаться от смеха.

— Ты, дядь, сказал: я не боюсь грозы, а сам в сено голову спрятал, испугался.

Поднявшись, Филимон начал оправдываться:

— Ты еще глуп: не понимаешь ничего, таких ударов, такой страшной грозы я отродясь не слыхал. Хорошо бы, чорт возьми, отсюда в избу убежать: там не так страшно. Небось и мать с бабушкой проснулись, боятся одни. Сильна, шибко сильна, говорю я, эта гроза!

Ганька незаметно для себя согрелся и, нахлобучив на лицо жесткий халат, уснул. Проснулся он, когда в щели серея уже проникал мягкий свет

и солнце вплетало в сено длинные желтые ленты, словно ранний жених в душистые косы возлюбленной. Осторожно ступая по сену, Ганька прошел мимо храпевшего дяди и, радостно вскидывая ноги, побежал мимо гряд ко двору, провожаемый карканьем ворон и щебетаньем ласточек.

Войдя в избу, он без разговора налил из ведра в рукомойник воды, умылся, с'ел ломтик хлеба, потом так же скоро и незаметно украл из дядиного пиджака пяток папирос и вышел на улицу.

Речка, по берегу которой не спеша шел Ганька, стлалась ровной серебряной дорогой; казалось, что бежит не речка, а деревня.

Деревня вместе с домами и деревьями возле них, впряженная в огненно красных коней утренней и вечерней зари, неудержимо летит по серебряной дороге, через помещичьи земли, кресты, колокольни, непроходимые болота, овраги, через глушь, чащу вековых лесов, туда — к шумному городу, расцвеченному золотом электричества. Чем ближе под'езжает к городу деревня, тем сильнее бьет свет в маленькие окошки изб. Свет ослепляет глаза; одни испуганно крестятся, читают молитвы; другие радостно поют смелые песни и бесстрашно смотрят в окна на свет. От головокружительного бойкого бега падают с божниц образа, лопаются горшки, старики с дрожью подымают их, молодежь безжалостно топчет, ломает, крошит глиняную посуду, старые безликие образа на глазах дедов, отцов, матерей.

Вдруг Ганька увидал трех товарищей, которые, обгоняя друг друга, бойко бежали ему навстречу. Встретившись, друзья зашли за сарай и покурили, у них нашлись: спички, табачок и папиросочки. Крикливо поплескавшись в пруду, ребята пересекли шоссейную насыпь и побежали за деревню, подняв над дорогой черное облако пыли.

— Сходи, выдерни пук соломы из овина,— обратился Ганька к Степке. — Огонь разжигать пойдем в Ельнички.

Ганька таил злобу на Степку за то, что он дразнил его «Лошевод», и он решил послать Степку к овинам за соломой.

Провожая глазами Степку, Ганька увидел у изгороди черную курицу, которая беззаботно разгуливала в цветистой траве.

—Давай, лови, ребята, курицу! Там в лесу зажарим!

Курица, заметив ребят, молча опустила хвост и присела. Высокая трава мешала подняться; она бежала, тревожно кудахтала и, затрепетав крыльями, бросилась в кусты. Мишка с Васькой, подобно молодым ястребам, в один миг схватили ее. Добежав до безопасного места, ребята остановились. Стоя по пояс в траве, Васька сказал, передавая курицу Ганьке:

— На, подержи. Я только портки поддерну. Держи крепче, не упусти, рвется очень и руки долбит — злая!

— Ганьк, знаешь, она прошлогодняя молодка,— сказал Мишка, связывая курице ноги. — Она Катьки Селезневой — невесты твоей. Ты скажешь ей?

— А может твоей, — сказал Ганька, спрятав улыбку и радость с лица. — Сами-то не ябедничайте, а я не скажу.

— Она за Мишкой не гоняется, — вмешался Васька, сделав ямочки на красных щеках.— Она обожает тебя. Она, говорит,— Ганька лучше всех из деревни.

— Будет болтать-то. На кой она мне, — опустив черные брови, сказал Ганька, не сводя глаз с молодки.

Краснощекая, иссиня-черная молодка теперь лежала среди цветов, распустив хвост веером и откинув синее, точно стальное, крыло. Ее связанные ноги резала тонкая веревка, которую она безрезультатно пыталась перекусить клювом и оборвать трепетом крыла.

Скоро ребята набрали дров и, прежде чем разводить огонь, принялись за молодку. У кого-то нашлось тупое маленькое лезвие ножа, им злые шалуны и принялись резать измученную курицу.

Попробовав нож, Ганька отказался резать им молодку и предложил пустить ее в лес.

— Я зарежу! Я резал, — крикнул Мишка Борзов, вырывая у Ганьки из рук курицу. Развязав ей ноги, он заставил Степку держать ее за бока, а сам, оттянув рукой голову, принялся перерезать молодке горло. Пиликая тупой железкой по густым упругим перьям, Мишка сморщился и высунул язык, а когда ему на ногу капнула теплая кровь, он испугался, выронил ножик и бросил несчастную курицу.

Очутившись на земле молодка бессильно распустила крылья и побежала, отирая о траву кровь. Добежав до первого кустика, она остановилась и, отряхнувшись, вытянула шею с красным зияющим надрезом, из которого по синему лоснящемуся зобу темной комковатой дорожкой капала кровь, качая чашечку белого лесного цветка.

Пристально посмотрев на молодку, Ганька вздрогнул, поднял с земли лезвие и бросился к курице. Столкнувшись с Мишкой, он опрокинул его и, взяв в руки истекающую кровью молодку, прикончил ее. Ни крыло, ни нога курицы уже не проявляли признаков жизни, но маленький глаз ее под тонкой кожицей синего века еще жил, шевелился, блестел розовым самоцветом: — Прощай, жизнь! Прощай и ты, зеленая трава!—закрываясь, как бы сказало оно.

Ребята принялись ощипывать курицу. Через несколько минут Васька поднял с земли белое, еще теплое, куриное яйцо. Мертвую курицу ребята положили в выкопанную пальцами ямку и тонко засыпав ее землей, разожгли на этом месте костер.

За то, что Ганька из жалости к молодке толкнул и ушиб Мишку, Мишка не переставая кричал, ругался, дразнил Ганьку «Лошеводом» и всячески упрекал его матерью:

— Что, хорошо твоя мать «треплется» с пастухом? Что, что хорошо? Дядя Никанор теперь отец тебе. И бахвалится, что с дядей в Москву скоро поедет.

— Подразнись, подразнись, — изредка отвечал ему Ганька. — Мне не больно, а тебе-то больно... ушиб голову. Дождешься, еще наподдам. И за мать «всыплю». Ты дразни меня, а не мать.

Между тем костер, потрескивая, разгорался все сильнее и сильнее, охватывая огненными языками сухие дрова. Красное пламя растрепанной гривой тянулось к белому стволу близко стоящей березки; уж его жар свертывал в трубочки зеленые листья на нижних сучках.

Глядя на ствол березки, на котором от огня лопалась белая кожа, Ганька заметил:

— Дураки мы, под самой березкой развели огонь.

— Она б выросла — на что-нибудь пригодилась, — подхватил Васька Акулинин: — из нее бы ось аль оглобля вышла.

— А что, крест в огне растопится? — спросил ни с того ни с сего Мишка, натягивая руками сальную тесемку креста.

Ганька словно ждал этого. Он не спеша расстегнул ворот и, молча сорвав с шеи крест, бросил его в огонь. За ним последовал Мишка. Васька, насилу оборвав коленкой тесемку, тоже бросил свой зеленый крест в пламя костра.

— Уговор, чтоб всем, всем бросать, — крикнул Ганька, видя, что Степка смотрит на него в нерешительности.

— Кидай и ты свой, Степ, а то осенью в пионеры с крестом не возьмут! — сказал Мишка, глядя на Ганькин четырехконечный крест, побелевший на красных углях.

— Меня мамка заругает, — робко проговорил Степка, стыдясь товарищей. — Он у меня серебряный, на цепочке. Я боюсь — рука аль нога может через это отсохнуть, язык отнимется.

Мишка с Васькой стали грозить Степке, что они никогда больше не возьмут его с собой. А Ганька подполз к Степке и попросил его показать крест. Мальчик доверчиво расстегнул ворот и сунул в руку Ганьке крест, показывая, что он действительно серебряный, и об'ясняя, что тятька с мамкой его отстегают.

Тут Ганька рванул обеими руками цепочку и, оборвав ее, бросил в огонь Степкин крест.

— А цепочку на, — сказал он, — ножик привесишь.

Степка обиделся, бросил цепочку и, пройдя под дерево, заплакал, упершись головой в коричневый еловый ствол.

— Теперь руки, ноги, язык, все у Степки отсохнет, — крикнул, глядя на него, Мишка. — И голова твоя, плакса, отсохнет, — добавил он, перевернувшись от радости.

— Эх, робята-товарищи! — воскликнул Ганька, надев кепку козырьком назад. — Ведь я скоро по Москве буду похаживать! Прощайте!

Его веселье передалось всем; ребята словно по команде засвистели, запрыгали по круглой поляне, взбираясь верхом друг на друга. Мишка раздробил об Ганькину голову гриб, оставив в его черных волосах белые липкие крошки.

Ребята веселились... А там в лесу, совсем рядом, с каждой минутой росла для них большая беда. Собирая в лесу дрова, Васька со Степкой подожгли сухой, как порох, можжевеловый куст и ушли. Загоревшийся куст

захватил другой, третий — и начался пожар. Теперь, когда ребята с огненными головешками в руках бегали по поляне, в лесу уже горел сухой еловый бурелом, подстойник, загорались зеленые ели с густыми сучьями и березы, и по лесу расстилался черный дым.

Услышав треск горевшего леса, ребята с минуту стояли, как вкопанные, не зная, что им делать и куда бежать.

— Побежим, спрячемся в лес! Теперь мужики убьют нас! — испуганно крикнул Мишка.

Охваченная пожаром чаща извергала в небо огненные потоки огня и черные, клубящиеся облака дыма. Удушливо пахло копотью и горящей смолой. Лес трещал, тревожно кричали на сотни голосов птицы. Где-то в глуби леса, точно придавленный, жалобно пищал какой-то зверек.

— Что теперь нам делать? — с дрожью в голосе, сквозь слезы, проговорил Степка, — заберут, посадят нас... Бубенчик-то я там у костра позабыл!

Мишка, прищелкивая пальцами, еще не унывал:

— Во, как пылает! Слышишь, слышишь, Гань, как трещит! Хорошо! — толкнул он в бок Ганьку. — Я ничего не боюсь. Мы еще маленькие. Да! Дым-то, дым-то, огонь-то, огонь-то взвивается как!

— Да,— вздохнув, отозвался Ганька, соображая о другом.— Побежим скорее в деревню и крикнем: Пожар! Ельнички горят! Мы тогда народ обманем, на нас тогда не подумают.

Товарищи выбежали на дорогу и остолбенели, увидев, что им навстречу из деревни шумно бежали дети, а за ними бабы, мужики с ведрами, топорами и лопатами. Позвав товарищей, Ганька решил бежать один в сторону от народа. Но вдруг он неожиданно встретился с чернобородым мужиком; испугавшись его, Ганька круто повернул и спрятался в рожь.

Узнав Ганьку, мужик поднял над обнаженной головой топор и многозначительно крикнул:

— Вы что, чертенята, наделали! Это, чай, все ты, «Лошевод»? Ну, погоди, — добавил он тише и побежал на пожар.

— Ну вот, опять все Лошевод виноват, — обидчиво сказал Ганька, машинально сорвав во ржи василек. — Вот беда-то! Хоть поскорей бы большому вырость...

«Ну погоди»... — вспомнил он слова пробежавшего мужика, — а что ты со мной сделаешь? Бить ребят при Советской власти не велено... Посадите в тюрьму? — Сажайте; посмотрю тюрьму. Буду сидеть и глядеть в окошечко.

По дорожке на пожар все еще бежал из деревни народ. Было слышно, как звенели ведра, кто-то кому-то грозил и матерно ругался.

Вдруг Ганька увидел дедушку Петра, ехавшего с пожарной машиной и с бочкой; нахлестывая гнедого сытого мерина и тряся русой бородой, он не умолкая кричал:

— Но, но, трухни, родимый, горит ведь, горит. Ведь сегодня овсом кормил. Лес-то, я тебе говорю, горит. Опять скажут: дедушка Петра к золе

приехал. Ох, господи, как шибко занялся-то! Ну что ж мы с тобой с такой кадочкой сделаем?.. Не пробовали, чай, и машина-то не работает... И отчего же это? Можа пастухи подожгли... Но, но, родимый, горит ведь, горит... Лес-то, я тебе говорю, горит.

Напряженно слушая слова старика, Ганька повеселел. Повеселел не потому, что дедушка Петр, торопясь на пожар, очень осторожно погонял свою лошадь и разговаривал с ней. Раньше, до взгляда в лицо дедушки Петра, Ганьке думалось, что все люди, увидав охваченный огнем лес, сделались злыми. А оказалось совсем не так. У дедушки Петра, как было ласковое лицо, так и осталось.

Однако, итти домой Ганька не решился, а спрятался в первый попавшийся овин и просидел там до рассвета. По росе, когда уже было совсем светло, он подбежал к своему дому, сквозь щель отпер у задней калитки засов и осторожно вошел во двор. В избе и на дворе было тихо. На цыпочках, точно вор, он пробрался в горницу.

В избе лежала в валенках бабушка.

— Ну что, горевой, натворил-то! — не вставая сказала она.

— Ничего, — успел проговорить внук, увидев в двери мать.

Лукерья вошла в избу, мокрая, чумазая, рваная. Увидя сына, она стало опустилась на лавку и заплакала:

— Ну, острожный, мучитель, что ж ты делаешь-то со мной?

— Лукерь, Лукерь, молодай! — закричала старуха. — Не плачь, не терзайся, не дроби себя. Что он один што ль там был? Мало ль за мой век лесов горело, так все и убивались по ним?

— Тебе можно! — вскричала на старуху сноха. — Ты послушала бы, что мужики-то говорят. Народ упирает на него, на нашего, его винят. Он, говорят, завел. А мать хлопай глазами перед всем миром. А что я виновата, что такой уродился? Надо мной и так стал смеяться народ, глаз никуда нельзя показать. Со стыда горю, сквозь землю проваливаюсь. Господь милостивый, хоть бы ты прибрал меня!

— Смеются, матушка моя, не за сына — говорила свекровь снохе.— Парень не плох у тебя. Парень всех мер. А я тебе давно говорю: молодай, брось, брось, не ходи к пастуху! А ты все свое...

— Старая шутовка, чертовка старая! А на что жить-то будем? — кричала Лукерья, размазывая по лицу черную копоть. — Он мне на той недели три целковых дал, три рубля, а где их нам взять? Мы с тобой много зарабатываем!

— Наплевать, не надо от него ни гроша завалящего, — сердилась старуха. — Без чаю, без сахару будем сидеть, а, по крайней мере, наш дом чист будет. И ты сама чиста будешь, никто тебя не попрекнет.

— Опять все я виновата. Опять я нехороша, — закрывшись фартуком, кричала женщина. — Я удавлюсь, решу себя. Живите одни. Всегда я в кажном следу виновата.

— Глупая, дура, дура — неумная, — остановившись посреди избы, сказала старуха. — Карахтерная, ты сама привыкла к нему, ты думаешь там-то

не будешь, — ткнула она в пол пальцем. — Там-то еще, матушка моя, будешь, будешь, успеешь. Детей-то вперед вырасти. Вот что, я тебе говорю: детей-то выходи.

Серьезные, вразумительные слова бабушки как-то растрогали, внутренно потрясли Ганьку; и он, почти не помня себя, поднявшись с лавки, взял на шестке тяжелый кованый косарь и, подойдя со слезами к матери, заговорил с дрожью в голосе:

— На, ма! Косарь — на... Лучше убей меня, а сама не давись, не вешайся. На меня наплевать: я маленький, — рыдая говорил он, положив голову на мокрые, родные колени. — На, бей, тяпни... Вот, вот в это самое место по шее, по жиле, по кости. А я не виноват. Я ей-богу же, ма, не поджигал Ельнички. Ма, милая моя! Родная! Ма, не вешайся, я не поджигал...

Мать, дрожа всем телом, оттолкнула косарь, спихнула с колен голову сына, попыталась встать, но сын все лез, все приставал, все говорил ей:

— Чего толкаешься, отпихиваешь, а жалеешь? Жалко тебе? Ма, но ты только не плачь, не расстраивайся. На, лучше надери мне до крови уши, оттаскай за волосы: тебе тогда, может быть, станет легче. Ма, не плачь, а то я боюсь с тобой что-нибудь сделается — помрешь. А мне ничего — я терпеливый. — Отойдя на шаг от лавки, Ганька добавил, посмотрев в лицо будто успокаивающейся матери, — ма, не плачь! Давай я тебя обойму, поцелую, пожалею тебя.

Лукерья чуть заметно улыбнулась и осторожно оттолкнула сына.

— Ну тебя, уйди, что я невеста что-ли тебе?

Тут дверь отворилась, и Лукерья улыбнулась чумазым лицом вошедшему брату.

Филимон был по пояс голый, на лице, груди и спине его были черные отпечатки пальцев. Поставив у порога топор, он начал рассказывать, как он успешно работал на пожаре, собрав себе дружину из одних вишенских девок. Девки, говорил он, под его командой работали примерно, на изумление всему народу: таскали воду, вырубали просеки, копали канавы, чтоб перегородить путь бежавшему по сухой прошлогодней траве огню. Пожаром и своим удачным руководством он и сейчас, сидя в избе, был безмерно доволен. Доволен не потому, что сгорели Ельнички,— нет, этому он был не рад; его радость вызывалась тем, что на глазах всего вишенского общества он сумел отличиться: показать свое знание и храбрость.

— Ты знаешь, сопливый чорт, что вы там наделали, какие убытки народной стране нанесли? Ты знаешь, что с тобой мужики хотят сделать?— обратился он к племяннику.

У Ганьки пропал сон и до боли забилось сердце.

— А что я один... — виновато произнес он. — Чего вы все на меня-то на одного сваливаете?

— Вот вызовут на сходку, выдерут при всей деревне, тогда узнаешь, как «сваливаете».

— А имеют они еще право стегать, выдрать-то, ты бы их спросил, дядь!

— Ганька, Ганька, замолчи — вставила бабушка.— Молчи уж, коли виноват. Молчи, коли бог убил.

— А чем я виноват? Я ни капельки не виноват. Ну тебя, бабушк, со своим богом-то. Ну, что вот твой бог сделал, сгорели Ельнички-то да и все; потушил он?

— Вы на большие тыщи убытку наделали. Ты знаешь, сколько теперь лесу погибло: версты, километры. А насчет бога ты у меня следующий раз не заикайся. Понимаешь? Не пищи! Я побольше тебя в этим вопросе понимаю и то втупик становлюсь.

«Что-то, когда он ругался, не сказал, что не возьмет меня в Москву?— думал Ганька. — Забыл что-ли? Аль может быть совестно отказаться от своих слов, при всех сказал: возьму. А ну-ка не возьмет? Что с ним с чортом с бешенным сделаешь? Скажет, не возьму, да и вся недолга. Собираются вызвать на сходку... Пускай вызывают — пойду. Стану посреди народа и все расскажу как было. Оправдаю себя, Мишку, Ваську и Степку. Но бить стегать не дамся. Пальцем до себя не дам дотронуться никому. И председателю все равно. В тюрьму сажай, коль власть имеешь, на суд подавай, а трогать не смей! Ладно, Ганьк, ладно, Лошевод, не унывай, может быть, наши комсомольцы за тебя заступятся — подбадривал он себя. — Расстегну рубашку — смотрите крест снял и богу не молюсь, заступитесь, свалили на одного, а чем я больше всех виноват?».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Филимон перед от'ездом поднялся раню.

Ганька проснулся позже. Дяди с ним не было. «Проспал — может быть уже уехал», — испугался он и выбежал из сарая.

В деревне спокойно дымили печи. Ганька обрадовался: еще раннее утро, а дядя Филимон уедет перед обедом.

Высокая, полногрудая соседка-Матрешка с мучным лукошком в руках тихо шла по луговине, ведя за собой два десятка кур с красным голосистым петухом, задорно прыгавшим между ними. У амбара она напорола ногу.

— Это ты, небось, Лошевод, адский поджигатель, стекол-то на ходу накидал, — обернулась она обветренным лицом к Ганьке, выгоняя из лукошка назойливых кур. — Ну, как еще тебе не влетело от мужиков? Погоди, вызовут на сходку, крапивой «нахолят».

Ганька посоветовал Матрешке завязать тряпкой ногу.

— За что это она тебя «адским поджигателем-то» назвала? — спросил подошедший Филимон. — Это на пожаре так тебя дедушка Митрофан Журавлев прозвал, а народ подхватил, и теперь вишь вся деревня знает... А мало я погулял с девками у вас... Что ж — вечерков пять только.

Слушая дядю, Ганька подумал, что прозвище «адский поджигатель» все лучше, чем «Лошевод». Значенья последнего он почти не понимал и не знал, за что его так прозвали.

— Да... — продолжал Филимон, чисто побрившись. — Горело прямо можно сказать дьявольски-адово! Хорошо, что еще помешало болото, да ветер был на поле на деревню, а то бы сгорела вся роща, весь лес Ельницкий. В эту сторону вплоть до Зубовки огнем прохватило! И сегодня еще дымит, потрескивает в чаще. Вот дела-то какие, Гаврила Филиппыч!

Разговор Филимона Ганьке очень не нравился, он совсем не нужен был для него в эту минуту. С первого слова он почувствовал в нем какую-то ненужную болтовню, противную неискренность, замалчивающую какие-то важные для него мысли, которые боялись сообщить Филимон и домашние. Вглядываясь в лица, Ганька опять увидел, что все что-то скрывают от него и боятся заговорить с ним. В чем дело? Наконец Ганька обратился к подметавшей пол матери.

— Ма, давай веник, я подмету. А ты достань из сундука мне новую рубашку.

Лукерья отдала сыну веник, и, в недоуменьи посмотрев на брата, сказала:

— В Москву ты сейчас, сынок, не поедешь. Дядя Филимон пришлет тебе к святкам денег! Найдешь, доедешь один...

Ганька выпрямился и, не бросая веника, взглянул на дядю.

— Когда-ж мне на святки, мне тогда надо учиться.

— А теперь нельзя. Денег не хватит у меня. Да и возиться мне с тобой некогда. Я человек занятой, несвободный. Это тебе здесь можно собак-то гонять. А мне надо насчет себя думать.

Слова дяди убили Ганьку. Облокотившись на подоконник, он повернулся спиной и, глядя в окно, ничего не видел и не слышал ни на улице, ни в избе. Остановившиеся слезы ослепили глаза, горе сдавило горло, сердце, голову обиженного мальчугана. Ему вдруг стало нечем дышать. В эту минуту он не знал, что делать, о чем говорить, о чем думать. Хитрость, угрозы, уловки, уважение к нелюбимому человеку,— все было испробовано. Теперь Ганька был готов уничтожить его и себя.

А между тем Филимон собирался: вот-вот он закроет корзинку и уйдет из избы.

Худые, разношенные сапоги, в которых он косил, Филимон хотел положить в корзинку, но, увидев подошедшую к нему Марину, щедро бросил их ей под ноги.

— Возьми, сватъ, почините, — сказал он, укладывая в корзинку горячие лепешки, на которые хотел было положить грязные сапоги.

— Как, батюшка, не починить? починим. Снесем к Миките — починит... Ты уж, родимый, не серчай на парня-то, шты — он резко тебе отвечал: он глуп. Еще вот, что я тебе скажу, Филимон Ягорыч: приязжай к нам, как в свой дом, не бойся, не сумлевайся, не обижай сястру-то. Ведь нас, родных-то, всяво-навсяво два зернышка.

— Приеду, приеду, — не думая, сказал Филимон и начал прощаться.

Поцеловав сестру, сватью, Митьку-племянника, Дуньку-племянницу, он подошел к Ганьке, но тот, не дожидаясь поцелуя, взял корзинку и вышел за дверь.

Уже на огороде, когда Филимон догнал его, Ганька сказал ему, не останавливаясь:

— Я провожу... поднесу тебе корзинку.

— Я сам донесу.

— Ничего, я понесу, ты еще замучаешься, а мне, все равно, дома делать-то нечего. Я понесу, я донесу, дядь, я тяжелее таскал.

Быстрым шагом они прошли скошенные усадьбы, вышли в поле, где стояла рожь, бесшумно приветствуя бирюзовое небо и теплое солнце летнего дня.

— Ну давай... теперь я сам донесу. Иди, иди домой и так далеко зашел.

Но Ганька все не давал ношу, словно боясь, что вместе с корзинкой он упустит свое счастье. Филимон грубо вырвал ее и пошел. Ганька забежал вперед.

— Дядь! — вдруг слезно вскричал мальчик, кинувшись ему в ноги,— Возьми меня хоть на денек, хоть на часок один! — умоляюще просил он, обливая слезами его штиблеты. — Я здесь не останусь!

Своими руками, точно горячими путами, он обвил ему ноги и умолял, умолял его. Но Филимон был неумолим; краснея, он оторвал от себя горячие, крепко сплетенные руки мальчика.

— Нет не возьму, не поедешь! и Филимон направился к лесу.

Как только он скрылся с глаз, Ганька поднялся, направив домой свои отяжелевшие ноги. Вправо от него, над лесом, еще был виден дымок.

«Где бы добыть или украсть денег? — думал Ганька, подходя ко двору. — Я бы тогда уехал... В случае что, я помню «его» адрес... Я там найду, разыщу Филю. Нет, такую даль одному боязно: можно погибнуть. Может быть, когда-нибудь приедет, пришлет»...

На то, что Филимон приедет или пришлет денег Ганька почти не надеялся; он решил не вспоминать о дяде и не думать о Москве. Москву, Филимона он хотел совсем выкинуть из головы. Но это не удавалось.

Когда Ганька вошел в избу, он нашел там одну бабушку. Смыв с лица слезы, он натаскал с колодца воды и принялся чистить остывшую картошку. И бабушке и внуку хотелось поговорить, но разговор мучительно не начинался до тех пор, пока Марина ни спросила Ганьку:

— Ну, как проводил?.. На последках не поругались вы с ним?

— Нет... — ответил Ганька. — На кой он мне?

Вдруг Ганьке вспомнились крик и слезы, матери когда она вернулась с пожара. Особенно поразила его в это утро угроза матери, что она решит себя. Эти слова он иногда вспоминал и очень боялся, как бы мать действительно не сделала того, что говорила. В его голову запала страшная мысль, которую он и решил высказать сейчас бабушке; рассеянно смотря себе на ладони, он грустно сказал:

— Я, бабушка, хочу попробовать удавиться!

— Господи, ты мой, батюшка! — перкрестилась старуха, — што тебе за неволя такая? ты, чай, не урод, не безумный, и красотой ты у нас артист

писаный! Господи батюшка! Што с тобой? Выкинь ты это злое, нехорошее из головы. Помолись богу, все пройдет. Помолись, помолись, милый! Господь отведет эту дьявольскую мысль.

Марина еще долго вразумляла внука. И мальчик, заметно волнуясь, терпеливо ждал, когда она кончит.

— Я, бабушк, потому... Я, бабушк, боюсь, что из-за меня наша мамка удавится. Бабушк... бабушк... погоди, погоди, послушай, помолчи! Ведь правда она не любит меня?.. Ну, скажи? А что я ей чужой, что ли?.. Мне, бабушк, без отца всех хуже жить, а что я виноват, что я похож на него? А что, я виноват, что она меня такого родила?..

От слов внука у старушки судорожно затряслись губы.

— Это сущая, мнучек, правда, что она тебя против тех ребят не долюбливает. Я сама все замечаю... замечаю... вижу, вижу — терплю.

— Она меня не любит... А мне, ба, за нее смеются, что она с пастухом «путается». А мне нешто это хорошо? Мне тоже стыдно. Я, небось, все, бабушк, понимаю — не маленький.

Ганька слышал тихое шипенье печки, вздрагивание опускавшейся гирьки часов и неумолчное жужжание мух на потолке и на лавках.

— Што она живет с Никанором, ты, мнучек, на нее не обижайся, — начала после некоторого молчания бабушка. — Она вдова, не старая. Вырастешь, узнаешь... нынче народ-то какой, это и за грех не принимают. И мне-то, старухе, горе. Я-то с вами, измучилась. Хотя бы ты, Ганюшка, скорей рос. Дождусь, што ли, я тебя до большова?

Здесь Ганька, вообразив себя большим, вдруг повеселел. Но бабушка, вспоминая свою безотрадно прожитую жизнь, не унималась; держа над лицом сальный фартук, она сморкалась, плакала, будто боясь уронить на пол тяжелую слезу.

Глядя на плачущую бабушку, Ганька, угадав ее мысли, спросил:

— А тебе самой, бабушк, хочется жить? Смерти, ба, ты не боишься? Ну смерти, от которой помер тятька наш?

— Охота-ли, мнучек, расставаться с белым светом? — с глубоким вздохом вырвалось у нее из плоской груди. — Чем больше живешь, тем все больше и больше хочется жить. А кгда подойдет к табе последний, смертный, час, когда будешь лежать и уж не можешь пошевелить ни одним пальчиком и язык отымется, тогда, мне думается, еще пуще будет хотеться жить. А когда выйдет весь дух из тебя и явственно учувствуешь, как у тебя похолодет внутри, когда уж будут закрываться совсем насмерть глаза, тогда я думаю, мнучек, потолок-то, мушки-то, тараканы на потолке покажутся тебе милее в сто раз поля со скотинкой, неба со звездочками и всяво белого света. А таперь еще, што-ш, у меня ноги еще ходят, работу кой-какую, славу богу, делаю, хлеб даром не ем. А што-ш мне еще надо? Чаво-ш не жить? буду жить, пока смерть сама придет. Жись теперь новая, порядки другие. Нет, Ганюшка, мнучек мой милый, мне оченно хочется хоть пяток аль десяток годков еще пожить. На большова на тебя посмотреть охота. Мне все думается—ты последним в деревне не будешь: при тебе наш дом рас-

цветет, ты к таперешней жизни подходишь. Таперь такой настоистый, смелый народ в почете. Теперь таким людям, как ты, дорога обгорожена — валяй, иди, коли можешь...

Бабушкины слова растрогали Ганьку.

— Нет, бабушк, ты живи, живи! Еще, сто лет живи! Если помрешь, мне будет очень тебя жалко. Без тебя мне жизнь будет еще хуже. Не помрешь, будешь жить, куплю тебе платье шерстяное хорошее, полушалок шелковый, самый что ни есть дорогой, на машине в Москву тебя свезу и привезу. Я, бабушк, тогда вспомню, не забуду, что ты, бабушк, жалела меня, заступалась за меня.

— Што ты, мнучек, желанный мой, на што мне теперь шелковый платок, платье... Я с молоду, в девках была, таких не нашивала.

— Мало что с молоду,—не соглашался внучек, — а при мне будешь... Погоди, не плачь, бабушк, я тебя разряжу всем на удивленье — прямо барыней. А ты, бабушк, когда была молодая,— песни пела? Плясала?

— Эх, мнучек! — улыбнувшись воскликнула старуха. — Я короводную была запевать мастерица. Никто во всем селе лутчи меня не затягивал. А плясать-то... насчет этава и не говори! Как на пружинах ходила! Ноги-то у меня тада шевелились, как таперь у тебя пальцы.

Тут Ганька со своей настойчивостью стал просить бабушку спеть хороводную, которую она пела в дни своей молодости. Бабушка долго отказывалась, говоря, что сегодня не праздник и ей некогда, но в конце концов согласилась потешить внука. Прижав к животу большой горшок, с которым она собралась куда-то итти, старуха чуть перекосила губы и, зажмурив глаза, сдержанно затянула, вытягивая шею:

Из-за лесику-лесу темнава...

Ганька никогда не видел поющую бабушку. И теперь, как только она запела, он взглянул на ее до неузнаваемости переменившееся лицо, зажал рот, фыркнул и, не в силах сдержать своего хохота, спрятался за печку.

— Ну вот тогда эту пели, — сказала она, оборвав почти на полуслове. — Пойдем с тобой по грибы, всю тебе за кусточками пропою...

После сердечного разговора с внуком у бабушки Марины внутри отлегло, ей стало легче.

Оставшись один, Ганька сказал пустой избе:

— Собираетесь вызвать на сходку? Ну, что ж, вызывайте. Бить, стегать, все равно, не дамся. Хоть убейте меня, зарежьте — не дамся... Все виноват он, чорт-дядя. Взял — уехал и вся недолга! И Москва, и все пропало... И гребенку теперь не привезу.

Тому, что уехал и скрылся с глаз Филимон, Ганька был рад; теперь ему было легче, дядя своим присутствием непомерно терзал, мучил его. Ну, а мужики? Сходка? Вот, что не выходило у него из головы. Как быть? Что делать? Куда теперь деваться?

На этих мыслях застала Ганьку вошедшая в избу бабушка и тут же вбежавшие за ней вслед брат и сестра.

— Бабушк!—обратился к ней внук.—Ты не убирала мою книжку, которую я принес из училища? Их там две было в уголке на полке. Одну я уж прочел, очень интересная, завлекательная, другая осталась нечитана. Кто взял? Кому было надо? Замуслякаете, разорвете, а я отвечай! Больше не даст тогда Матвей Матвеич.

Митька, не говоря ни слова, принес книжку, которую искал Ганька.

— Ты у меня смотри! — погрозился Ганька на брата. — Как только где найду пятнышко — удавлю!

— А что ж теперь уж нельзя посмотреть? — ответил мальчик, садясь вместе с братом за стол. — Мы с Дунькой ее ничуть нигде не замарали, погляди, поищи. Я, Гань, когда перелистываю, пальцы не слюнякаю. Я, Гань, и стол тогда тряпкой насухо вытираю. Я руки мою.

— Я, я, Гань, тоза мою, — отозвалась девочка, глядя на свои мягкие руки.

Перелистав несколько страниц, Ганька под картинкой прочел: «Охотник Филат убил журавля».

— Бабушк, бабушк! — вскричал Ганька, глядя на картинку. — Поди сюда!

Марина подошла, оперлась на стол.

— Гляди — охотник нарисован в шубе, в теплых сапогах: значит зима...

— Какие зимой журавли? — перебила старуха. — Журавли, небось, зимой в теплые края улетают. Делать им нечего, вот и пишут, рисуют, небось, не задаром; деньги, поди, за это получают?

За одним недостатком Ганька скоро откопал еще несколько. Разглядывая охотника, державшего журавля, Ганька сказал, что и охотник нарисован неправильно, потому что у охотника новая, длинная шуба и короткие с калошами сапоги. Так одетого охотника Ганька никогда не видал. Неловко так, не годится.

Из-за стола они все трое тотчас же вылезли и подбежали к бабушке.

— Ну гляди, гляди, бабушк, — уж прямо-таки злился Ганька, показывая развернутую книжку: — в калошах, шуба ничуть не помятая, лыж нету. Как же он, бабушк, в таких сапогах без лыж по снегу-то лазал? Вот нарисовали, так нарисовали! Он и на охотника-то ничуть не похож. Мужик бородастый, вот и все. И ружье-то как-то у него не на плече, а на ухе, на голове висит.

Разочарование книжкой из-за кое-как сделанной картинки еще больше утвердилось, когда бабушка, с трудом рассмотрев старыми глазами картинку, едко посмеялась над ней:

— Эва, какой стоит молодец! Ему в пору в таком наряде в церковь богу молиться итить. А на охоте, да еще без лыж, по снегу, у такой длинной шубе весь подол в два дни опаришь. Да еще в калошах, говорите. Он как, все равно, купец стоит, во всем новеньком!

— Да, да, бабушк, — подтвердил Митька, в струнку вытягиваясь перед книжкой,— в калошах, в калошах, вон, вон они одеты.

Вера в книжку у детей была надолго убита. И Ганька, еще злой от пережитого, взял за корешок хорошо переплетенную книжку и безжалостно, как что-то нехорошее, обо что можно замарать руки, забросил ее в замусоренный угол под лавку.

— Не буду я больше читать! — вырвалось у него.

— И я, Гань, не буду картинки смотреть, — повторил Митька.

— И я, Гань, не бюдю, — прокартавила девочка.

Дети тотчас забыли о книжке, которая, беспорядочно разметав помятые листы, треугольником стояла в грязном углу, на полу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Как-то после купанья, вспомнив беседу с Филимоном, Ганька решил поставить громоотвод. Перерыв во всех углах железо, он остановился на старом, однорогом ухвате. Работа закипела. Выпрямив у ухвата рожок, он насадил его на тонкий шест, размотал проволоку, распрямил, вытянул и привязал одним концом за рожок ухвата к шесту. Теперь надо было втащить шест на крышу, прикрепить к трубе. Эта задача была нелегкая. Гвоздя в кирпич не вобьешь, а воткнуть шест было не во что—соломенная крыша не удержит, и он проскочит в избу сквозь потолок. Прикинув в уме, он решил прикрепить шест к трубе проволокой.

Вытаскивая из сеней длинную лестницу, Ганька разбудил отдыхавшую мать.

— Что ты гремишь здесь?.. Куда ты потащил лестницу?

— Так нужно... Я, ма, сейчас принесу!

С лестницы он влез на крышу и, взяв за конец шест, пополз к трубе, продавливая ногами старую, зеленую солому. Прижавшись к трубе, он с трудом приставил к ней шест и, нащупав твердое место, воткнул его, потом привязал проволокой к трубе, свободный конец проволоки Ганька просунул по трубе на потолок, посмотрев еще раз на железную вершину шеста, и поспешно спрыгнул. С земли он нашел, что шест стоит неправильно, но решил поправить его потом, когда громоотвод будет готов.

Ни слова не говоря Митьке, который не умолкая что-то говорил, Ганька подхватил лестницу и тихо, так, чтобы не разбудить мать, поставил в сенцы и влез на нее. Едва найдя впотьмах конец проволоки, он просунул ее сквозь потолок в избу.

Ганька даже не заметил бабушку. А она, глядя на проволоку, которую он тянул в избу сквозь потолок, удивилась:

— Что это ты еще делаешь? С ума сошел! Какую-то проволоку с избы вытягиваешь?

С потолка в избу сыпались мусор и земля, засоряя Ганьке глаза.

— Это громоотвод, бабушк, — ответил Митька.

Ничего не поняв из Митькиных слов, старуха, кряхтя, поднялась с конника и, подойдя к Ганьке, спросила:

— Ты что, оглюх, что-ли? Что это ты делаешь? — указала она на потолюк. — Что ты потолок-то расковырял? Сыпется!

Стоя на коленях, Ганька сверлил старым, прадедовским кочедыком, отверстие для громоотвода в полу.

— Что ты только выделываешь? Я не пойму, — услышал наконец внук.

— Тебе и не понять, бабушк! — Это громоотвод!

— Какой это такой «отвод»? Что ты пол-то сверлишь, портишь? Зачем ты потолюк-то расковырял? С ума сошел, что-ли? Ну, что за парень! — отбросила она свои руки. — Вот непосед-то: не одно, так другое. Одну бяду не расхлебал, другую затевает.

Да, да, бабушк, там у трубы, на крыше, я поставил такой шест с железкой, а к нему привязал проволоку, ну, вот это громоотводом называется. В Москве дядя Филимон говорил, на каждом дому такие стоят. Он, бабушк, хорошо от тучи, грому, от молнии спасает. Он, бабушк, не даст им, грому-то, молнии-то, по крыше-то бить! Удары всегда будет притягивать шест, железинка на шесту. С шеста он, бабушк, по этой вот проволочке пробежит сквозь крышу, потолок, пол, и юрк—в землю! Там, в земле, он, бабушк, уже ничего не сделает — погаснет. Я, бабушк, этот конец-то под полом в землю воткну. Вот как, бабушк, и изба будет цела — не сгорит, и нас самих уж не убьет, не бойся. Поняла? Бабушк, ты поняла?

Тут уж бабушка Марина поняла и высказала:

— Ах, господи, ты мой батюшка! Мыслимо ли это? Когда гроза заходит, нарочно окны и дверь закрывают. А ты по этой проволоке-то гром-то с молнией в избу хочешь притащить. Ведь в избу, прямо в избу ему дорогу провел. Да нешто это можно: спалишь и дом, и скотину и нас всех погубишь. Живем с краю, помилуй бог, под ветер всю деревню сожгешь. Подумай: нешто гром-то маленький? да он как притянется своим «отводом»—и пойдет по этой проволоке-то ломать, корежить, жечь все! Очумели вы со своим дядей. Ломай, ломай его скорей к шуту, к лешему! Да тут не только что, тут и места-то нигде не найдешь — спасаться-то некуда! И думать даже нечего, все, все тада погибли! Ох, парень, и подтолкнет же тебя нечистый!

Слушая бабушку, Ганьке пришла мысль протянуть проволоку по наружной стороне крыши в землю, рядом с заваленкой.

— Ишь ты, какие умные, — продолжала старуха, глядя на убегавшую тонкой звенящей змеей сквозь потолок проволоку. — Они бога, самого бога хотели перехитрить. Нет, брат, бога не обманешь, а сделаешь себе погибель! Гром, силы небесные захотели обвесть! Даже холод, мороз по коже, как только об этом подумаешь, а не токмо что. Чему быть—тому не миновать. Господи, вот дожили до чего! Какое страшное время! Вот какой... а что думает, что выделывает?

Эти слова Ганька слушал на темном потолке, налаживая громоотвод иначе. Спустившись он взял лестницу и снова выбежал из сеней. На улице густо темнело.

Увидав Ганькину затею, ребятишки, как мухи на мед, слетелись к Пряхину двору.

— Это, Гань, у тебя будет электричество? — кричал один.

— Нет, не электричество, — кричал другой. — Я знаю — это телефон!

— Рассказывай — телефон, — перекричала всех звонкоголосая девочка, — ни капельки и не похож. Это — радио! В Москве есть такое радио, и у Ганьки — радио. А если не радио, это значит — громоотвод, — угадала вочка!— ни капельки и не похож. Это — радио! В Москве есть такое радио,

Ни слова не говоря шумливой ребячей толпе, Ганька поставил к стене лестницу и полез на крышу. За ним, облепив лестницу живой, копошащейся массой, полезли ребята; толкая, спихивая и кусая друг друга, они лезли за Ганькой, хватая и щекоча ему ноги, как бы намереваясь стащить его с лестницы. Добравшись до крыши, он не выдержал и заорал, чувствуя, как лестница, треща, все больше и больше увязает в землю.

— Ну, куда вы лезете? Слезайте! Сейчас все пошвыряю!

Но ребята все лезли, кричали, нарушая вечернюю тишину, блестя десятками глаз на громоотвод, на Ганьку, на небо.

— Слезайте! Ей-богу, сейчас вот ногами...А то вместе с лестницей повалю, тогда не отвечаю, не вините меня, — кричал на них Ганька. — Колька, ты что щекочешь мне ногу? Сейчас по рылу выпросишь! Слезайте, ну вас, отойдите, отстаньте от меня. Мне и так за вас каждый раз попадает, уйдите. Как чуть что, Ганька виноват, а вы чисты — расплачетесь и к мамкам под подолы прячетесь. Сейчас вот услышит... придет мать моя.

— А что это, Гань, радио? — послышался голос с земли.

— Нет, громоотвод, — ответил Ганька, узнав по голосу товарища. — Миш, будь друг, спихни их всех, спихни, что они пристали ко мне, не дают доделать. Лезут... Я и так продавил крышу, они еще...

Бедовый Мишка по просьбе товарища, взялся за дело: смелый и крепкий, он хватал снизу мальчиков и девочек за ноги и стаскивал их с лестницы, как котят. Обиженные пищали, визжали, плакали, но Мишка был неумолим. Очистив лестницу, он сел на нее и, непрерывно махая вокруг себя палкой, не подпускал никого.

А Ганька скоро сделал, что было надо и слез. С земли он тихо, чтобы не услыхали в избе, прикрепил в нескольких местах к стене проволоку и, воткнув оставшийся конец в землю, опустился среди ребят на луговину. Сидя между мальчиков и девочек, Ганька рассказал им о значении громоотвода. Говорил он со слов Филимона.

— Если бы у меня был провод такой и проволочка, — говорил он окружавшим товарищам, — я бы сделал и радио. Я знаю как, мне дядя Филимон говорил: привязал бы где-нибудь на березу шест и еще шест, протянул бы сверху по ним провод, а от провода еще провод в избу, в окно, и готово дело: будет Москву слышно. Я, как заработаю денег, всего этого накуплю и сделаю.

Он говорил, а ребята, разинув рты, слушали. Некоторые из них обо всем этом читали и слышали еще раньше. И теперь, глядя на Ганьку и его

громоотвод, они думали, что у их отцов и матерей там, где-нибудь в избе, в амбаре, в горнице, есть и проволочка и такие шнурочки-провода, которые им не надо будет покупать. И громоотвод и радио они сделают у себя.

— Телефон и электричество тоже можно самим провесть, — поджигал молодые сердца Ганька, — взять шнурочек такой, баночку, трубочку согнуть, батарейки такие в земле закопать. Электричество на этом шнурочке будет гореть тихо, тихо, чуть-чуть, но красиво, интересно!

— А как же, Гань, стекла-то, — перебил его Васька, заглядывая сзади в лицо, — в чем оно будет гореть-то?

Ганька на миг призадумался, но скоро нашелся:

— Какое стекло... Взял да какой-нибудь пузыречек вытер почище и привесил; вот и будет гореть помаленьку.

— Гань, тада и в клев к корове «яво» можно? — не утерпел кто-то загоревшись удалью.

— Чего ж? Если будет гореть, то и в хлев можно, — согласился Ганька. — Это все надо, я говорю, попробовать, можа, сперва так чуть-чуть одной искоркой заблестит, загорится, а потом, после уж, светло будет гореть, как в Москве. Также и телефон. Может быть, сперва он только будет чуть слышно шипеть, а может быть, и совсем сразу его не услышишь, а потом чего-нибудь там подделать, поковырять — будет слышнее, а потом може, заговорит по-настоящему: громко, как человек.

— Нам, Гань, очень слышно не надо, — вскричал Мишка, расталкивая ребят, — нам только немножко. Что там издалека что ль говорить? Мы, Гань, проведем яво из избы в другую избу, как что нужно — возьмешь трубочку: «Вась, а Вась, ты что там у себя делаешь?.. Наших дома никого нету — иди ко мне поговорим, покурим».

Мишка, польщенный успехом, довел ребят до того, что некоторые из них, охваченные радостью, катались по земле, задрав ноги и взвизгивая.

За ужином мать с бабушкой сказали, что они завтра чуть свет уйдут на дальний покос. Ганьку они решили с собой не брать, потому что народ еще не забыл о пожаре и его главном виновнике.

Без Филимона Ганька спал с бабушкой в избе, спал очень хорошо: ему даже ничего не снилось; прижавшись к бабушке, он ни разу не повернулся. Утром, когда дома уже не было ни матери, ни бабушки, Ганька, искусанный мухами, проснулся.

Митька с Дунькой еще спали. Пройдя, как бы чего ища, по избе, Ганька сел на лавку и растворил окно. Из окна Ганька заметил, что по крышам изб по одному, по два лазили ребята. У труб на некоторых домах уж стояли такие же, как у Ганьки, шесты с железными наконечниками. Как только ушли на покос домашние, ребята ставили каждый у себя громоотводы, радио, проводили телефон и электричество. Работа кипела. Тут шли в ход не только шесты, проволока, но и банки, кружки, бичевки, нитки. Здесь уничтожалось все, что попадало под руку. Мальчиков и даже девочек всей деревни охватил какой-то творческий дух, какая-то нестерпимая созидательная лихорадка.

Оторвавшись от окна, Ганька умылся, накормил поднявшихся Митьку с Дунькой и вышел через заднюю калитку на улицу. Там, в огороде, он долго, задумчиво смотрел на свой громоотвод, который сегодня не так уж занимал его.

Он остановил Митьку.

— Знаешь что, Мить?

— Чаво?

— Покудова нету наших дома, поди, обеги всех ребят, позови их к нам в избу на собрание. Скажи: Ганька, мол, будет про Москву говорить антересно, антиресно!

— Как, все равно, нам с Дунькой ты тада говорил? Да, Гань? А девочек не надо звать?

— Не надо... ну, позови.

Еще на улице к Ганьке подошел Мишка. В избе, не мигая большими черными глазами, Мишка сказал:

— Я, Гань, тоже у себя поставил громоотвод, сделал такое ликтричество. Я большой, большой гвоздь вверху в шест вколотил. Дедушка все ругается: зачем изводишь проволоку.

Через минуту в избу влетел десяток запыхавшихся мальчиков, три девочки и весь в поту Митька.

— Я, Гань, всем кричал! Все придут, — сказал среди избы посыльный. — И Колька, и Петька, и Катька, — все, все придут!

Вбежавшие мальчики, перебивая один другого, стали рассказывать Ганьке, кто из них что сделал.

При виде такой массы ребят Ганька заволновался. Он не знал, что будет говорить им. Думал он рассказать о Москве, но как? С чего начать?

— Гань, Гань, давай по-правдышнему выберем секретаря и председателя, — болтая ногами, лез через стол Васька акулинин, — чтоб речь твою на бумаге записывать. У тебя есть, Гань, карандаш с бумагой?

Карандаш у кого-то быстро нашелся. А бумагу долго шарили по избе, но не находили.

Все еще волнуясь и чего-то боясь, Ганька придумывал, чем бы обманут ребят и вывести их на улицу. Но, к его несчастью, Мишка Борзов нашел под лавкой у бабушки Марины желтый пакет, которым был накрыт горшок со сметаной. Облизывая пальцы, Мишка об'явил себя секретарем и председателем и, вырвав у девочки изо рта карандаш, сел рядом с Ганькой за стол.

Ребята обливались потом в душной избе и давно кричали на Ганьку, чтобы он начинал свою речь. В состоянии растерянности и волнения Ганька чувствовал, что он не может разинуть рта.

В тот момент, когда Ганька хотел сказать слушателям, что он ничего говорить не будет, его вдруг выручил совсем маленький мальчик, с валеным сапогом подбежавший к столу.

— На тебе, Гань, так, нарошно, будто у тебя будет портфель, как у правдышнего оратора.

Рассеянно, почти ни о чем не думая, Ганька взял под мышку валенок и встал на лавку. По избе прокатился хохот, заразивший растерявшегося оратора. Весь испуг, вся неловкость вдруг отскочили от него. Он стал самим собой, ему нестерпимо захотелось петь песни и разговаривать с ребятами. Взглянув к двери, он встретился с карими глазами Катьки, которые как бы шепнули ему: «Вали, Ганьк, вали, ты лучше их всех».

— Колька, поди запри калитку, чтоб большие не вошли, — крикнул оратор, вполне овладев собой. — Но, вы, мелюзга, у меня чтобы тихо...

Сшибая друг друга, человек пять побежали запирать калитку.

Не бросая валенок, оратор без стеснения с лавки шагнул на стол.

— Гань, слезь... грех на стол становиться,—кричала веснущатая желтоглазая девочка.

— А чего бояться-то? — смело прокричал Ганька, обернувшись к иконам, будто дожидаясь оттуда грозы. — Я сейчас их все покидаю!

В избе воцарилась мертвая тишина. Лишь в отдаленном углу тихо ворковал ребенок, да звонко постукивал маятник. Страх перед иконами оказался так велик, что некоторые из ребят после смелых слов оратора убежали из избы. А когда Ганька, энергично протянув руку к божнице, снял оттуда первую попавшуюся икону и, отерев рукавом пыль, швырнул ее на пол, кто-то пронзительно взвизгнул.

По неумолчной просьбе ребят Ганька заговорил о Москве:

— Москва, Москва, ребяты, товарищи, совсем не такая, как наша деревня! Народу там многое множество. А дома, дома, ребяты, товарищи, если бы вы знали какие!.. Дома там десятиэтажные со стеклянными крышами, и горит там в них электричество светло-пресветло, в таких стеклянных пузыриках...

— У меня, Гань, тоже привешен пузырек, — перебил оратора Мишка-председатель.

— Не перебивай, его, не перебивай, — послышались голоса.

— А как же, Гань, туда таку вышь влезают-то? — послышался девичий голос от двери. — Лестницы что ль такие понаделаны?

— Разве такая большая лестница может быть, — отвечал Ганька, — ее и не поставишь нипочем. Там не лестницы, там вверху в потолок ввернуто такое кольцо с колесиком, вот в это кольцо продета толстая веревка; а в эту веревку в петлю на дощечку сажают человека и тянут его кверху на десятый этаж. Это в Москве под'емной машиной называется.

— Ба, как страшно-то! — вскричала та же девочка. — Небось, голова кружится? Я бы не села нипочем: долго ль веревке перетереться!

— А что будет этот дом с высокую елку? — поинтересовался кто-то из ребят.

— Что ты, с елку! Он, этот дом, выше церкви, — качаясь на столе говорил оратор. — А промежду этих домов, ребяты, товарищи, носятся автомобили, транываи, какие-то мотацикли, велосипеды. Там в этих домах живут не три человека, не десять, как у нас в деревне, там живут тысячи! Поняли? тысячи! Там и китайцы, японцы и негры живут! Поняли?

— Поняли! — дружно отозвались слушатели.

— Ну вот... Тише, тише у меня, а то я возьму да брошу, не буду, — сказал Ганька, напрягая мысли. — Есть там в Москве сад такой, зоологический. И живут там в нем разные звери, собранные со всего белого света.

— Ганька, Ганька, погоди, погоди! — пронзительно крикнул у окна мальчик. — К вам в огород чья-то овца с ягнятами забралась, капусту жрет. Постой, погоди, погоди говорить. Я сейчас, сейчас ее выгоню. Живо! Погоди, погоди!

Оратор умолк; лицо его было красно и мокро. Положив на стол «портфель», Ганька стал утираться рукавом рубашки.

Ребятишки вскоре разошлись.

Пригрозив Дуньке с Митькой, чтоб они не говорили о том, что у них в избе было много ребят, Ганька принялся вытесывать ручку к лезвию ножа.

Лукерья с Мариной вернулись с работы неразговорчивые, сердитые. И Ганька до самого вечера не сказал им ни слова. Вечером, когда заметно потемнело, и была загнана по дворам скотина, он подслушал разговор матери с женщиной с той слободы.

Разговор был для Ганьки нелестный: женщина говорила, что ее Гришка упал с крыши и вывихнул руку. Рука теперь не владеет и шибко распухла.

— А все твой парень, Лукерь, виноват, — говорила она: — он всегда всех поджигает. Выдумал какой-то «громовод», ну, а мой поглупее; полез, ишь, с шестом на крышу и свалился... Прихожу — лежит без памяти — жар, жар, просто — бяда! Завтри, если не полегчает, бабушка Арина не выправит, надо будет все бросить, ехать в больницу. Господи, бяда с этими ребятами!

Отходя от сарая, Ганька подумал, что сегодня за ужином мать будет ругаться. Опять слезы, крики, может быть, будет бить. А за что? Чем он виноват перед деревней Вишенками?

Бабушка Марина собрала на этот раз ужин поздно. Митька с Дунькой уже спали.

От самого приезда Филимона до этого вечера Ганька, садясь за стол, не молился. И мать с бабушкой, скрепя сердце, терпели. Не думая о боге, Ганька сел за стол и взялся за ложку.

— Вылезай из-за стола! — бледная сказала Лукерья. — Вылезай, вылезай живо!

— Зачем, ма? — спросил Ганька, не зная в чем дело.

— Помолись богу, мнучек, — ответила за мать бабушка.

Ганька всем на удивленье послушно вылез из-за стола.

— Так бы и сказала, чего ж серчать-то? — заявил он перед тем, как перекреститься. — Я, ма, тебя послушаюсь. А когда буду на икону смотреть, молиться, все равно, буду в уме говорить: «не верую, не верую, я в вас не верую!» Бога, ма, нету! Матвей Матвеич говорил — нет, значит нет. Он учитель, он уж верно знает.

— Эх, Ганька, Ганька! — вздохнула Лукерья. — Когда ж я с тобой отмучаюсь? Господи, ты мой батюшка, когда ж я дождусь покою от тебя?

— Скоро, ма, скоро, — проговорил мальчик и, не сдержав слез, лег рядом с бабушкой на пол.

Ни мать, ни бабушка не обратили внимания на слова сына и внука.

На другой день, когда он проснулся, ни матери, ни бабушки в избе уже не было. Утерев руками еще не высохшие слезы, Ганька догадался, что они в поле. Не теряя ни секунды времени, он торопливо надел на себя новую рубашку, серый шинельный пиджак, большие дядины сапоги. Опустив за голенище нож и осторожно ступая по половицам, точно вор, решившийся на рискованный шаг, не застегивая пиджака, он взял отцовский солдатский мешок, положил в него круглый хлеб, надел на плечи, затем, встав огромными сапогами на лавку, он снял и положил на стол: черниговскую, казанскую, иверскую, Николая угодника, отца Серафима, Сергия радонежского, отрубленную голову Иоанна крестителя. В другом конце божницы была квадратная безликая доска, на которой Ганька еле разглядел зеленого облупившегося змия, опоясавшего голых грешников в аду. На пустой полке в пыли, паутине, он нашел заплесневшую просфору и, попробовав ее на зуб, бросил.

Все эти пыльные образа со стершимися от времени ликами мальчик взял со стола и легкой стопой отнес их к печке на пол, давя на пути, словно кости мертвецов, сухие куски разлетевшейся просфоры.

Открыв заслонку, он напихал полную печку икон, которым из века в век молились его деды и прадеды. Кое-как силой, глухо давя стекла икон, он втиснул в жерлю закоптившейся печки приготовленный бабушкой хворост и поджег.

Глядя из-под козырька кепки на огонек, Ганька отчаянно говорил полушопотом:

— Сейчас, сейчас загоритесь... Мне за вас попадало!.. Не боюсь я вас, не боюсь! Бейте, бейте меня, не боюсь я вас, не боюсь!

А красный, все разрастающийся огонек, охватил дрова и подобрался к иконам, сухо слизывая с них старую краску.

Гулко топая по полу, Ганька выбежал в сенцы и заглянул в полог, где, разметавшись на дерюге, спокойно спали его брат и сестра. Поцеловав в горячий лоб раскрасневшуюся девочку, он уронил слезу на щеку брата. Мальчик проснулся.

— Ты куда, Гань, оделся?

— Я так... спи... Мить я... я... сейчас приду...

— А зачем ты надел тятькин мешок?

— Я так... так... Я... Мить... приду... приду...

Ганька внутренно рыдал, голос его прыгал, он не мог говорить, ему хотелось бежать из родного дома, бежать без оглядки.

— А зачем ты, Гань, поцеловал меня? — терзал его мальчик.

— Я так... спи... спи, Мить... Какая у тебя голова теплая. Я... приду...

Опустив полог, он выбежал на огород и направился в поле мимо овина.

— Вот возьмите... Возьмите... Фик вам! — твердил он. — Вызовите, вызывайте меня на сходку. Я помню: Пятницкая, Пятницкая, Пятницкая...

Быстро миновав рожь, он выбежал на дорогу, по которой несколько дней назад провожал Филимона. Не добежав до леса, мальчик остановился на бугре, повернулся лицом туда, откуда так бойко бежал. Вытянувшись на носки, он вложил в рот четыре пальца и оглушительно громко свистнул, будто выдыхая из себя все накопившееся горе. Чуть влево перед ним виднелись желтые, до-черна выгоревшие Ельнички. Прямо — родная деревня, крыши которой — он отчетливо видел с бугра — были установлены «громоотводами», «радио», опутаны «электричеством», «телефонами».

Было еще рано... В Вишенках не топилась ни одна печь. Лишь дымила труба крайней избы, подымая дым к синему небу, по которому огромными белыми лебедями летели прозрачные облака.

И мальчик с отцовским мешком на спине, вынув изо рта пальцы, спокойно пошел по извилистой дороге.

Три-ноль-пять

(Повесть)

Лев Остроумов

I.

Телефонные струны поют в сентябрьском ветре. С глухих окраин, из далеких предместий тянутся туго натянутыми бронзовыми нервами, перебрасываются над крышами со стойки на стойку, впиваясь пучками певучих стрел в сверкающий фарфор изоляторов. Раздвоенными тонкими жалами просверливаются сквозь стены в дома и в мельчайших порах города — в тесных комнатах, в кабинетах, столовых, коридорах, под'ездах — черным лакированным ухом ловят человеческие мысли. Розой ветров, сквозными лучами раскидываются во все стороны, сбегаясь к одному центру, к вечно бьющемуся сердцу города — к телефонной станции, — и поют, словно гулкие стозвонные арфы. Но, войдя в город, исчезают, поглощенные его недрами, ныряют под каменную чешую мостовых, свиваются в тугие толстые кабели и молчаливо спят, как окаменелые змеи, в цементных глыбах, притаившихся глубоко в земле.

Грузные эти удавы, сплетенные из металлических нервов города, собравшись под восьмиярусным каменным его сердцем, тяжело поднимаются вверх из подземных колодцев; войдя в стальной кросс, железом окованное предсердие, они снова расплетаются здесь на десятки тысяч тонких змеек и змей, свившихся в тесных клубках и кольцах. Расползаясь по вз'ерошенной щетине стоек, змеи перекрещивают свои медные жала с нервами огромного сердца, трепещущего сотнями тысяч беглых огней и звуков. Полные электрической жизни волокна ползут из кросса по залам, таясь под полами, за черными сотами распределительных столов и коммутаторов, зажигают матовые жемчужины на сигнальных щитах, перемигиваются трехцветными вспышками-глянцеров, таинственно потрескивают в глухих черных ящичках, где прячутся электромагниты вызывных реле. И незримая энергия этих нервов порождает кипучую и таинственную жизнь в сверкающих залах, где плечом к плечу и лицом к стене сидят сотни женщин, безостановочно прядущих фантастическую ткань из чувств и помыслов человеческих, — ткань, на которой невидимым узором вычерчиваются судьбы огромного города.

Близился полдень сентябрьских буден, когда волна разговоров, непрерывно вырастая, бурно накатывается на станцию и пригоршнями кидает

брызги вызывных сигналов на лакированную поверхность распределителей. Залы полнились однообразно-певучим, ритмическим шумом приглушенных женских голосов, льющих в черные рупоры разговорных трубок непрерывные струи цифр; сухой треск штепселей прыгал над этим гармоническим плеском. Казалось, горный поток мчится по скалам, звеня и журча напевом вспененных волн, швыряя трескучие камешки на гранитные берега. И тому, кто задремал бы под этот однозвучный перезвон, стали бы сниться косматые водопады, клокочущие на обнаженных вершинах Кавказа.

Широкие окна, расположенные так высоко, что в них видно только косматое осеннее небо; под окнами вдоль стен, на все четыре стороны света, непрерывные железные соты коммутаторов, расчерченные на квадраты розовыми, зелеными, желтыми и синими линиями; под сотами, во всю их длину — узкие полированные мюльтиплльные столы, где двойным рядом высятся черные рукоятки-ключи, щетинятся гребнем шнуровые штепселя, вспыхивают и гаснут круглые глазки вызывных и отбойных сигналов. А посредине залы — обращенные в две стороны невысокие, длинные шкафы распределительных столов, с тесным проходом между ними, с черными сигнальными щитами на наружной их стороне. На щитах рядами жемчужины вызывных лампочек, и под каждой лампочкой отверстие, где таится нерв, соединяющий сердце города с каждой отдельной частицей его тела — с подслеповатым домиком предместья, гулким великолепием универсального магазина, кабинетом философа, рестораном, аптекой. Под щитами такие же узкие, длинные распределительные столы, со щетиной штепселей, с мигающими полосками глянцеров, вспыхивающих то белыми, то зелеными, то красными бликами, с кружками отбойных сигналов против каждого шнура. Здесь за столами сидят «немые» телефонистки.

Шестьдесят тысяч пар проводов соединяют эти распределительные столы с шестьюдесятью тысячами слуховых трубок, раскиданных по городу, и каждая трубка имеет здесь свою лампочку, а под ней — отверстие, где кончаются провода, ведущие к трубке. Если соединить шнуром два таких отверстия, вставив в них штепселя на обоих концах шнура — получается соединение двух абонентов, живущих, быть может, на противоположных окраинах города. Но на станции шестьдесят тысяч таких лампочек, и от первой до последней они раскиданы по четырем большим залам: если сотый абонент пожелает разговаривать с сорокатысячным, для соединения их пришлось бы тянуть длинный шнур из залы в залу, и шестьдесят тысяч шнуровых змей сплелись бы в такой гигантский клубок, что задушили бы сердце города в своих медных извивах. Поэтому шестьдесят тысяч отверстий повторены в каждой зале десятки раз: таинственные соты мюльтиплльных столов представляют собой эти концы проводов от каждого абонента, расположенные на саженных досках тесными рядами от первого до последнего. В каждой зале имеются десятки отверстий для каждого абонента, и все они соединены тонкими нервами друг с другом. Против каждой доски сидят четыре «говорящих» мюльтиплльных телефонистки, и у каждой телефонистки есть свое рабочее место, состоящее из 24 шнуров, рукояток, вызывных и

отбойных сигналов. Каждое рабочее место соединено проводами с каждым сигнальным щитом на распределительных столах залы. Глянцеры, мигающие там, показывают, свободно ли рабочее место: если мюльтипльная телефонистка не занята, перед «немой» вспыхивает белый глянцер; если мюльтипльная соединяет абонента, — вспыхивает глянцер зеленый; если она разговаривает с одним, а следующий уже дожидается очереди — глянцер гаснет совсем; если ждут уже два абонента — загорается красный: безмолвный разговор порхающих зарниц, беседа одухотворенных машин.

Отсюда, с сигнального щита, безгласно кричит человеческая мысль, ищущая слияния с другой мыслью, затерянной в пучине города, — и стоит только безвестной руке, одной из десятков тысяч рук, снять где-то в своей норе слуховую трубку, как здесь таинственно загорается белая жемчужина. Торопливо схватывает бессловесная женщина один из торчащих на столе штепселей, выбирая тот, перед которым вспыхивает в эту минуту белая или зеленая полоска глянцера, торопливо затыкает штепселем круглый черный ротик, безмолвно кричащий под горящей бусиной. Длинная змейка шнура, впившись своим жалом в этот ротик, связывает его, проходя под полом, с одним из мюльтипльных столов, — и тотчас возле хвоста этой змеи, возле штепселя, торчащего из мюльтипльного стола, вспыхивает круглый глазок. Другая женщина, сидящая там в сверкающем металлическом полушлеме с нагрудником, также размеренно-торопливо поворачивает к загоревшемуся глазку рукоятку ключа и в черный рупор, прикрепленный на нагруднике, вполголоса кидает свой номер. Услышав из блестящего кружка, прильнувшего к ее уху, голос, называющий нужный ему номер, она берет штепсель и среди разграфленных квадратов сот, среди десятков тысяч отверстий маленьких разинутых ртов, мгновенно находит соответствующую этому номеру ячейку. Хвост змеи впивается в зияющее отверстие, рукоятка ключа, откинутая назад, посылает вызывной звонок в безвестную даль. Где-то в запутанных переулках и улицах чья-то рука снимает слуховую трубку — и сливаются чьи-то мысли, скользя по электрическим нервам города, вспыхивают страсти, возникают круговороты чувств, воплощаясь в человеческие дела и поступки, которые порождают непрерывный, могучий пульс городской суеты. Великая, непрерывно льющаяся по медным волокнам, клокочущая мысль города! Когда одновременно сотни рук снимают с телефонов слуховые трубки и прижимают их к настороженным ушам — сотни жемчужин загораются на сигнальных щитах. И тихие женщины, лихорадочно быстро выхватывая из стола штепселя, едва успевают затыкать круглые жадные рты, жаждущие соединения с другими. Разноцветными зарницами трепещут глянцеры, загораются и гаснут круглые оконца, сплетаются пестрые шнуры в путанное кружево, ежеминутно меняющее свой узор. Мелькающие руки телефонисток прядут бесконечную незримую пряжу, прядут и вновь расплетают сотканное, — и кажется, будто безмолвные пряхи ткут на станках невидимое кружево жизни.

А спиной к ним, перед коммутаторами, сидят их помощницы в этом деле — женщины-автоматы, женщины-цифры, знающие только странные, не-

прерывные сочетания чисел. Каждое многократное поле глядит на них шестьюдесятью тысячами пустых черных глазных впадин, — и за каждым глазом таится целый неведомый мир со своими страстями, желаниями, помыслами и вожделениями. Город непрерывно смотрит на них отовсюду, смотрит и не видит, только слышит бесконечно повторяемые номера неизвестных, таинственных женщин и сам льет им в душу потоки цифр, льет их незримыми голосами, то звонкими, то глухими, то хриплыми, то ясными, то старческими, то детскими, — неотразимые, однообразные, как дождь, водопады чисел.

Они — в сердце города, эти женщины, они — артерии, переливающие кровь его мыслей, и все они — как один многообразный автомат, живой арифмометр, сочетающий под обличием цифр человеческие умы. И на первый взгляд нельзя отыскать отдельную личность в тысячерукой армии женщин, где каждая делает то же самое, что делает другая, где отчетливой чеканкой пониженного голоса перезваниваются непрерывные расчлененные бесконечные числа.

Но начальница зала, сидевшая как сумрачный капитан военного корабля за своим столом с контрольными аппаратами, узнавала их всех не только по лицам, но и по обращенным к ней затылкам. Эти русые, белокурые, темные и рыжие головки, перехваченные стальной лентой шлема, давно намозолили ей глаза. По повороту шеи, по позе телефонистки начальница сразу видела, как та работает: не болтает ли исподтишка с соседкой, не дремлет ли от усталости, не подсмеивается ли над старшими, которые рыщут эластическим кошачьим шагом вдоль всего длинного ряда девушек, прижимая к уху слуховой кружок и волоча за собой длинную змею шнура.

За двадцать лет своей службы на станции начальница Рудакова наизусть выучила все имена, характеры, а зачастую и семейные дела этих механических женщин. Их прически, их узкие плечи, изо дня в день торчавшие перед ней, прискучили, утомили ее своей будничной обыденностью. Сухая и длинная, с желтым пергаментом на лице, она высохла среди стольных досок этой залы, отдала молодость и улыбку ненасытным сотам коммутаторов; жесткие змеи шнуров высосали из ее сердца человеческие чувства, своими медными нервами заменили женские; она давно стала усовершенствованным автоматом, так как ее единственной любовью в жизни оказались тонкие иглы штепселей, так как слуховые трубки одурманили ее своей симфонией чисел. Она чувствовала одну только красоту — красоту быстрых движений, производящих с механической точностью и мгновенной быстротой соединения абонентов телефонной сети: всякое отклонение от этого напряженного, суетливого ритма болезненно ранило ее сердце, заставляло кривиться тонкие, бледные губы; улыбка на лице телефонистки оскорбляла ее, как непристойное движение в церкви. Выросшая в железной дисциплине тех лет, когда станция еще принадлежала шведам, она не мыслила никакого иного уклада, иного темпа работы, в каком прошла вся ее юность. И теперь, в сентябре 1917 года, когда революция прохватила сквозняком металлический каземат станции, она так и кипела горькой обидой, неутолимой ненавистью: лица ее подчиненных девиц из трепетно-покорных стали вызы-

вающе-дерзкими и независимыми; из их спин исчезла стройная напряженность, появилась возмутительная небрежность в посадке, в манере говорить свой номер. Журнал взысканий запестрел строгими замечаниями о их болтливости, невнимательности, непослушании. Нервная атмосфера залы становилась день ото дня возбужденнее, — и привычный плеск голосов звучал какой-то скрытой, неслыханной дотоле враждебностью.

Зато старшие контрольные телефонистки были очень довольны: их обязанность заключается в том, чтобы, соединив свою слуховую трубку с рабочим местом мюльтипльной телефонистки, ставить ее на верхний контроль, подслушивать, как она ведет работу: ясно ли произносит свой номер, не вступает ли в разговор с абонентом, не путает ли называемые ей номера, не пересмеивается ли с соседками. Поймать мюльтипльную на таком нарушении дисциплины — заслуга контрольных, и потому с каждым днем ехиднее и напряженнее становились их лица, когда они неслышно прогуливались за спинами телефонисток, не отрывая жадного уха от стола намеченной ими жертвы.

Контрольная Легавина, маленькая и мягкая, с личиком пронырливой щучки, в тот сентябрьский день поставила на контроль телефонистку № 3-0-5, бледную Настеньку Незнамову, худенькую девушку с болезненным тонким лицом. Легавина давно подметила в Настеньке недопустимую рассеянность, усталую вялость движений. Против имени Настеньки в грозном журнале уже два раза появлялись сухие, но многозначительные заметки: «путала номера», «дремала». А по данным нижнего контроля, который с секундомером в руках из потайной комнаты следит за быстротой работы телефонисток, Настенька за последний месяц довела продолжительность соединения абонента до двух и шести десятых секунд вместо одной с одной десятой, показанной ею за прошлый месяц. Ясно, автомат № 3-0-5 стал портиться, надо было эту порчу обнаружить и принять суровые меры к его исправлению.

Легавина неслышно шныряла вдоль залы, и узкие колючие глазки ее торопливо ощупывали фигуру каждой телефонистки, скользили по рукам и блесткам сигналов. Одной кидала она свистящее «поспокойнее», другой сухое «сидите прямее». А сама напряженным слухом ловила град цифр, барабанивших ее ушную раковину. Вот низкий, грудной, с легкой хрипотцой голос Настеньки — «три-ноль-пять». И в ответ басисто-небрежно из таинственной дали города — «два-шестьдесят четыре-двадцать!» Снова вопросительная хрипотца Настеньки — «два-шестьдесят четыре-двадцать?». И опять небрежный басок — «да!». Передышка, голос Настеньки — «позвонила». Басок пренебрежительно — «спасибо». И тотчас новое — «три-ноль-пять». В ответ уже несется бабье писклявое — «сорок восемь-семнадцать». Хрипотца — «сорок восемь-семнадцать?» — «Да». — «Позвонила». — «Спасибо». — «Три-ноль-пять». Развязное, хлесткое — «пэжалста сорок один-ноль-два!» — «Сорок один-ноль-два?». — «Да!». Гудение зуммера, хрипотца: — «Занято». — «Три-ноль-пять!»... Машина работает без перебоев.

Глаза Легавиной скользнули к дверям: там появилась синяя фигура монтера с тяжелым ожерельем разноцветных шнуров на шее. Что то старателен стал Мицкун, без зова лезет проверять и менять шнуры: уж, наверное, приглянулась какая-нибудь блондиночка, трется возле нее.

Легавина сердито фыркнула и скользнула к столу начальницы.

— Вы вызывали монтера?

— Вызывала мальчика: много заявок о порче шнуров.

— Мицкун предпочитает менять их сам. Он слишком часто появляется у нас.

Рудакова уставила на нее бесцветные бусы глаз.

— Узнайте за кем: придется уволить девицу.

Романов она не переваривала пуще всего: влюбленная барышня — не работница, у ней в голове цыфирный кавардак, мечты и прочая канитель. Если любовь несчастна, то вместо «скорой помощи» звонит в пожарное депо, вместо милиции — в бюро похоронных процессий; если счастлива, то грезит о замужестве, а тогда — прощай телефонная станция! Нельзя держать на службе замужних — то семейная неприятность, то грудные младенцы: врачи подсчитали, что замужние телефонистки все сплошь нервнобольные, замужество для них хуже туберкулеза. Поэтому шведы установили на станции институтский режим для своих барышень: монтеры не смели появляться в залах без вызова начальнцы, не смели подходить к телефонисткам, обедать в их столовой, устраивать свидания на лестницах. Вообще их держали в черном теле и прививали телефонисткам сознание собственного превосходства над ними. А теперь, вместе с революцией, воцарился полный сумбур: прямо на глазах у старших перемигиваются с барышнями, вертятся возле них на собраниях!.. От их игривых улыбок желчь разливалась у Рудаковой.

Легавина снова зашныряла вдоль стен, следя глазами за Мицкуном: но он исчез, нырнув в узкий коридор между стеной и мюльтиплыными столами. Пол коридора ниже пола залы, сквозь столы спускаются шнуры с висящими на них блоками, которые своей тяжестью оттягивают их обратно на стол, когда телефонистка вынимает штепсель из коммутатора. Здесь изнанка мюльтиплей, свившись лежат на железных стойках оранжевые змеи кабелей, а сквозь вертикальную сеть свисающих шнуров виднеются на уровне груди ножки телефонисток в разноцветных чулках и в туфельках, обращенных узкими носками прямо к работающему возле шнуров монтеру.

Настенька Незнамова продолжала чеканить цифры в разговорную трубку, когда вдруг почувствовала легкое прикосновение к туфельке. Угол сложенной бумажки сквозь чулок кольнул ее ногу, записка скользнула в носок. Она невольно вздрогнула, сбилась с ритма. Опять Мицкун со своими письмами! Уж подведет он когда-нибудь ее под неприятность. Быстрый синий взор скользнул в сторону — нет ли поблизости старшей? — и даже в носу защекотало от волнения: Легавина как раз подходила к ней, буравя колючими глазами ее рабочее место.

По счастью, щучка, кажется, ничего не заметила, юркнула дальше, прижимая к уху слуховую трубку. О, если бы узнать, кого она подслушивает!

Этого никогда не угадать, надо ежеминутно думать, что именно тебя... Но уже пылают вызывные сигналы: скорей, скорей, кто-то ждет в нетерпеливой дали города. Поворот рукоятки — соединена с неведомым... Ох, как щекотно в носу!

— Три-ноль-пять... Апчхи!

— Будьте здоровы, барышня!

Чей-то смеющийся, немножко дерзкий, вызывающий и такой ласковый, ласковый, вкрадчивый голос. Откуда прозвучал он именно в этот миг, когда сладко бьется и замирает сердце, когда кружочки сигналов пляшут перед глазами бешеный танец?

Хрипотца в дрогнувшем горле.

— Спасибо... Который номер?

— Какой у вас милый, мягкий голос.

— Разговоры запрещены.

— Но только не мне. Ваш номер — три-ноль-пять?

— Я дам аппарат начальницы, болтайте с ней... Который номер?

— Мой? Два-двадцать-сорок один. Запомнили? А теперь дайте... Тридцать пять-восемнадцать.

— Тридцать пять-восемнадцать?

— Да.

— Позвонила.

— Так не забудьте: два-двадцать-сорок один... Спасибо, солнышко...

Сменяющая телефонистка выросла рядом. Смена давно столпилась у стеклянной двери, будто рой амазонок в шлемах, ждущих сигнала для атаки. В назначенный час через каждые пять минут свежие телефонистки входили по двое к каждому коммутатору, постепенно занимая места работавших. Настенька вырвала из гнезда свой гребень — зубастый штепсель, которым соединяется шлем телефонистки с ее столом—и вставила в гнездо гребень сменяющей. Вставая со стула, успела повернуть рукоятку к очередному вызову, но номер назвала уже ее заместительница.

— Два-девяносто три.

Так делалось для того, чтобы ничем не прерывать неутомимо льющийся поток цифр, чтобы не заставить ждать нетерпеливого абонента. Зала попрежнему клокотала переплеском и треском, смена происходила незаметно и исподволь. Число вызовов к часу дня увеличилось: «немые» не успевали затыкать шнурами зовущие рты. Старшие сигнальные, похаживая за их спинами, помогали им, вставляя штепселя, если сразу загоралось несколько лампочек; все чаще и чаще сверкали красные глянцеры, указывая перегруженные мюльтипльные столы. Был час, когда на станции «горят стены», когда город мыслит и говорит особенно лихорадочно, а у телефонисток гудят нервы, как туго натянутые струны.

Настенька направилась к двери, но по дороге ее перехватила Легавина.

— Незнамова, — к начальнице зала!

— В чем дело?

— Вы разговаривали с абонентом.

Сердце упало, ноги похолодели от ужаса: — так это я стояла на контроле! Нужно же было проклятому ласковому голосу позвонить именно в эту минуту! Он звучит еще в ушах: «Два-двадцать-сорок один... спасибо, солнышко...» А в носке туфельки, словно горчичник, жжет пальцы записка Мицкуна, и так страшно-страшно, — не выбился бы ее уголок наружу.

Рудакова притягивает к своему столу змеиными зрачками. На краях стола во всю его ширину полированные шкафчики контрольных аппаратов. Они ехидно перемигиваются круглыми зелеными глазами сигналов: «что, барышня, поймали мы тебя?». Отсюда можно подслушать и проверить любую телефонистку, у них лицемерный вид хитрых шпионов, — у этих желтых элегантных тумбочек с рядами черных сот и рукояток.

Леденящая душу чеканка начальницы:

— Изволили развлекаться?

— Вера Никитишна, я не виновата, что абонент болтает разные глупости...

— Вы не знаете, как поступать в этом случае? Не вступая в пререкания, передать его на аппарат начальницы.

— Я хотела...

— Надо не хотеть, а делать. Вы хотели увильнуть от работы. Пора бы знать, что каждое ваше лишнее слово заставляет ждать других абонентов и перегружает сеть.

— Простите, Вера Никитишна, но я...

— Не возражать. Увольнение полагается за опоздание, за грубость с абонентами, за подслушивание их разговоров и за разговоры с ними.

Рудакова загибала сухие, твердые, как у скелета, пальцы, уставив немигающие налимьи глаза в бледный лоб Настеньки. Она искренне ненавидела ее в эту минуту, ненавидела выбившиеся из прически темные колечки волос, свинцовую синеву под полными слез глазами, чахлый румянец стыда и обиды на длинном усталом лице. Чем больше дрожали детские губы Настеньки, тем большим злорадством согревалось сердце Рудаковой: она вымещала сейчас те слезы, которые проливала сама за четырнадцать лет сиденья возле мюльтипльного стола. Так ли еще разговаривала с телефонистками мадам Кроллинг, властная и аккуратная шведка, правая рука супруги директора! На вытяжку стояли перед ней и пикнуть не смели! С начала семнадцатого года, когда станцию взяло правительство, резко начала падать дисциплина, а вместе с ней — отчетливость и быстрота работы. А теперь революция рассеяла последний страх и уважение к старшим. Рудаковой было жалко расставаться с обаянием своей власти, а еще обиднее было сознание того, что огромная жертва своим счастьем, молодостью, любовью, здоровьем, жертва, принесенная жадному сердцу города, как-то обесценивалась, теряла свой смысл вместе с угасающим авторитетом заслуженной начальницы. Разве не для пользы дела замечала она и улавливала каждую шероховатость в работе и поведении своих подчиненных, разве не вправе была требовать от них той автоматичности, какую развила в себе за долгие годы службы?..

Из-за стеклянной двери любопытно глазели сменившиеся телефонистки: бойкая и задорная «Васька-пулемет», первая застрельщица всякого бунта и беспорядка; чинная и подтянутая Оленька-мухомор, кандидатка в старшие, показывавшая изумительные цифры на секундомере и любившая подтягивать «немых», когда те «ставили ее на красное», т. е. когда давали лишнего абонента на ее перегруженный коммутатор; пикантная, веявшая ароматом духов, Лиза Угрюмова, про которую ходили сплетни, связывавшие ее с инженерами, но которую, тем не менее или именно поэтому, баловало начальство. Все они горели нетерпеньем узнать, за что влетело Настеньке, и вполголоса негодовали: особенно кипятилась Васька-пулемет, горячая ненавистница старших, а Угрюмова ей поддакивала: ароматной Лизе недавно досталось от Рудаковой за слишком короткую юбку и шелковые чулки.

— Это вам не при шведах, здесь не институт, — дерзко заявила она в ответ на замечание начальницы.

— Но и не бал-парей для легкомысленных дам, — сощурила рыбьи глаза престарелая дева, но с той поры перестала следить за туалетами барышень.

Вообще, мало-по-малу и в этой области воцарялась распущенность: шведы требовали от телефонисток опрятной, по возможности элегантной одежды, строго запрещая всякие проявления кокетства или нескромности. Вся тысячная армия девиц была одета более или менее одинаково. Теперь же начала обозначаться между телефонистками довольно резкая разница: более состоятельные стали одеваться крикливее, помадить губы, подводить ресницы и брови. Небогатые и неряшливые запустили свою наружность, являлись на службу плохо причесанными, в стоптанных башмаках и стареньких кофточках. «Стряпухи какие-то, а не телефонные барышни», морщась говорила про них Рудакова. Но здесь она оказывалась бессильной: демократические идеи носились в воздухе, а главная их распространительница Васька-пулемет, в ответ на такие упреки со стороны старших, энергично заявляла: «Прибавьте жалованья — все станем барышнями. Мы — люди рабочие».

И теперь, разнося Настеньку Незнамову, Рудакова искоса поглядывала на стеклянную дверь, из-за которой торчала рожа Васьки: как же, попробуй только уволить № 3-0-5 — разом вся зала закатит истерику, в дело вмешается союз работников станции — и пойдет целая свара.

— Увольнять мы вас не станем, Незнамова, но берегитесь, не пришлось бы понизить вам квалификацию. Вы за последнее время стали хуже работать. Ступайте!

Она погрузилась в графики смен, поднесенные помощницей. Настенька облегченно перевела дух и исчезла за дверью.

II

Со всех сторон налетели на нее взволнованные птицы.

— Что случилось? За что тебя грели?

— Абонент разболтался, а я отвечай, — махнула рукой Настенька.

Лиза Угрюмова расхохоталась.

— Любезничал?

— Да, уж если бы грубил, так она сразу дала бы аппарат начальницы, — поджимая губы обиженно сказала Оленька-мухомор. — Поделом, видно, досталось.

— Не выслуживайся, здесь все свои, — ехидно перебила Васька-пулемет. — В чем дело, Стенька?

— Просто растерялась я, вот и все.

Лиза и Оленька, пренебрежительно фыркнув, уже бежали вниз по лестнице.

Настенька, оглянувшись на дверь в залу, торопливо нагнулась и вытащила из туфельки записку.

— Мицкун подвел, — об'яснила она вполголоса Ваське. — Видишь, опять цидулка. Я чихнула, абонент пожелал здоровья, а Лягва меня на контроле держала.

Васька весело заржала, сверкнув лошадиными зубами.

— Влетело за кавалера!.. А грымза что? Уволить грозилась?

— Конечно.

— Пусть попробует! Ах, девушки, пора бы ее раскусить да и за щеку. Доколе терпеть будем?

— Тише ты, — испуганно шикнула Настенька, сбегая вниз и таща за собой трескучий «Пулемет».

— Что пишет-то милый? Не томи, сделай милость, — не унималась Васька.

Настенька, став на площадке у окна, украдкой развернула записку. На клочке бумажки было нацарапано: «Настасья Михайловна, приходите нынче к памятнику, надо сказать вам очень много. П. М.»

— Свиданья просит опять. Ну, к чему? — заалелась слабым румянцем девушка.

— Эх, чорт, дура ты, Стенька! К чему, да к чему? Разве кто знает что к чему? Тебе же легче будет с мужем, — тараторил «Пулемет», от непомерной живости танцуя на ступеньках лестницы.

— Какой же муж!

— Ну так хахаль, коль замуж не велят. Да только все это скоро изменится, не те времена. Теперь все запросили свободы, неужто забудут про наше бабье горе? За Мицкуна держись, он боевой... Говорят, будто большевик, — добавила Васька вполголоса, с опаской косясь на встреченную телефонистку.

— Ты в столовую?

— Иди, я догоню.

«Пулемет» покатился в колодезь бездонной лестницы, а Настенька задержалась у окна, глядя вдаль, на широко расстилавший у ее ног ненастный слякотный город. Тучи, косматые, похожие на грязную вату, грязно ползли над мокрыми крышами, чуть не цепляясь за кресты колоколен. Дома тускло глядели черными глазницами, громоздясь друг на друга в омертве-

лом хаосе. Неприютной тоской веял город, похожий на каменную пустыню — и Настеньке стало вдруг так одиноко, так грустно, что слезы сами собой опять выступили на глазах.

Ах, что ей Мицкун, с которым жизнь будет всегда таким же ненастным осенним днем! Разве может он дать ей то, о чем мечталось не раз при виде этого городского простора! Там, среди буро-зеленых глыб, накиданных друг на друга хмельными гигантами, копошится неизмеримая, загадочная жизнь: ее голоса в течение долгого дня неотвязно стучатся в душу номеру 3-0-5, — триста, четыреста благодарностей в час слышит Настенька от неведомых собеседников. Порой кажется, будто стоит она в центре вселенной, будто все ее знают, все любят, и не стой она здесь — замрет и прекратится жизнь на земле. И так странно-странно услышать вдруг чей-нибудь грубый голос, кричащий в трубку: «что же вы, барышня, не подходите? Я уже целый час звоню!». Обидно становится, когда какой-то неизвестный дурак не знает и знать не хочет, что никуда она не отходит и не может отойти от своего рабочего места, семь-восемь часов сидит, не отводя напряженных глаз от вспыхивающих и гаснущих сигналов, от черных ключей, от зияющего шестьюдесятью тысячами ячеек многократного поля; только изредка встает со стула, чтобы дотянуться до верхнего края доски, если абонент потребует соединения с каким-нибудь многотысячным номером. Когда кто-то бранится и грубит в ухо, становится до слез понятно, что гордость ее — обман, самообольщение одиночества: нет дела великому городу до затерянной в его угловатых глыбах Настеньки, не знает он и знать не хочет ее упорного труда, доводящего до истерики, до боли в глазах и ушах, до ломоты в плечах и дрожи в пальцах. Одна, одна в безучастном лесу, где заколдованные незримые голоса беспощадно, безжалостно льют ей в уши чудовищную симфонию чисел, заставляют плести тягучую паутину шнуров, опутывающую и засасывающую ее душу.

Но когда на миг автомат № 3-0-5 почувствует трепет запретного чувства в чьих-то словах, донесшихся из пустыни города, сладкой тоской всколыхнется сердце, радостью отзовется оно, полетит навстречу неведомому. «Будьте здоровы, барышня... Какой у вас милый, нежный голос!» Кто он, сразу почуявший ее волнение в тот миг, так ласково откликнувшийся на него? О, если бы узнать! Какое счастье, что Настенька чихнула перед самой сменой и потому запомнила его номер. Что, если отважиться и позвонить? Настенька даже вздрогнула от этой внезапной мысли. Кто знает, быть может, здесь судьба!

И сразу в сердце запала радость. Словно подхваченная порывом ветра, понеслась она вниз по бесконечным маршам лестницы. В раздевальне четвертого этажа, где громоздились длинные глухие железные шкафы для верхнего платья, с кабинками на четырех телефонисток, она отперла свою кабинку, положила на полку головной прибор и помчалась в столовую. Там было людно.

Васька-пулемет издали заметила Настеньку и махнула ей рукой:

— Сюда, сюда, Стенька! Я для тебя оставила место.

За столиком сидели Оленька-мухомор, Лиза Угрюмова, Шипучка—стареющая, всем недовольная больная девица, и две неразлучные подружки из «немых», Шура и Клава, приятельницы Васьки. Шел горячий спор о Рудаковой, причем Оленька защищала ее, а «Пулемет» осыпала свинцом ядовитых слов.

— На чем же она с тобой порешила, Стенька? — спросила Васька, когда Незнамова уселась за стол.

— Грозилась понизить квалификацию, — вяло ответила та, принимаясь за суп.

— Не пройдет этот номер! — так и вскипел «Пулемет», вертясь на стуле, словно настоящий «Максим» на своем треножнике. — Уж и так семь шкур дерут, неужто еще и жалованье снижать за разговоры абонентов? Пусть попробует, мы с тобой такой бунт подымем, что небу станет жарко.

— Вам-то хорошо, у вас зала хоть куда. А мне — за двадцать копеек в час посиди-ка на чортовом чердаке, — проворчала Шипучка, криво растягивая резиновый сморщенный рот. Ей в самом деле доставалось туго: она входила в роковые 33% туберкулезных телефонисток, но тем не менее работала в худшей из зал, расположенной в чердачном помещении станции. Потолок залы составлял одновременно крышу здания, небольшие окна в стенах были сплошь заставлены мюльтипльными столами высотой до начала ската; наклонные, привинченные наглухо, осветительные окна были проделаны в скате, по четыре на каждую сторону, и никогда не отворялись. Духота в этой зале была постоянная, а летом, когда крыша накалялась от солнца, к духоте прибавлялась удушающая жара. Зимой снег заваливал окна, приходилось круглые сутки пользоваться электрическим освещением. Телефонистки, сидя тесно в ряд, непрестанно плетя свою незримую ткань, обливались потом и доходили до обмороков, — в особенности «немые», работа которых вообще однообразнее и напряженнее, чем у телефонисток мюльтипльных.

— Я хоть и не на чердаке сижу, а после работы кусок в горло не лезет, — отозвалась Шура, худенькая, с бледно-матовым восковым личиком.— На каждом шнуре блок с полфунта тянет, потаскай-ка его восемь часов подряд: плечи ломит.

Она принадлежала именно к этим немым автоматам, которые в течение всей работы не встают, не слушают, не говорят, лишь внимательно следят за вспыхиванием и угасанием лампочек—вызывных, отбойных, глянцеров, взглядом лихорадочно ищут по глянцерам свободный шнур и немедленно вслед за сигналом, монотонно-однообразно и очень быстро то правой, то левой рукой втыкают в сигнальный щит и вынимают из него штепселя. Поэтому больше половины этих механических женщин — нервно-больные. Мюльтипльные гораздо счастливее, так как разговор с абонентом и вставанье со стула для включения штепселей вносят в работу какое-то мрачное, но спасительное разнообразие.

— У меня в ушах зудит, а и то не жалуюсь, — поджала губки Оленька-мухомор. — Если распустить себя, так вовсе работу надо бросить.

— Ну ты, любимица, — затораторил «Пулемет». — Вам-то всегда хорошо, старшие по головке гладят: то велят закрывать и открывать кнопки, то безотбойных снимать. Приятно, слюни распускать не приходится. Это нас, грешных, держат в черном теле.

Оленька сердито сдвинула брови: она действительно стояла на хорошем счету у Рудаковой, и та частенько давала ей работу полегче: затыкать кнопками ячейки выключенных номеров на мюльтипльных столах или отмечать, как испорченные, аппараты, у которых не загорался отбойный сигнал. Как везде и всюду, таких любимиц терпеть не могли их сослуживцы.

— Любят тех, кто отвечает на сигнал в одну шестую секунды, — заступилась за подругу Лиза Угрюмова. — Кто же полюбит, если будешь дремать или путать?

— Ну, есть у нас и такие, которые для скорости срывают шнуры, а не вынимают их аккуратно, — снова принялся язвительно сыпать «Пулемет». — Тоже за туалеты любят некоторых. Только все ведь это от старого режима, скоро мы таким резвушкам скажем «тпру». В старшие кто вылезает? Подхалимы. Те, что нашего брата, чернорабочего, терпеть не могут, а умеют подладиться к начальству. Небось, высокой квалификации телефонистку с работы не снимут, как же, она ведь нужна, серая скотинка, — а вот из тех, кто поплоше да позлее — милости просим в жандармы. Знай, похаживают по залу, да нас подслушивают. Работа, подумаешь!

— Кабы их не было, так мы бы и не работали, а только болтали друг с дружкой, — снова вступилась Оленька. — Без контроля никак не уследить за тремя сотнями барышень.

— Да, уследить-то нельзя, а зачем надо следить? Дай срок, мы это все переделаем.

— Как же, переделаете! — насмешливо протянула Лиза Угрюмова, морща свой хищный носик.

— Вот подождите, большевики придут, всем зададут перцу, — негодующе сверкнула Васька карими озорными глазами.

— Потише ты с большевиками, — испуганно взглянула на нее Настенька. — Дойдет, чего доброго, до Рудаковой, она мигом тебя выживет со станции.

— Чорта с два! — вызывающе поглядела по сторонам Васька. — Вы, барышни, кроме своих платьиц да коммутаторов ничего не видите. А разве даром союзы протестовали против Государственного Совещания? Мы-то не бастовали, бастовали четыреста тысяч рабочих. До сей поры боитесь Рудаковой, словно мышата. Как вами ни помыкай, все такими и останетесь. Взять бы да и нам забастовать, как намедни рабочие, тогда сразу заведутся другие порядки. А то — вишь, старшие в своем углу, ни дать, ни взять господа офицеры, а мы публика порусее, солдатское быдло.

Она мотнула кудлатой головой в ту сторону, где за столами чинно сидели старшие телефонистки.

— Рудакова — хорошая хозяйка и заботится о пользе дела, только и всего, — заметила Оленька. Она все время порывалась уйти, так как

разговор ей совсем не нравился: и она, и Лиза Угрюмова рассчитывали сделать карьеру возле Рудаковой, растущее же озлобление телефонисток против начальницы пугало их.

— Хозяйство хозяйством, а ведьмой зачем же быть? — не унималась Васька. — То и дело с ней скандал: мало того, что контрольные одергивают, сама ходит по залу, ко всякой цепляется. Чуть сгорбишься от усталости — так и шипит: «попрямее»...

— Ну и права: согнувшись работать медленнее, раньше чем встать со стула, надо еще выпямиться, — перебила Оленька. — Нельзя у нас без дисциплины — работа, как на войне. Если будем болтать с абонентами или промеж себя, срывать шнуры, спать, — так дело и вовсе разладится.

— Сразу видать, в начальство ты вылезаешь! — вз'елась Васька. — А вот хамить-то зачем? Начальница должна быть заместо матери родной, вникать в каждое наше горе. Уж если мы плохо работаем, значит есть причина. Вчера у Гореловой умерла мать, сама она чуть живая сидела. Шнуры вставляет, а слезы так и текут. Легавина это заметила, сразу взяла на контроль. Та перепутала раза два номера, так ее потащили к Рудаковой, а та нагоняй задала. «Станции, говорит, дела нет до ваших семейных драм. Если больны, так заявите». Заявишь по этакой болезни раз, заявишь два, а потом и снизят либо совсем уволят: больных, мол, не держим. А была бы начальница хорошая, как Алейникова, она подозвала бы да порасспросила, в чем дело. Отношения человеческого к нам нет, вот что. И если бы еще работали мы, как люди, а то — что же это такое? Мыслимое ли дело наш чердак? Туда с чистого воздуха как попадешь, так и задохнешься. Как же нам не болеть чахоткой и нервами от этакой клетки?

— Брось, ты, Васька! Разговоры одни! — вяло махнула рукой Настенька. — Все равно дела не наладишь. Пойдем-ка, пора нам, перерыв кончается.

Они вышли из столовой и направились вверх по лестнице. Румяная, задорная рожа «Пулемета» пылала вдохновеньем.

— Нет, милая, теперь уж мы наладим. Все-таки у нас на станции много недовольных. Дай срок, мы их раскачаем. Я с Мицкуном часто видаюсь; говорит, к чорту скоро все полетит.

— Боюсь я всего этого, — болезненно морщась, отозвалась Настенька. — Не люблю. Какое мне дело до большевиков? И кто они такие — не знаю. Шумят, шумят, а чего шумят — и сами не поймут. Потому я и с Мицкуном не тороплюсь: опасный он какой-то, ну его.

— А любишь? — лукаво блеснула белками Васька.

Настенька ничего не ответила: снова в душе зазвучал неведомый ласковый голос, донесшийся из загадочных недр города. Не терпелось позвонить по таинственному номеру, испытать судьбу. Но перед ней уже сверкали граненые стекла двери в зал, за которой плескались и переливались горные потоки приглушенных женских голосов.

Юные пряхи непрерывно пряли судьбы города.

III

Сумерки, пропитанные мутью осенней изморози, медленно заливали город, когда Настенька подходила к ветхому домику в Замоскворечьи, где она жила с матерью, сестрами и братом. Мокрые мостовые, покрытые желтоватой гнусной слякотью, торчащие ветви деревьев с листьями, почерневшими от ненастных утренников, лишайные от сырости стены домов — все это переполняло душу Настеньки тягучим, липким отчаянием. К концу рабочего дня у нее постоянно разбаливалась голова, она чувствовала себя разбитой, охрипшей, слегка оглохшей. Повышенная раздражительность, такая обычная у телефонисток, соединялась с замиранием сердца, слезами полнились тоскующие синие глаза. Она чувствовала себя бесконечно одинокой, заброшенной, бессильной справиться с ненастной хмурью, обволакивавшей ее жизнь. Сегодня к этим болезненным признакам присоединилась еще ужасная растерянность: Настенька знала, что пора решить окончательно вопрос с Мицкуном, и противоположные чувства к нему терзали ее сердце.

В конце концов, жить без всякой поддержки и опоры становилось невыносимо: на шее больная мать, братишка и сестренка десяти и тринадцати лет. Другая сестра, Липа, постарше — ей шестнадцать, но она только еще ученица на станции. Стало быть, приходится вчетвером жить на сорокапятирублевый заработок Настеньки, и жизнь трудна, как каторжные работы. Но в том, что Мицкун избавит ее от каторги, Настенька была далеко не уверена.

Обитая клеенкой дверь впустила ее в крохотные, пропахнувшие кошками сени. Она поморщилась с отвращением: опротивел ей этот домишко, грязь и беспорядок, увеличивавшиеся с каждым днем. Раньше, когда отец был жив и мать здорова, — полы блестели, на окнах висели кисейные занавески, со шкафа на буфет и с буфета на этажерку прыгала рыжая белка. Необходимо было поддерживать кокетливый уют и чистоту: шведы брали телефонисток только из «порядочных» домов. Но отец умер, мать заболела чахоткой, занавески пришлось продать, белка сбежала: в доме мало-по-малу воцарился хаос, запах кислых щей, корки по столам, мыши и сор по углам.

Настенька сбросила пальто и калоши, прошла в столовую и, не сказав ни слова матери, сиротливо повалилась на продранный диван. Так пролежала она с полчаса, закрыв глаза, всем телом отдаваясь отдыху, ни о чем не думая. Мать ходила на цыпочках, шипела на ребятишек и не решалась зажигать лампу. В такие минуты Настеньку охватывало какое-то жестокое злорадство, она капризничала, требовала тишины, упрекала близких в бессердечии — вообще всячески вымещала на них свою усталость, тоску и беспомощность. Но сегодня она была настолько ошеломлена, что сил не хватало даже на обычные капризы.

— Мама, мне уроки учить пора, — пищала школьница Дуся. — Засвети огонь.

— Ты, — махала на нее руками мать. — Видишь, Настенька отдыхает. Посумерничаем, подождешь ты.

И снова по мутной комнате струился лишь немой сумрак да осторожная возня мышей вокруг позабытой корки.

Отдышавшись, Настенька открыла глаза и подозвала мать. Та присела возле нее на диван: бледно-серое чахоточное лицо казалось неживым в густой липкой патоке сумерек.

— Мама, — сказала Настенька, и дрожащая хрипотца голоса выдала ее волнение, — Мицкун опять написал мне записку, просит свиданья.

Мать вздрогнула, тускло глядя в белесое окно, но не ответила ни слова.

— Как думаешь, пойти? — продолжала Настенька.

Мать помолчала, потом вздохнула с тугим, надорванным присвистом:

— Дело твое, как хочешь. Я бы не пошла.

— Не пошла?

— Нет. Брось ты этого косматого. Ну, что тебе в нем? Замуж выйдешь — уйдешь со станции, а что взамен? Монтерского заработка рубль двадцать в день. Так этого мало на всю нашу ораву.

— Я еще что-нибудь придумаю, не буду сидеть, сложа руки.

— Трудно придумать, Настя. Полы мыть не пойдешь. А главное—забеременеешь, — новая забота. Где тебе, такой слабенькой, еще с этим возиться. Ведь ты у нас одна кормилица, Липа когда-то еще выйдет в телефонистки.

— А если так, без замужества? Мицкун — большевик, попов не признает.

— Ох, то-то и беда, что не признает. Стало быть, в любую минуту может бросить, да еще, глядишь, и с ребенком. Тогда что? И признаться, терпеть я не могу этих косматых: такие страсти говорят на митингах, просто ужас один. Всех хотят упразднить — и фабрикантов, и купцов, и помещиков. Кто же тогда останется, в самом деле? Тебя он так запутает, что и не очухаешься как полетишь со службы, а сама брюхатая без мужа будешь гулять.

Настенька стиснула губы, сжала кулаки. Глухо простонала:

— Но ведь это же ужасно, мама. Мы тоже живые люди, а не машины! Мне двадцать третий год пошел, а я все одна да одна. Не хочу я кормить земляного червя, век оставаться старой девой. За что мы такие несчастные?

— Не зря это придумали: ну, попадешь ты в положение — работать станет невтерпеж. Допустим, удастся тебе выносить незаметно, сказаться больной и втихомолку родить, — а дальше? Как будешь кормить, как ходить за маленьким, пока к рожку не приучишь. Если бы и удалось пронянчиться с месяц, где твои думы будут потом, когда вернешься на станцию. Номера тебе в голову не полезут, если сердце останется дома. А как ему там не остаться — то животик разболелся, то корь, то зубки режутся. Уж какая тут работа! Ты и так вся дерганая, нервы никуда не годятся, что же из тебя получится? Нельзя себе на плечи взваливать еще новую обузу. Стало быть, волей-неволей придется уйти со станции. Ну, а сейчас службу

не больно найдешь. Видели мы, как Липа искала, да той же станцией и кончила.

— Значит, не любить, сердце вырвать, распять себя прикажешь, — истерично зарыдала Настенька. — Что я, проклятая, какая-нибудь, должна молодость свою губить? Второй раз жизни не будет! Не хочу я тянуть эту лямку! Не хочу подыхать на каше, да на картошке! На своем горбе вас всех тащить!.. Не хочу! Не хочу! — выкрикивала она, беспомощно трепыхаясь на диване.

Мать испуганно кинулась ласкать и целовать растрепанную головку, прижимая ее к своей груди, но сама раскашлялась от волнения и забилась в жестоком приступе. В паутинном крепе сумерек обе они казались вз'ерошенными птицами, запутавшимися в перепелиной сетке. Неуклюже, враждебно выпирал из стены грузной тяжестью буфет, мертвенно белела скатерть на столе. Холодный четырехугольник окна с форточкой глядел как чье-то угловатое презрительное лицо с моноклем,— и казалось Настеньке, будто неумолимый город смотрит к ним в комнату, пугая мраморной неподвижностью. Она извивалась в неодолимых рыданиях, стонала, корчилась, билась головой о спинку дивана, растирала себе лицо клочьями вылезавшей из него морской травы. Страх, огромный и неопределенный, как сумерки, облеплял ее своей болотной тиной — страх непонятный, исходивший не то от бледной маски окна, не то от сырого дыхания матери, веявшего болезнью и тленом. И дыханье это казалось Настеньке дыханьем ее окаянной жизни, отравленной, как туберкулезными палочками, мириадами жестоких, неотвратимых цифр, которые преградили ей дорогу к лучшему существованию, к нехитрому человеческому счастью, доступному каждой девушке. Соты коммутаторов засосали ее в свою трясину, стеной выросли перед ее глазами — и издеваются десятками тысяч голосов, долетающих из очарованной, запретной страны. Быть может в каждом голосе таится участие, любовь, ласка, по которым исстрадалась Настенькина душа, — но неуловимые, мгновенные проносятся они дразнящими призраками, раня ее сердце своей неповторимостью. Она, сплетающая, как разноцветные шнуры, рвущиеся друг к другу мысли, сама она остается всегда без отклика, без привета — неслиянная, неприметная, человек без души, девушка без сердца, женщина без материнства, — железный автомат № 3-0-5, одиноко стоящий посреди города, чуждый кипению его толп и нужный им лишь как механический передатчик их чувствований, помыслов и желаний...

В дверь заглядывали матовые личики с телячьими испуганными глазами — братишка и сестренка Настеньки. Они хоть и привыкли к ее слезам и истерикам, но сила сегодняшнего припадка поразила их. Опытная в этих делах Дуся мышонком проскользнула в столовую, зажгла лампу — не висячую «Молнию», та раздражала Настеньку еще больше, — а литую, пузатенькую, под зеленым фарфоровым колпаком, стоявшую в углу на круглом столике: она так и называлась — «слезная лампа» и зажигалась для успокоения нервов. Потом достала из буфета склянку брома с валерьянкой, налила в стаканчик, сколько полагалось, и на цыпочках поднесла сестре.

— Валерьянкой! — хохотала та сквозь слезы. — От горя... ха-ха... валерьянкой лечат!.. Уйди, разобью, — отталкивала она стаканчик.

Мать одной рукой охватила Настенькину голову, другой взяла стаканчик и принялась вливать лекарство в искривленные, дрожащие губы, а Дуся потихоньку гладила и удерживала руки сестры. Мелко стучали зубы о стеклянный край, чуть не дробили его с хрустом, сопротивляясь. Однако, мать оказалась неумолимой — вливала, пока Настенька не раскашлялась, поперхнувшись, и не затихла беспомощно. Тогда она уложила ее поудобнее, покрыла шалью, принесенной братишкой, и гладя по головке, прошептала:

— Ну, успокойся, Настенька, успокойся, родная. Мы спрячемся, не будем тебе мешать. Делай, как хочешь, я на все согласна. — И ушла, покачиваясь, на ципочках — высокая, костлявая, угловатая, как жираффа, изголодавшаяся на севере.

«Слезная лампа» потрескивала, кидала на потолок мутно-зеленый полог. Окна насупились, оскалились глухой чернотой. Жирные пятна глядели со скатерти круглыми птичьими глазами. Настеньке тошно было их видеть. Она закинула голову назад, следила за трепетом светлого круга над лампой. Неясные тени дрожали в нем, усыпляли ритмической пляской. Малопо-малу острая боль под сердцем утихла, мысли заструились, как болотная зыбь над головой, как шуршанье мышей за буфетом.

О каторжной своей молодости думала Настенька, вспоминала день за днем протекшую жизнь — и все искала оправдания той тоске, тем страданиям, которые перенесла она во имя служения каменному идолу — Городу. Когда ей минуло восемнадцать лет и она кончила гимназию, отец начал думать о том, куда бы ее пристроить. Знакомый инженер обещал оказать протекцию на телефонной станции, — и этим определилась судьба Настеньки. Она подала заявление о приеме туда. Ясно-ясно вспоминались ей лица госпожи Нельтон, супруги директора, хозяйки и совладелицы станции, сухой, ледяной, неприступной шведки, а также первой помощницы ее — массивной Кроллинг, инспектриссы над телефонистками. Какими пронизывающими взглядами ощупывала ее «Элинька» Нельтон сквозь массивный золотой лорнет, как презрительно щурилась Кроллинг, оглядывая невзрачную, совсем еще детскую фигурку Настеньки. Но шепоток инженера сделал свое дело — ей милостиво разрешили подать заявление и, приняв его, изобразили в углу крендель, что значило: «заслуживает внимания». Затем Кроллинг поставила ее под мерку, записала рост, велела раскинуть руки и измерила ширину охвата. При этом обе шведки недовольно поморщились: Настенька едва-едва вытягивала норму. Дело в том, что ширина размаха рук мюльтипльной телефонистки — статья далеко немаловажная: необходим рост, позволяющий ей, не сходя с места, дотянуться и до верхнего края коммутатора, и до номеров, расположенных на его краях, иначе телефонистка будет мешать своей соседке, медлить и срывать шнуры.

— Не пришлось бы ее взять в «немые», — полувопросительно пробормотала Кроллинг: распределительные телефонистки могут быть ростом

пониже, сигнальный щит невелик. Нельтон с сожаленьем глядела на тщедушную грудь и слабые плечи Настеньки.

— Где же ей справиться на распределителе, — мигом наживет чахотку, — ответила помощнице «Элинька». — Попробуем, может быть и сойдет за мюльтипльную. Инженер Шмидт очень просил, а он такой внимательный молодой человек... Ступайте к врачу, милочка, — обратилась она к Настеньке. — Если вы окажетесь здоровой, заявление ваше будет рассмотрено.

Станционный врач, пухлый, лысый и желчный старичок, усадил Настеньку напротив себя, надел на лоб круглое зеркало с глазком посредине и, бодаясь, как буйвол, велел разинуть рот. Он осматривал ей горло, пока она не подавилась костяной ложечкой, а тогда поморщился и заворчал:

— И куда вас, глупых барышень, таскает служить? Шли бы в танцкласс или замуж. Чего вы тут не видали? Ни мечтать, ни влюбляться не позволят, шалишь. Да и куда вам — размах рук 154 сантиметра: ведь это же минимум. Тяжело вам будет, золотце.

— У меня семья большая, надо работать, — пролепетала Настенька, краснея.

— Эх, — вздохнул врач. — А в ушах, что у вас делается, покажите-ка?

Он осмотрел уши, затем заставил через комнату прочитать таблицы букв. Потом велел снять кофточку, насупился и начал разглагольствовать, размахивая стетоскопом перед носом Настеньки.

— Будь я в Америке или во Франции, я бы прогнал вас домой, золотце, и сказал бы: не суйтесь, не суйтесь! В бирюльки идите играть! Да-с! Ваша интересная бледность мне не нравится... и дрожание ваших пушистых ресниц тоже: это все для кавалеров, для женихов, а не для телефонной станции. Ваша красота, милая барышня, нам не подходит, она называется малокровием и нервностью. Скажите, сколько раз на день вы плачете? Уж не меньше трех-четырех.

— Случается, — призналась Настенька, вспыхивая еще пуще.

— То-то и дело. Что же получится, когда перед вами запестреют десятки шнуров, когда ваше внимание растроится, расчетверится, когда вы будете принуждены глазами ловить вызывные, отбойные, звонковые сигналы, штепселя и ячейки комутаторов, а в уши вам будут басить бесконечные цифры. Ох, золотце, замучаетесь вы, допрыгаетесь до больницы. Нам не велено браковать таких, как вы, а вот за границей вас и на порог бы не пустили. Ваша работа — сидячая, однообразная, напряженная, нервы от нее разлетаются вдребезги. Знаете ли вы, золотце, что по нашим сведениям семьдесят пять процентов наших барышень больны нервными болезнями. Они раздражительны, легко утомляются, у них бессоницы, ослабление памяти, головокружения и головные боли, — словом, всякие такие удовольствия. А вы вдобавок еще и слабогрудая, легко может развиться туберкулез. Хороши вы будете — а?.. Ну-ка дайте, послушаю. Вздохните.

Он вдавил ей в спину стетоскоп.

— Но что же делать, доктор, — вздохнув раза четыре, беспомощно прошептала Настенька. — Я так надеялась... Нам так тяжело живется.

Старичок, повернув ее к себе лицом, пристально посмотрел в полные слез глаза, грустно причмокнул и покачал упрямой, как у буйвола, головой:

— Да ведь что же делать! Я только предупреждаю. Служат и хуже вас, у вас хоть легкие здоровые... Эх, вы, деточка!

Все с той же грустной усмешкой следил он, как исчезали за батистом рубашки маленькие детские груди Настеньки, как застегивала она пуговицы лифчика на спине, беспомощно-женственно выставив худенькие плечи. Затем крякнул, вздохнул, написал на бумажке латинское слово и протянул ее девушке.

— Быть по вашему, препятствий не встречаю, — он иронически развел руками и поклонился. — Мы не в Америке, а там бы я вас в шею вытолкнул, — повторил он желчно, махнул рукой и погрузился в скорбные листы. Настенька радостно перевела дух, схватила бумажку, помчалась со всех ног обратно к «Элиньке» Нельтон. Та кинула на бумажку высокомерный взгляд и произнесла:

— Хорошо, милочка. Ждите повестки.

Но Настеньку предупреждали, что до повестки еще далеко. В самом деле, прошло недели две — и вместо повестки, как снег на голову, обрушилась госпожа Кроллинг. Она под'ехала в темно-синем автомобиле к ветхому домишке в Замоскворечьи, осмотрела, сморщив нос, его фасад, потом солидно дернула проволоку звонка своей полной, влитой в светло-коричневую лайку, рукой. Настенька опрометью кинулась отпирать. Важную гостью встретили низкими поклонами, усадили на диван, не знали, чем потчевать. Но шведка презрительно отказалась от чая и об'явила, что приехала произвести обследование.

— Ваш муж, чем он занимается? — спрашивала она мать Настеньки ровным голосом, звучавшим как перезвон жестяных блях. — Управляющий магазином? А вы сами не имеете заработок? Это все ваши дети? Нехорошо иметь так много ребенок при небольшой заработок... У вас чисто, о да, — позвякивала она, приподнимая бычий подбородок и ледяным взором разглядывая кисейные занавески. — У вашей дочери нет жених?

— Что вы, что вы, мадам, — виновато заулыбалась мать. — Настенька только этой весной окончила гимназию.

— О, гимназия, там начинаются шевалье. Молодой барышень такой ветреный... Но у вас есть брат: он — политический, — неожиданно выпалила шведка, уставив на нее прозрачные ледяшки глаз.

Мать смутилась, она не ожидала такого вопроса. Губы ее жалко скривились и она ответила:

— Нет, мадам, он не политический... Его только раз арестовали по ошибке, а потом выпустили.

— Он печатал прокламации от социал-демократ. О да, мы знаем все. У нас берут только благонадежный барышень.

— Настенька вовсе политикой не занимается, она еще глупенькая,— возразила мать с ужасом.— Кроллинг снова плеснула в Настеньку полярной влагой пронизывающего взгляда.

— Посмотрим, подумаем,— решила она, величаво подымаясь.— По обстановке — семья порядочный. Я буду говорить с мадам Нельтон, о да.

Запах духов, пудры и чистопородной спеси остался после нее в комнате, а вместе с запахом — боязнь за будущее. Две недели ждала Настенька ответа, ходила справляться, бегала к знакомому инженеру просить,— ответ был один: наводят справки о брате. Так во всю жизнь Настенька и не догадалась, откуда пронюхали шведы о ее «преступном» дяде, который, будучи еще студентом, попался полиции с пачкой прокламаций. Но в конце концов, инженер ли помог, или шведы убедились в безопасности девушки, но только долгожданная повестка пришла и Настенька поступила в ученицы телефонной станции...

— Кой чорт! Кой чорт меня за ногу тянул,— простонала Настенька и снова проплыло перед ней пухлое, недовольное лицо сердобольного доктора...

Прежде всего она должна была дать подписку в том, что при выходе замуж уведомит свое начальство, что значило — уволится со службы. Затем ознакомилась и получила на руки инструкцию, где излагались правила поведения телефонистки с перечислением смертных грехов, за которые грозило увольнение: подслушивание разговора абонентов, грубость с ними, вмешательство в их разговор, опаздывание на службу, болтовня с подругами, невнимательность, дерзость в обращении со старшими, неподчинение их замечаниям и так далее, и так далее,—в столь ошеломляющем количестве, что от ужаса Настенька первое время не решалась и шагу ступить без указки учительницы.

Началась учеба. О, эти мелькающие, нетерпеливые, неотвязные вспышки сигналов, эти однообразные, слепые соты мюльтипльных столов, эти пестрые, ползучие змеи шнуров, которые переплетаются в тугой узел, порождают растерянность и беспомощность своим требовательным множеством. Сначала Настенька изучала доску комутатора: она узнала, что номера расположены на ней по сотням. Каждая экспедиция, включающая шестьдесят тысяч номеров, ограничена широкой розовой полоской, а внутри расчерчена разноцветными узкими полосами, разбивающими ее на квадраты. Мельчайшее деление — сто номеров в клетке, клетки идут снизу и слева направо в возрастающем порядке сотен, а у верхнего края расположены пятисотые и шестисотые сотни. Таким образом, когда абонент называет номер 3-25-73, телефонистка знает, что ей нужен квадрат, заключающий триста двадцать пятую сотню, а в нем — семьдесят третья ячейка. В первое время Настенька просто терялась перед доской, тыкалась куда ни попало, и только указующая палочка учительницы направляла ее на путь истинный. Учительница стояла за ее спиной, следя за сигналами и указывая их Настеньке, если та с непривычки зевала. Настенька хватала шнур и беспомощно бегала глазами по многократному полю, не зная, куда ткнуть

штепсель и чувствуя, что пока она лихорадочно отыскивает нужный номер, на столе уже вспыхивают новые вызывные сигналы. Палочка-выручалочка выводила ее из растерянности и Настенька с завистью думала, как хорошо знать доску наизусть, когда рука сама тянется к нужной клетке, словно пальцы пианиста к нужным ему клавишам.

Это знание явилось вместе с привычкой, но сколько неприятностей пришлось претерпеть до тех пор! Ученицы работали под номерам учительницы, т. е. говорили номер стоявшей за их спиной телефонистки, и когда они мешкали, или путали, доставалось учительницам. Однажды Настенька замешкалась на целых 17 секунд; по несчастью она стояла в это время на нижнем контроле, и секундомер отметил эту неслыханную задержку. Бедняжку-учительницу чуть не уволили, ей стоило огромного труда оправдаться перед Рудаковой, указав на неопытность своей ученицы и на то, что шнуры запутались в слишком тесный клубок и Настенька растерялась.

Вообще, разноцветная пестрядь шнуров и сигналов долго мучила Настеньку. После работы в глазах рябило, и стоило сомкнуть веки, как перед ними начинали змеиться и ползти проклятые шнуры. Отголоски цифр стучались в уши даже через несколько часов после работы. Месяц ученичества прошел в каком-то кошмаре и часто Настенька плакала с отчаяния, собиралась бросить свое занятие. Но ее поднимали на смех старые телефонистки, говорили, что с непривычки всегда так, что лиха беда—начало, надо пересилить свою беспомощность. И Настенька пересилила, сдала испытание и была зачислена в экстры.

Жуткое было учреждение — служить в экстрах. Молоденьким телефонисткам «не давали смены», т. е. не зачисляли в штат до освобождения вакансии, но замещали ими заболевших. С раннего утра с семи часов Настенька должна была звонить по телефону на станцию и узнавать, будет ли ей работа. Зачастую оттуда отвечали: «позвоните через час». Она снова и снова звонила, иногда ее звали, при чем обязательно немедленно. Настенька мчалась, нередко тратилась на трамвай, а приехавши узнавала, что она уже не нужна, либо заболевшая явилась на работу, либо место перехватила более прыткая экстра. Все это проделывалось за пятнадцать копеек в час, — разумеется, в том случае, если удавалось получить работу. Если же нет, — оставался лишь расход на трамвай, да иногда и на телефон, потому что не всякий лавочник пускал разговаривать даром. Иной раз приходилось вызванивать в течение всего дня и только к вечеру получить час или два. Какое бывало счастье заработать полтинник! А уж рубль казался ошеломляющим богатством.

Больше года проваландалась Настенька в проклятущих экстрах. В смену ее долго не хотели брать — за слабость, за низкий рост. Но опять поворожил инженер — начальство, наконец, сжалилось и включило ее в «красную» смену. Эта смена — собачья, телефонистки ее не особенно жалуют. Основной сменой считается «черная», которая в наше время работает один день с восьми часов утра до трех с перерывом продолжительностью в один час, а другой день с двух до десяти вечера; при шведах работали на час

дольше. Красная же смена вступает с одиннадцати до двух, отдыхает до пяти и снова работает до восьми. Таким образом, телефонистке, состоящей в красной смене, приходится проводить на станции целый день, если живет она настолько далеко, что нет рассчета возвращаться домой на трехчасовой перерыв. Несмотря на такое неудобство, без красной смены обойтись нельзя, она является подсобной к черной, замещая собой отдыхающих телефонисток черной смены. Лучшей же всегда считалась «загородная» смена, занимающая ежедневно время с десяти часов утра до четырех дня. «Красной» Настеньке приходилось сидеть на станции по десяти часов сряду. Она обычно не знала, куда девать свободные три часа, валялась с книжкой в кушеточной или слушала музыку в гостиной, если наудачу забегала туда какая-нибудь музыкантша из телефонисток. Так тянулось больше двух лет, пока судьба не сжалилась над бедняжкой: с началом революции освободилось несколько вакансий в черной смене и Настенька пробралась туда. Теперь оставалось больше времени для личной жизни, не пропадал весь день. Стало как будто легче, но зато явилось новое горе, — повстречался «косматый» Мицкун, забилось новым ритмом Настенькино сердечко, — и больше стала досаждать будничная суета станции, придирки старших, грубость абонентов, летняя жара и духота, когда на станции пахнет трудовым потом, чаще вспыхивают истерики, в горле пересыхает, а голова гудит и кружится, словно каменный жернов...

Да, Мицкун. Настенька очнулась, отвела глаза от трепетных теней на потолке. «Слезная лампа» струила убаюкивающий свет. Окна чернели все также густо, но страшными уже не казались: вероятно, валерьянка подействовала. Мать ходила на цыпочках, готовила чай. Улыбка осветила Настенькины лазоревые глаза: попить чайку, а потом... потом на свиданье! Вероятно, Мицкун поведет ее в кино. Она вскочила, швырнув на пол шаль...

— Ну что, отлежалась, Настенька? — спросила мать.

Дуся, топоча пятками, в облаке пара вносила самовар.

IV

Настенька пришла на свидание слишком рано.

Но вот, наконец, показался и он — высокий, глянцеватый от дождя, в своей кожаной куртке, в лакированных сапогах. Огни фонарей дробятся, сверкают, и кажется будто он — в чешуйчатых серебряных латах, окован ими с ног до головы. Увидел Настеньку, рванувшуюся к нему навстречу — смехом озарил свое четкое, словно из желтой меди чеканенное лицо. Сорвал синюю фуражку, тряхнул головой — и тем же серебром сверкнули на сгибах длинные, прямые, черные волосы.

— Стаечка, вот и я. Долго ли изволили дожидаться?

— Нехорошо опаздывать, Петрусь. Я уже собралась уходить.

— Ой, часы у вас вперед забежали: идем в кино, сами увидите, мало ли еще до начала.

Он держал ее озябшие ручки в своих лапищах, глядев сверху вниз в застенчивые, смеющиеся глаза — сильный, молодцеватый, элегантный.

Такой непоколебимой уверенностью, таким смелым спокойствием светилось его лицо, что Настенька всегда забывала с ним и материнские причитанья, и собственные страхи. Когда он стоял перед ней — радостно и тепло становилось на душе, верилось, что он — тот самый, необходимый, единственный...

— А ведь Стаечка то наша совсем задрогла! Айда в мигалки, там чайком отогреемся.

Не заметила, как перенеслась с ним под руку через площадь, очнулась только в жидком золоте электрических реклам. Темно-красной лакировкой мебели, визгом скрипок и вздохами труб, мехом горжеток, сверканьем улыбок, котелков и золотых погон встретила белая зала. Уютно и весело в уголке за столиком, где чай с миндальной лепешкой, и Мицкун, смеясь, сыплет из плоской коробочки серебряные кирпичики шоколада. Поет вальс в тихих взмахах смычков, поют багряными буквами плакаты — «Молчи, грусть, молчи», «Сказка любви дорогой», «Ямщик, не гони лошадей!» — порхают улыбки, рокочут гулкие разговоры и, когда зажмуришься, кажется, будто сидишь за мюльтиплльным столом телефонной станции и если откроешь глаза — пустыми глазницами глянут в них коммутаторы... Нет, нет, не надо! Судорожная тень скомкала Настенькино личико. Участливый взор Мицкуна поймал это внезапное облако.

— Стаечка, что пригорюнилась?

— Станция уж очень мне надоела, — глубокой хрипотцой откликнулась девушка.

— Кто ж о станции думает здесь?.. Допивайте чай, публика повалила.

— Что вы хотели мне сказать, Петрусь? Для чего мы встретились?

— Многое сказать надо, да не время здесь и не место. Потом, после картины, а пока будем сидеть рядышком, сердце друг другу греть.

Ласково усмехнулась Настенька: краснобай и любезник, как все аппаратные механики-монтеры, — отшлифовался, чиня телефоны по богатым домам. И не скажешь, что в большевики глядит! Откуда у него эта болезнь? Право, к лицу бы ему шли белые аксельбанты, кортик у пояса, шпоры на каблуках. Ну, говорил бы о театре, о нежных балеринах, о красивых цветах, читал бы стихи, что ли..., а то подумать страшно, что за митинговые речи ждут ее после кино. Эх, Петрусек, буйный «косматый» Петрусек! Тянет тебя расшибить лоб непременно в драке.

Она оперлась о крепкую его руку, пожала порывисто, поднимаясь с места. Он ответил беглой зарницей усмешки. Толпа вливалась в зрительный зал, теснясь в проходах, растекаясь по рядам кресел. Настенька забралась в уголок возле стенки и притаилась там. Мицкун отгородил ее собой от чужих. Потемнело, млечный луч впился в экран, зажурчал за спиной сухой горох, сыплясь из неистощимого мешка. Вспыхнули перед глазами белые буквы, раскатился торопливый рокот рояля, между призрачными колоннами закружились призраки женщин-бабочек, легкие тени кавалеров во фраках и расшитых мундирах: «в замке барона Ксавье де-Жильбер был бал».

И в порхающем ритме танца закружились вслед за балом Настенькины мечты: эта картина, эти привидения иного мира откликнулись на зов ее

тоскующего сердца; очарованье угрюмого мага растаяло, как дымовая завеса — и сквозь туман сверкнул мираж обольстительной, настоящей жизни, о которой грезилось сегодня и у окна в высоте над городом и в зеленом сумраке «слезной лампы», и на сырой скамейке сквера. Уже не было скучно на этом свете и широко раскрытые пугливые Настенькины глаза жадно пили чужое счастье, летевшее мимо них. О, если бы пожить так хоть раз! Вот сверкающий уют цветов, хрусталя, обнаженных женских плеч. вот и вино и бешенные брызги фейерверка и чьи-то трепетные об'ятия в глубине каштановых аллей! Опьянение красоты, пламенных фонтанов, неизведанных незапретных страстей — вольная, полная, как клокочущий водопад, ненасытная жизнь...

— А ведь резво буржуям живется, правда, Стаечка? Оно понятно — у всякого барона своя фантазия, — зазвучал насмешливый басок Мицкуна и широкая ладонь легла ей на руку. Она вздрогнула и сердито отвела руку: как он не поймет ее душевного состояния, зачем напоминает о ненавистном городе, об опротивевшей борьбе за существование? Украдкой взглянула на него, видно догадался, обиделся, — сдвинул изломанные брови, крепко сомкнул губы, глядит на экран, раздувая ноздри. Нет, не призрачный он, не сказочный герой, а весь из костей и мускулов, пропахший кожаной курткой монтер с доходом в рубль двадцать копеек в день; с идеей борьбы и разрушения, крепко засевшей под выпуклым нахмуренным лбом. И как не кипеть ему ненавистью при виде баронского фейерверка,— он-то ведь завтра посидит без обеда за то, что угостил сегодня свою Стаечку шоколадом и глупой картиной. Жалко стало ей Петруся, крепче прижалась к нему плечом, — но уже раскинулась на экране зовущая морская даль новым прорывом в смеющуюся жизнь, уже потянул за собой дымящийся пароход, соленой волной воздуха и света захлестнуло душу, — а на капитанском мостике вырос он — настоящий, желанный, жданный, морской офицер с орлиным лицом, с глазами, знающими иные миры, иные горизонты...

А что если тот, откликнувшийся сегодня из неведомой дали, похож на него? Быть может у него, у таинственного номера 2-20-41 такое же орлиное, великолепное лицо, быть может он так же ищет иных берегов, как этот крылатый моряк. Давно уже следовало позвонить ему, зачем она колеблется... но ничего, ближе к ночи вернее можно застать его дома. После кино — непременно, лишь бы не слишком долго задержал Петрусь. Замирает сердце от неясных предчувствий чего-то невиданного, огромного и светлого, как морская даль на экране. Но там уже новые соблазны, новые влекущие чары: широкие, мраморные террасы, нисходящие к морю, террасы под пальмами, под безоблачным небом — и медленно идет среди кактусов женщина-повелительница, царица, не знающая ничего запретного, ничего мучительного и рабского. Лицо ее строго и нежно, как лицо Афродиты, вся она создана для любви, для пьяного смеха и солнечного простора. Настенька видит себя рядом с ней, она чувствует под рукой горячий полированный мрамор перил, ароматные капли падают ей на лицо с поникших листов банана...

Померкло. Вспыхнуло досадное электричество. Толпа, казавшаяся час тому-назад нарядной и радостной, отвратительна своим будничным видом; туда бы, в промелькнувшую так быстро, обманную радость! Мицкун хмур, не говорит ни слова: он хитрый, наверное понял, что делается в настенькиной душе, ругает себя за кино, готов увести поскорей в ненастье и слякоть. Но, слава богу, еще не конец, еще много в чаше сладкого, дурманного яда, который пьянит и ласкает сердце забвеньем.

— Женщины все такие, — как бы про себя роняет Мицкун. — Помани их богатством — ни на что иное и смотреть не станут.

— Вы ничего не понимаете, — сердито возражает Настенька. — Дело вовсе не в богатстве, а в свободе. Я бы хотела так жить, как они.

— Жалко, в кино не показывают рабочих кварталов, — кривит тонкие губы Мицкун, — там вот жизнь без прикрас, я на нее нагляделся. И свобода эта — от денег, на нашем горбе выращенная.

— Опять вы о рабочих горбах, — морщится она нетерпеливо. — Надоело, Петрусь, забудьте об этом хоть здесь.

Надвинул козырек фуражки до самой переносицы — злится. Ну и пусть! Снова тьма, снова веянье электрических снов: гладкие ленты шоссейных дорог, сверкающие лимузины, ослепительный веер скаковых лошадей... Как много в мире яркого, увлекательного и беззаботного. «Будьте здоровы, барышня... Какой у вас милый, нежный голос». Скорей бы, скорей снова услышать эти вкрадчиво-лукавые, дерзкие слова — неизвестно чьи...

Выходили в толпе, в суетливых толчках, надоедливом гаме. Глупо-нетерпеливые руки с номерками, заплесневелые калоши, мальчики в потертых тужурках с медными пуговицами. Как бедно, убого все это и как жалко отлетевшего сна! Скользкое дыханье изморози, рябь мостовой под бликами фонарей — ох, надоело, надоело, опротивело! А Петрусь будет сейчас мучить трезвыми разговорами, соблазнять революционной борьбой за лучшее будущее.

И подлинно начал, как только вышли из светлого зарева электрореклам:

— Эх, Стаечка, вижу я — вы расстроились от картины. Знал бы — не повел.

— Не от картины вовсе. Жить надоело в слякоти, вот что.

— Знаю, что надоело. Так не киснуть же самому, смешное дело! Если мы с вами будем ходить овцами, так понятно — дальше стрижки не уйдем. Ломать надо жизнь, брать судьбу за рога, а не плакать над картинками. Вы бы хотели так жить, как бароны?

— О чем я и говорю! — вырвалось у нее.

— Так вам замуж за барона выйти труднее, чем переломить судьбу. Мы с вами — люди рабочие, этого забывать не надо. А коли так, то путь у нас один.

— Буржуями устраиваться? — иронически сощурилась она.

— Зачем буржуями? Пролетариями, какие мы на самом деле: только жить, работая, до по-человечески.

— Ну, так этого никогда не добиться, Петрусь: где работа, там проклятье и рабство. Не поверю я, чтобы ваши большевики всех богатыми сделали. А если не сделают, — на что они мне? Птицей хочу я летать по свету, а вы что дадите взамен? Вместо семи часов буду работать шесть, да Легавина не будет поедом есть, да вместо Рудаковой Алейникова сядет за мать родную? Ну, так мало мне этого, мало, мало!

— В баронессы метите?

— В баронессы ли, в купчихи ли, в помещицы — вам что? Человеческой жизни хочу, не желаю быть водовозной клячей.

— Для себя только хотите?

— Для себя! Какое мне дело до других? Они то ведь за меня абонентов не соединяют.

— Эх, Стаечка! — Мицкун с отчаянием махнул рукой. — Полюбил я вас, ради вас всех других забыл, а на поверку выходит, что не пара вы мне, барышня-белоручка. И не сказал бы, что в нашем трудовом котле такие цветочки растут. За всех надо бороться, барышня, чтоб всем легче жить стало. Мы эту свору ваших любимцев солдатскими прикладами в грязь загоним. Довольно они поцарствовали на наших спинах...

— Опять митинг? Бросьте, не для меня это все.

— И про вас не забудем, не бойтесь. Дела наши ух как в гору пошли! Забастовка прошла на ять, теперь советы переизбрали — большинство у нас. Знаете чем это пахнет? Еще пятого сентября на об'единенном пленуме рабочего и солдатского советов приняли большевистскую резолюцию. Каждый день перед советом ходят делегации с фабрик и заводов с плакатами: «Вся власть советам!». Требуем удовлетворить все экономические требования, рабочего контроля требуем — и всякую такую штуку. И добьемся! Потому добьемся, что в подпольи организуем красную гвардию: рабочие крепко держат оружие еще с февраля, солдаты им тоже передают не мало. Говорит вот только нельзя, а то бы я вам такого порассказал!.. Одному верьте: месяца не пройдет, а уж станет всем чертям тошно... Стаечка, будьте вы человеком, идите к нам! Все эти заграничные картинки позабудьте, — игрушки все это, каприз воображения: ни баронессой вам не стать, ни купчихой. Скоро мечта одна останется от вашей красивой жизни: одна есть только жизнь — настоящая, крепкая, рабочая жизнь — драться за свое право, за счастье свое, да не за шкурное, а за общее. Мало вам этой жизни? У нас все клокочет, огонь горит настоящий — не то, что в этих слюнявых мигалках. Поймите вы меня, будьте подружкой моей, опорой для сердца...

Настенька, слушая, подняла голову и, тихонько вздрогнув, капризно перебила Мицкуна:

— Какое там общее дело, Петрусь! Смотрите, вот кругом дома стоят. Каменные, глухие, окаянные. И понабито в них народу, как сельдей в бочке, и лицо их общее — сельдяное лицо, ржавчиной провоняло. На что мне думать об этой селедочной роже? Она обо мне не думает — знай кричит в ухо день-деньской проклятые номера. Говорят, говорят, и жутко мне

станет подчас, как подумаешь: миллионы разговоров в день проходят через станцию. Если бы сразу услышать всю эту говорильню — вот стало бы страшно. Сумасшедший дом какой-то, а мы дурочки, сидим и вяжем на спицах ихний безумный бред. Где общее-то у меня с этим городом?

— Рассуждаете вы, извините, как букашка, а не как сознательный человек.

— Да, в опоры я вам не гожусь, пожалуй, — вздернула нос Настенька. — Вы о моих мечтах распространяетесь, а сами мечтаете побольше меня: чем о мировых переворотах думать, подумайте-ка о заработке. Мне ведь со станцией придется проститься, если за вас пойду. А чем кормить я буду свою ораву? Вот она — жизнь без прикрас. А вы — общее дело, пленум, революции! Эх, вы!..

Мицкун нетерпеливо мотнул головой.

— Первое дело, порядки скоро изменятся. Пока что, никто о нас ничего не узнает, а потом наша власть придет. Мы девушек мучить не будем, разрешим выходить замуж.

— Да лучше ли им от этого станет? И так с нашей работы нерва живого нет, а тут еще рожай, за ребенком ходи, мужа ублажай, когда пьяный вернется домой. Вас бы посадить за мюльтипли, героев таких! Так нет, все на ба-ры-шень взвалили, на белоручек, на рабынь семижильных, — закончила она почти злобно, кусая губы.

— Эх-эх, — вздохнул он. — Ради вас, Стаечка, я из линейных монтеров ушел в станционные, чтобы вас видеть почаще, а вы...

— И сидели бы на линии, я не просила.

— Там выгоднее: и работы больше и чаевые можно сорвать с буржуя. Извольте, коли мало вам моего заработка, я вернусь в линейные. Почета, правда, меньше, зато доходнее. Кстати, и соскучился на станции.

— Ага, соскучились! А нам-то каково?

— Знаю — не сладко. Я тоже волю люблю. Да и отстал от товарищей, на станции сидя. Тесно мне там. А сейчас буря надвигается — скоро, может, придется винтовку брать в руки.

— Ну так о чем же и говорить: или жениться, или хвататься за винтовку. Когда отстреляетесь, тогда и поговорим, — решительно сказала Настенька и круто повернула с бульвара.

— Куда же вы? — растерянно спросил Мицкун.

— На трамвай. Озябла я с вами, — махнула она рукой.

— Ну, идите, — упавшим голосом бросил он. — Так как же мне? В линейные возвращаться? — добавил он, помолчав.

— Как хотите, — пожала она плечиком. — Что мне до того? Жизнь мою вы не переделаете, все равно... До свиданья! — крикнула она уже со ступеньки вагона.

Гудящий и скрежещущий жук уполз, унося ее в туман. Мицкун посмотрел ему вслед со странным выраженьем тоски и гнева. Затем свистнул, сдвинул на затылок свою синюю, в серебряных пузырьках дождя, фуражку, круто повернул и зашагал на тротуар.

— Барышни! — сердито проворчал он сквозь зубы, ныряя в прокисший угар пивной...

А Настенька проехала только одну остановку. На углу площади она сошла с трамвая и чуть не бегом побежала по улице, где была аптека. Не столько речами Мицкуна было вызвано ее нетерпение, сколько желанием позвонить, наконец, по заветному номеру. Ах, какое ей дело до всяких там переворотов, до хвастливых мечтаний Петруся, когда тут рядом, совсем близко, мерещится реальность такого простого и доступного счастья.

Пряное тепло аптеки. Недовольный рыжий провизор. А в углу притаившийся лакированный ящичек телефона. Ох, милый, что-то откроет он ей?..

Трубка в руках, в ухе — танцующая резиновая чеканка телефонистки:

— Один-семьдесят пять.

Чужой, задыхающийся голос Настеньки:

— Два-двадцать-сорок один?

— Два-двадцать-сорок один?

— Да.

— Позвонила.

— Спа... сибо!

На мгновение померкли в глазах хрустальные шары, фарфоровые банки: во всю жизнь не испытывала такого волнения! Что будет, что будет? Кто откликнется? Ах!..

— Я слушаю.

Он! Чудный, обольстительный, ласково-вкрадчивый голос... Настенька глотает воздух, как рыба, слова застревают в горле.

— Я... я номер три-ноль-пять, — с усилием хрипит она в трубку.

— Три-ноль-пять?—недоумевает незнакомец.—В чем дело?

— Вы забыли? Сегодня днем я чихнула...

— А, вы—телефонная барышня!—весело вскрикивает он.—Вспомнил, как же! Очень, очень рад!

— Мне захотелось поблагодарить вас за внимание, — засияв глазами, сыплет скороговоркой Настенька. — Мы такие бедные, никто нас не любит и не жалеет. Словно автоматы какие!..

«Боже мой, какую я несу чепуху!» — с ужасом думает она в то же время.

Но номер 2-20-41 не видит в этом ни малейшей чепухи. Напротив, голос его становится совсем медовым:

— Чудесно! Я в полном восторге! Как хорошо быть вежливым!

— Уж и досталось мне от начальницы за вашу вежливость, — просто беда!

— Эка беда, подумаешь! Зато мы с вами сейчас беседуем.

— Скажите, кто вы? — спрашивает Настенька с замиранием сердца.

— Я? — голос слегка мнется. — А нужно ли сразу знакомиться? — вкрадчиво спрашивает он. — Право, гораздо любопытнее так... словно в маскараде.

— Но должна же я знать, с кем говорю. А то брошу трубку — и конец!

— Ну-ну, не сердитесь, — смеется незнакомец. — Ладно, так и быть, скажу: я музыкант.

— Знаменитый? — взвизгивает Настенька.

— И даже очень.

— Господи, как хорошо!

Это выходит так искренно и восторженно, что голос заливается сочным хохотом:

— Но вы просто прелесть! И наверное — прехорошенькая!

— Не знаю. Когда-нибудь увидите... А вы мне сыграете?

— О, с удовольствием. По телефону?

— Ах, боже мой, я сейчас из аптеки, невозможно. Знаете что? Мы ужасно скучаем на ночном дежурстве: вот если бы вы мне сыграли, когда я буду дежурить.

— А как это узнать?

— Очень просто: я вам позвоню со станции, дам три коротких звонка. Сама я с вами не могу соединиться, вы должны в ответ на звонки снять трубку и ждать. «Немая» передаст вас на мое рабочее место и, как услышите «три-ноль-пять», начинайте играть.

— Какая немая? Что за рабочее место? Ничего не понимаю!

— Ах, это наши порядки. Все равно ничего не поймете. Словом, после звонков снимайте трубку и дожидайтесь моего номера.

— Ладно. Очаровательно!

— А как ваша фамилия?

— Э, не скажу, надо же вас помучить.

— Барышня, вы занимаете телефон праздными разговорами, — ворчит провизор из-за прилавка. — Пора и честь знать.

— Меня гонит аптекарь, — пугается Настенька. — Прощайте. Можно звонить?

— Прелесть, прелесть! Конечно, можно! — умиляется знаменитость.

— Спасибо. Прощайте!

Щелкнула трубкой, на крыльях вынеслась в мокрый туман ночи. Куда девалась тоска! Какое начало, какое чудесное начало! Огромной радостью наполнилась ночь. Настенька не заметила, как домчалась домой, чуть не сбила с ног отворившую дверь мать — «Спать, спать хочу мама!» — вбежала в спальню и разбитая повалилась на постель... Господи, счастье какое!

Потрескивала «слезная лампа». Зеленый полог застыл на потолке. В углу осторожно возилась мышь. А рядом на кровати спала сестра Липа, ученица телефонной станции. Спала неспокойно, она еще не привыкла к ошеломляющим сотам коммутаторов: снились пестрые шнуры, вспышки сигналов. Она бредила, мычала, вскакивала на кровати, вся белая в белой сорочке, не открывая глаз, руками шарила по стене — соединяла абонентов, вставляла штепселя даже во сне. Первое время Настеньке было страшно смотреть на

нее, а теперь привыкла: пусть ее шарит, когда-нибудь успокоится. И Настенька шарила в свое время, искала нужные ей номера.

Неужто нашла, наконец, — счастливый?

V

Из окна с надменной высоты четвертого этажа свисал канат, к которому было привязано за середину полено, а на полене верхом сидел старый приятель Мицкуна, из линейных монтеров: обняв канат левой рукой он деятельно возился над кабелем, тянувшимся по стене к чугунной коробке, укрепленной на высоте второго этажа. В эти распределительные коробки сходятся провода из квартир и, сплетясь, выходят из них одним десятипарным кабелем, кот›рый соединяясь с такими же в 20 — 30 парный, тянется под землей до шкафа на улице; там кабели при помощи шнуров смыкаются с магистралями, проложенными под улицами и заключающими в себе сто, двести, триста, шестьсот, тысячу и даже тысячу двести пар проводов: чем ближе к станции, тем толще становятся магистрали и в кросс вползают туда толщиной от трехсот до тысячи двухсот пар.

— Егор! — закричал Мицкун снизу гимнасту на полене. — Чего ты таким чижиком там повис?

Тот взглянул вниз и расплылся в радостной улыбке.

— Да никак Петруха? Ты что, аль опять к нам вернулся?

— Ну да, вернулся: скучно стало, захотелось покататься верхом на полене.

— Да вишь ты, ремонт здесь случился: штукатуры лестницей сорвали кабель. А люльки не нашлось...

— Так ты в гусары записался? Дело удалое!.. Ну, паяй, а то, неровен час, спрыгнешь оттуда ко мне на шею.

— Ладно, мы привычные! — смеялся Егор на полене. — А ты что, тоже по ремонту?

— Нет, я приятеля навестить: лодыря гоняю для первого дня... Бог помощь! — закончил он, ныряя в под'езд.

Со времени свидания с Настенькой прошло всего только пять дней, но порывистый Петрусь успел уже привести в исполнение свое решение о возвращении в линейные: администрация очень обрадовалась, так как Мицкун вносил на станцию большевистскую заразу и являлся особенно ненадежным элементом. С одними телефонистками ладить казалось не очень трудным: поглощенные своей засасывающей работой, они не имели времени заниматься политикой. Кроме того, все «благонадежные», из «примерных» семейств, они были воспитаны в духе шведской дисциплины. Мицкун же, выросший на линии, сразу принес с собою струю вольного воздуха, непокорности и протеста. Поэтому желание его снова вернуться в первобытное состояние было встречено с радостью и удовлетворено немедленно.

Но самолюбие его жестоко страдало из-за поведения Настеньки. Со свойственной ему резкостью он решил оборвать даже знакомство с нею.

Несколько пролетов вверх по грязной каменной лестнице. Три двойных удара в обитую войлоком дверь. Щелканье крючка — бабья курносая физиономия с недоумевающими и подозрительными коровьими глазами.

— Тебе что, родненький?

— Никита дома?.. Да ты меня, Прасковьюшка, аль не признала?

— Ты никак тот телефонщик?

— Ну да, он самый. Давненько не наведывался, оно правда.

— Дома он, дома. С непутевым солдатом сидит. Окаянный такой, рыжий, и расстегнумшись ходит. Носит вас, чертей! Сапожищами всю кухню загадили! Мало вам на улице языком трепать?

— Ты, Прасковьюшка, контра — за порядок, да за царя! — поддразнил Мицкун. — Знаем мы тебя, заговорщицу.

— Тьфу! Меня бы вам посадить за царя,— все бы тогда жрали кашу с утра до ночи, в штопанных портках на службу ходили.

— Уж ты всегда придумаешь! — хохотал он, входя в тесную, заставленную ящиками и корытами кухню. Миновав ее, он в коридоре остановился у запертой двери и постучался в нее теми же двойными трехкратными ударами.

— Войдите, — раздалось из комнаты. Мицкун распахнул дверь и остановился пораженный.

Нос к носу столкнулся он с саженным детиной, рыжим, всклокоченным, носастым, бородатым. Багровый шрам, пересекавший наискось его лоб и щеку, делал его свирепую рожу невыносимо страшной. Из-под усов, над отвисшей нижней губой, темнели коричневые от махорки зубы. Серые глаза навыкате глядели так оловянно, тяжело и твердо, что у всякого, столкнувшегося с ним невзначай, цепенели ноги и сами собой подгибались колени.

— Мать честная, это кто ж такой? — опешив пробормотал Мицкун, чувствуя себя мальчиком перед этим дядей.

— Буря! — глухим рыком ответил рыжий, и тут только прапорщик заметил, что на нем болталась солдатская расстегнутая шинель, из-под которой виднелись защитного цвета шаровары, заправленные в порыжелые сапоги. В эту минуту из-за спины детины вынырнул нормального роста человек, в черной блузе, черноусый, с землистым цветом лица — весь какой-то темный, хмурый, чугунный, казавшийся рядом с огненными космами солдата еще сумрачнее. Лицо его непрерывно дергалось в конвульсиях, словно внутри него кипела брызжущая, яростная смола, не дававшая ему ни на минуту покоя.

— Мицкун! — воскликнул он, хватая монтера за руку и таща его в обход детины к столу. — Как хорошо, что ты пришел: у нас нет связи с телефонной станцией, а это так важно теперь, так важно!

— Это кто ж у вас — страшилю этот? — спросил Петрусь, пожимая ему руку.

— Буря, фронтовик, недавно только приехал. Золотой человек, только лют уж очень. Садись, Буря, на кровать и помолчи пока — надо переговорить с товарищем.

— Ты, Никита, слышал о приказе Керенского? — тотчас перешел к делу Мицкун, с опаской присаживаясь на продранный стул.

— Ох, только о нем у нас и речь! — махнул рукой блузник. — Солдаты остаются без оружия и боевых припасов. Юнкера и офицеры вооружаются до зубов. Им не удалось сделать из этого тайну, — вчера в комитете партии мы обсуждали этот вопрос. Дело плохо: в самых революционных частях остались только старые берданки без патронов, разобранные пулеметы, гранаты без капсюлей. Но мы не унываем, Пече прекрасно организует Красную гвардию: он уже отдал секретный контрприказ авиопарку: при разборке пулеметов все взять на учет и иметь под рукой. Солдаты уходят с фронта, забирая с собой винтовки и ручные гранаты, сдают их нам. Кое-что у нас все-таки будет, и нас больше... Эх, товарищи, захватить бы в первую голову кремлевский арсенал!

— Ты говоришь так, будто не сегодня-завтра начнется бой, — с удивлением заметил Мицкун.

— Так оно и есть. Нарыв скоро лопнет. На заводах повсюду ячейки Красной гвардии, а на некоторых — у Второва, на «Каучуке» есть уже целые боевые отряды, человек до двухсот. Военное бюро ведет усиленную работу среди гарнизона, организует партячейки в воинских частях, ведет агитацию. Настроение всюду явно в нашу пользу, но еще много нерешительных... Вот Буря как раз состоит на этой работе и держит связь между нами и солдатами.

Буря шумно всхлипнул носом и прорычал так, что затрещала кровать:

— Шаррахнем по бурржуям! Митингуем! Всюду ррезолюции! Одна беда: оружия мало.

— Уж и голосок благодатный! — вздохнул Мицкун. — Видать, однако, я многое прозевал, на станции сидя.

— А у вас там как, расскажи? — вскинулся Никита.

— Что у нас? Кисель у нас, вот что! Телефонистки, сам знаешь, все больше из барышень, о женихах мечтают. Есть там два-три монтера, те ничего себе, свои парнишки. А остальные мелюзга!

— Союз что делает?

— Союзов у нас три: союз служащих, союз работников станции — это все чепуха. Союз работников сети — туда линейные входят — тот покрепче. У нас теперь совет из представителей всех союзов. Есть там и наши, а только большинство меньшевистскую линию гнет.

— Плохо! — поморщился Никита.

— Уж чего хуже! Но я надежды не теряю. Уж очень телефонистки озлобились на Рудакову, помнишь, я о ней говорил тебе. Авось удастся тут самовар раздуть. Васька-пулемет среди них работает: она хоть и балаболка, но девчонка шустрая, хоть куда.

— Когда до дела дойдет — перво-наперво надо будет захватить станцию. Ты это помни, Мицкун. Держи с ней связь покрепче, валяй во всю с агитацией. Буря тебе поможет. Мы на тебя надеемся... А теперь, товарищи, до свиданья: мне по фабрикам пора отправляться. Ты, Буря, передай сол-

датам: оружие прятать, сдавать только своим и рабочим из Красной гвардии. Пусть не тревожатся, мы принимаем меры.

— Добрре! — рявкнул Буря, поднимаясь с места. Никита уже натягивал позеленевшее пальтишко, судорожно дергая хмурым, чугунным лицом. Мицкун глядел на обоих, и легкая щекотка ползала по сердцу: «ну, эти ребятишки не шутят, — в самом деле порохом завоняло!.. Эх, Настенька, клюют тебя индюшки, о чем ты думаешь в самом деле!»

А Настенька все эти дни ходила словно в каком-то легком веселом опьянении. Нетерпеливое ожидание ночного дежурства придавало ей бодрость, окрыляло душу. Работа спорилась и кипела, как никогда: исчезли сонливость, едкая раздражительность, детская готовность ежеминутно расплакаться от всякого пустяка. Легавина, после выговора Рудаковой взявшаяся за нее с особым старанием, подержала ее на контроле и бросила решив, что Настеньку достаточно подтянули, — так четко, напряженно-быстро и неутомимо работал автомат № 3-0-5.

Ночь приходилась на каждую телефонистку приблизительно через каждые десять суток, причем для черной смены она назначалась в те сутки, когда дневная работа телефонистки падала на время с двух часов дня до десяти вечера: тогда с десяти до восьми утра была «большая ночь» с перерывом в два с половиной часа, когда барышни могли уходить в спальню и отдыхать. Дортуары находились на четвертом и седьмом этажах, были в них неплохие кровати, причем каждая телфонистка имела свой комплект белья, сменявшийся раз в две недели. За «большую ночь» шведы платили два с полтиной, и дежурить считалось выгодным. Бывали также «малые ночи» — с десяти вечера до двенадцати или до часу ночи и с шести утра до восьми; такая ночь стоила полтора рубля, после нее назначалось на полдня дневное дежурство.

Настенькина большая ночь, наконец, наступила. С каждым часом таял строй телефонисток за распределительными и мюльтипльными столами. Лишние стулья с ножками в резиновых чулочках — во избежание шума при отодвигании — сносились в сторону и складывались там, давая простор для вечерних работ. Монтеры с озабоченным видом сновали по пустующим залам, проверяя работу вызывных реле, и торопливо выправляя накопившиеся за день повреждения. Со стола на стол переходили две телефонистки — одна на распределителях, другая на мюльтиплях, переговариваясь по телефончику монотонной скороговоркой: проверяли шнуры. С десяти вечера до часу ночи взамен дневного переплеска голосов и трещанья штепселей по зале порхали их быстрые и однообразные птичьи команды: «да! вешай! вместе!», «да! вешай! вместе!». Все реже и разрозненнее загорались лампочки на сигнальных щитах. После одиннадцати часов вдоль каждой группы распределителей похаживали, как цапли по болоту, только две «немые», ловя вспышки вызывных жемчужин. И вот, наконец, наступил второй час ночи, когда кончается проверка, монтеры уходят из зала, и там остается только ночной кадр телефонисток: дежурная старшая и по четыре мюльтипльных и распределительных.

Просторно и пусто перед слепыми сотами коммутаторов, перед черными щитами местного поля. Здесь сидят только по две «немых» в каждой половине зала — одна по одну, другая по другую сторону распределительных шкапов; перед каждым сигнальным щитом матово светится одинокая белая полоска глянцера, показывающая рабочее место; остальные глянцеры давно потухли, соответствующие им коммутаторы не работают — незачем. По ночному времени достаточно одного рабочего места на каждую четверть зала: все вызовы с каждой группы передаются одной мюльтипльной. Круглоглазая от дремы «немая» теперь уж сидит, как сова, против середины всей группы щитов, отодвинувшись от них шага на два, включив звонковый сигнал: каждый вызов и отбой заставляет трещать звонок за черной доской сигнального щита. Тогда «немая» подходит к загоревшейся лампочке и вставляет или вынимает шнуровой штепсель.

Чем дальше за полночь, тем реже раскатывается по залу разноголосая дробь звонков; в дремоту погружается город, лениво бьется его электрическое сердце,— и потихоньку начинают смыкаться веки телефонисток, сон в резиновых чулках мягко прыгает по зале. Но, боже сохрани, заснуть: недреманное око старшей тотчас заметит это, и нагоняя не миновать. Тем паче, что ночью звонят, хоть и редко, но все больше по экстренной надобности: пожар, ограбление, несчастный случай.

Настенька грустно сидела перед своим коммутатором, опрашивая редких абонентов и горестно тоскуя: старшая Печерина, хоть и не лютая, но хлопотливая невтерпеж, все никак не могла успокоиться — похаживала по залу, совалась то туда, то сюда: не было ни малейшей возможности вызвать милого музыканта. О, вязкая, тягучая тоска телефонная, когда сидишь перед пустой сеткой коммутатора и безнадежно дожидаешься абонента, как запоздавшего поезда на занесенном снегом полустанке. Веки слипаются, перед глазами рябит, штепселя кажут из стола злорадные кукиши! От нечего делать Настенька гадала, по голосу, по номеру телефона: если позвонит мужчина, то послушать музыку удастся, если назовет четный номер, то она познакомится с неведомым своим милым...

— Трр! — звонок за спиной, на распределителе. Вызывной сигнал. Слава богу!

— Три-ноль-пять!

— Баишня, миенькая, хоосенькая, пожалюйста, дайте мне номер...

Длительное молчание. Тьфу, опять этот добрый знакомый всех телефонисток, слюнявый старичок № 2-37-18! Вот подлая раздражающая манера называть номер, в особенности днем, когда каждая секунда дорога, и на шее виснут другие абоненты.

Сухо:

— Что вам угодно?

— Миенькая, хоосенькая, номер четыре-сорок-девяносто пять.

— Четыре-сорок-девяносто пять?

— Да!

Нарочно со злобой:

— Ззанято!

— Как же это ночью — занято? — изумляется старичок, и в голосе его явное беспокойство. — Подоздите, подоздите, еще не все. Миенькая, дайте восемьдесят пять-двадцать.

— Восемьдесят пять-двадцать?

— Да!

Яростно:

— Аппарат испорчен!

— Боже мой! — ахает старичок. — Ну, ну, опять пожалюйся, миенькая, четыре-сорок-девяносто пять.

Милостиво:

— Позвонила.

— Покойно благодарю.

Настенька улыбается, довольна: будет теперь брызгать слюнями, допытываться у своей фифы, с кем говорила. Этого старичка телефонистки давно уже вывели на чистую воду: как не запомнить этакого чудака и его любимый номер!

— Нюра, кто на первом шнуре? — спрашивает Настенька, обернувшись к «немой».

Та лениво смотрит на сигнальный шнур.

— 2-37-18.

— Ну, конечно, второго такого не сыщешь. Подожди же!..

А все-таки мужчина! Стало быть, музыку мы послушаем! Но, боже, как поздно уже — половина второго. Уснет музыкант, пожалуй... А ведь старичок назвал два номера — и нечет и чет: что бы это значило? Придется загадать еще раз.

Вызов.

— Три-ноль-пять.

— Скорая помощь!

— Скорая помощь?

— Да.

— Позвонила.

— Продолжительно!

Вот те и ответ! Зловещее предзнаменование!.. Но что это? Печерина притихла как мышь за своим столом. Скорей, скорей, три коротких звонка номеру 2—20—41... Быстро озираясь, вставила штепсель, откинула рукоятку ключа три раза назад. Ну, что-то будет!...

Через минуту — звон на распределителе. Неужто — он?.. Радостный глазок вызова.

— Три-ноль-пять.

— Это вы, мое счастье? Добрый вечер!

Он! Не спит!.. Тихая грудная хрипотца:

— Здравствуйте. Говорить не могу — услышат. Играйте!

— Но я-то, надеюсь, могу!.. Вы знаете, я все время думал о вас: сколько красоты в вашем неведомом таинственном голосе! Кто вы, какая

из себя? Откуда-то издалека долетают ваши милые слова, — но вся вы недосягаемая и неизведанная, как мечта. Мечта моя! Мечта! — нежно и вкрадчиво повторяет незнакомец.

У Настеньки начинает сладко кружиться голова.

— Играйте же, ради бога. Дам отбой.

И певучие, разрывающие сердце звуки скрипки. Широко раскрытыми, сияющими глазами смотрит Настенька в черные пустые зрачки коммунатора, смотрит и ничего не видит. Свинцовые тени лежат под глазами, полураскрылись детские губы. Не чарующее ли счастье поет в глубине ночного города? Ох, как плачут, как жалуются вздохи скрипки! Вероятно он очень одинок— чудесный музыкант, тоскующий по неведомом девичьем голосе!

Трр!.. Вызов! Ах, будь ты проклят! Резко оборвалось очарованье.

— Три-ноль-пять.

Отчаянный, задыхающийся крик:

— Милиция, 32. Скорей, бандиты!

— Милиция, 32?

— Да, да!

— Позвонила.

— Скорей, скорей!

Тишина. Ах, что ей за дело до какой-то резни — там, в глухих трущобах гнилого города! В душе поет музыка, дивная мелодия неведомого. Еще бы, еще!.. Но уже мигает двойной глазок отбоя. А, это старичок закончил свои излияния. Хорошо же!

Раз'единила. А потом вставила штепсель в ненавистный номер 2-73-54 и раз за разом откинула ключ назад. Насмешливо засветился зеленый сигнал — трезвонит у него аппарат во всю, пусть-ка разбудит жену, пусть-ка она задаст ему головомойку за эти ночные разговорчики!

В душе у Настеньки злобная радость: ненавистны ей эти абоненты, мешающие отдаться милым грезам... Вот опять вызов; заплетающийся язык несет околесицу:

— Три-ноль-пять! Что значит эта цифра? Па-ачему не сказать по чеаечески: я женщина и тоскую... среди одинокой ночи! Барршня! Верьте моему чувству...

Раз'яренная хрипотца:

— Какой вам номер?

— К чоррту номера, когда томмится сердце. Она бросила меня, понимаете? Утешительница, поймммитте..

— Даю аппарат начальницы!

Идиот, пьяная рожа! В другой раз насмешил бы, а теперь... Ишь как злится Печерина:

— Не понимаю, что вы говорите! Не понимаю!

— Еще бы понять!.. Но этот дурак, кажется, пробудил ее от дремы: встала, куда-то пошла из залы. Ух, сразу какой вихрь пронесся! Васька-пулемет, дежурившая в другом конце залы, стрелой летит к столу начальницы. В самом деле — удобный случай заглянуть в журнал взысканий.

Забыты звонки и лампочки, как воробьи слетелись барышни к столу. Ящик не заперт, — вот и журнал. Лихорадочно перелистывают его дрожащие руки. Ага, вот Васса Рябушкина: ну уж и расписали! На левой разграфленной странице — данные нижнего контроля: Ответ на сигнал — 1,8 секунды. Порядковый номер — 15. Это, стало быть, по быстроте ответа Васька стоит на пятнадцатом месте. Ну и ну! Продолжительность соединения — 3,1 секунды. Порядковый номер — 18. Еще хуже! Общее число секунд: 2,9. Порядковый номер — 29. Ой, Васька, совсем неладно! Квалификация: недурно.

— Так это еще совсем милостиво, — радуется Настенька. — Затронуть тебя боятся, Васька, а при шведах давно бы вылетела вон!

— Нет, ты полюбуйся, как верхний контроль нагадил. Это все Лягва — стерва.

«Номера абонентов повторяла скороговоркой, соединяла, не дожидаясь подтверждения. Не ждала второго номера. Болтала с соседкой. Срывала шнуры».

— И как только тебя Рудакова терпит!.. А что про меня?

Вот и Анастасия Незнамова:

Ответ на сигнал—1 секунда, номер 5. Продолжительность соединения— 2,6 сек. Номер 13,-ой, плоховато!.. А верхний, верхний контроль! Батюшки мои! «Работает ясно, но глухой голос. Иногда повторяет номера мимо трубки. Недоговаривает слово «позвонила». Дремала. Говорила с абонентом».

Замерло сердце: с ним! Занесли-таки в журнал! Ох, не угодить бы опять в красную смену!

И вдруг от двери возмущенный голос Печериной:

— Это что такое?!

Фрр — как воробьи, по местам: озираются в ужасе: вот так попались! Но Печерина — баба невредная, сама когда-то рыскала этак по журналу; сделала вид, что не заметила. Проехало!

Тихо густеет тоска телефонная, рассеянная ненадолго музыкой любимого незнакомца. Настенька старается вернуть свои думы к нему: она воображает себя на эстраде, где он дает концерт. На нее глазеет тысячеглазая толпа, та самая, которая сейчас день-изо-дня стучится ей в душу неотвязными номерами. Настенька слышит шопот: «кто она — эта хрупкая и хорошенькая рядом с ним, нашим единственным и великим?». И тихий ответ: «вы не знаете? Это его жена». Жена! Настенька сладко жмурится, одними губами произнося это нежное слово, сквозь пушистые ресницы разыскивая на коммутаторе заветное гнездышко № 2-20-41.

Сбудется или нет?

В окна смотрит глухая поздняя ночь.

VI

Этой ночью судьба Настеньки была решена. Как одуряющий, непобедимый наркотик, влилась ей в душу полуночная мелодия невидимой скрипки и неотвязно звучала в ушах, мешала думать о другом. Она стала дежурить по ночам чуть ли не через сутки, всякий раз, когда находилась желающая

поменяться. Слушать певучую скрипку и ласкающий голос музыканта стало необходимостью. И каждый раз он с изысканной утонченностью находил все новые и новые слова, чтобы воспевать свою «мечту». Но странное дело, — упорно отказывался познакомится, моля продлить очарование тайны.

— Поймите, — говорил он. — Что привлекательнго в обычном пошлом романе, каких тысячи? Разве не прекраснее во сто раз наша любовь по телефону, тонкая и изящная, нежно отдаляющая час встречи? А вдруг мы разочаруемся друг в друге — и тогда прощай это прелестное волшебство! Нет, нет, подождем еще: если мы не обманемся, жизнь окажется еще прекраснее, любовь еще ненасытнее.

Она соглашалась безропотно, а сама худела и таяла с каждым днем. Неодолимый яд медленно убивал ее. Тоска по близкой и все-же такой недоступной «настоящей» жизни — мучила ее. Все медленнее и медленнее работали руки, все рассеяннее становилось внимание. Снова попала она на контроль к Легавиной, и щучка мигом вонзила в нее свои острые зубы.

Однажды вечером Настенька, слушавшая в странном оцепенении таинственную скрипку, почувствовала, как чья-то рука легла ей на плечо.

— Вы слушаете абонента? — раздалось над ухом. Она вздрогнула и судорожно поставила ключ на место. Рядом стояла Легавина, сверлила ее неприязненным взглядом.

— Я... я задремала, — пролепетала Настенька.

— Берегитесь, — сухо погрозила пальцем та и заскользила дальше по пустынному залу. Слезы досады и злобы затуманили Настенькины глаза, как в бреду она отвечала на вызовы...

Утром ее вызвали к Рудаковой, и та, таращa на нее налимьи глаза, принялась допрашивать:

— Незнамова, почему вы так часто меняетесь на ночные дежурства?

— Ради выгоды, — оправдывалась Настенька. — У меня большая семья, а ночь стоит два с полтиной.

— Но это расстраивает ваше здоровье. Вы стали работать хуже. Потрудитесь прекратить внеочередные ночные сиденья.

— Вера Никитишна, без них мои домашние сидят голодом, — тщетно молила Настенька. Но Рудакова была особенно жестка.

Телефонисткам можно было меняться дежурствами, и девушки победнее охотно проводили ночи взамен своих более слабых или сонливых подруг. Но это не особенно поощрялось начальством, так как вносило лишнюю путаницу в графики смен. Составление же этих графиков — задача такая сложная, что даже прослужившие много лет телефонистки зачастую не могут разобраться в сменах: ими ведают начальницы зал и специалистки из старших — контрольные по журналу. В самом деле, распределить дежурства двухсот—трехсот телефонисток зала, имея в виду основную и две подсобных смены, а также то, что рабочие часы каждой телефонистки все время передвигаются, — дело чрезвычайно сложное. Надо уравнять интересы всех, не забыть заболевших, помнить кривую нагрузки станции разговорами абонентов, заставляющую в известное время дня кидать на работу весь кадр

телефонисток, в другие же часы — сокращать его до минимума. Минимум этот приходится на время с часу ночи до семи утра. Начиная с семи, когда город пробуждается и начинает говорить, кривая нагрузки непрерывно возрастает до полудня: в эти часы приходится прибавлять рабочую силу. С девяти до десяти утра свежие телефонистки входят через каждые четверть часа. После трех часов дня кривая начинает также стремительно падать,— и тогда надо сокращать число рабочих мест, памятуя, однако, о вторичном небольшом под'еме волны разговоров около семи часов вечера.

Рудаковой было дорого спокойствие своих помощниц. Поэтому она оловянно таращилась на Настеньку и рубила тяжелые слова:

— Не возражать. Интересы станции должны быть на первом месте. А кроме того, вы слушали абонента, это занесено в журнал.

— Простите, Вера Никитишна: на безотбойном была музыка... Я только одну минуту, — побледнела Настенька.

— При старых порядках вас бы давно уволили. Но теперь революция,— Рудакова поморщилась, с отвращением сквозь зубы цедя это слово. — Мы вас не обидим, милочка, переведем только в красную смену.

— Вера Никитишна! — отчаянным воплем вырвалось у Настеньки.

— Ступайте. Вы совсем распустились. Этого я не потерплю.

Вдруг за спиной ее раздался совершенно необычный шум, плач, и крик. Старшие кинулись туда, большая часть телефонисток, бросив работу, обернулись на переполох. Кое-где послышались ответные выкрики. Настенька заметила чье-то распростертое на полу тело, чьи-то барахтавшиеся в воздухе ножки в белых панталонах. Эту изумительную картину в тот же миг заслонила бледная от ярости Легавина, гнавшая пинками из залы визжащую Ваську-пулемета.

— Ты смотри, не дерись, — орала Васька. — Здесь тебе не охранка, чортова кукла! Мы тебя взбучим так, что своих не узнаешь! Девушки, что ж это такое?

— Легавина, опомнитесь! — скрипучим зыком покрыла шум Рудакова. Но та уже сама бросила Ваську и бежала сломя голову к столу начальницы.

— Вера Никитишна! Это... это... ее наглость перешла все границы! — хрипела она, брызжа слюной. — Контрольная сидела возле нее с хронометром и задремала, а она опрокинула ее со стула. Пора уволить эту дрянь!

— Негодяйка, — буркнула Рудакова. — Но все-таки драться не следует. Вы знаете, совет подымет скандал.

— Вон, вон ее!— не унималась Легавина.

Настенька, не дослушав, кинулась за Васькой-пулеметом.

Та стояла на площадке возле фильтров, усиленно пила воду и истерично хохотала:

— Как я ее, стерву! За ноги... да вверх тормашками! Не спи в другой раз! Нас-то ловить мастерицы, а сами?

— Ты с ума сошла, — перебила ее Настенька. — Что тебе за это теперь будет?

— А ничего, — утерла рукавом рот Васька. — Пусть-ка затронут, мы им такого трезвону зададим. Накрыть бы Лягву мешком в воротах да исколотит в отместку... Да что ты, Стенька, на тебе лица нет? — вдруг перебила она себя, заметив болезненную бледность подруги.

— Ох, меня в красную смену, — не договорила та и расплакалась.

— Тебя?! Ну нет, этого мы не допустим! За что?

— Абонента слушала. Музыканта своего.

Васька всплеснула руками и подпрыгнула на месте.

— Достукалась! Я так и знала, говорила тебе, дура! И на кой чорт тебе сдался этот свистун? Плевать ему на тебя хотелось! Что у него — баб получше тебя не найдется? Все равно замуж не возмет, успокойся.

— Замолчи, Васька! Не мучь меня, — сквозь слезы пробормотала Настенька.

— Сама ты себя мучишь. Да так тебе и надо: не мечтай о богатых женихах, знай свое рабочее дело. У нас тут хлопот нарастает целая гора, Рудакову скоро вывезем на тачке, а тебе и горюшка мало — все музыку слушает! Говорила я — оставайся с Мицкуном, он тебе как раз подстать. А ты? Ох, мокрица!.. Да не реви ты белугой, сделай милость!

Но Настенька, не слушая, махнула рукой и кинулась вниз по лестнице. Как в бреду шла она домой той же постылой дорогой, какой ходила уже несколько лет: те же слякотные мостовые, те же облезлые стены домов. Когда же конец? И неужели жизнь дразнит только обманным миражем?..

На станции Васька-пулемет не могла успокоиться. Она собрала вокруг себя в гостиной целую стайку пестрых птиц и азартно сыпала перед ними конопляное семя убийственных слов.

— Девушки! — пророчествовала она, потрясая кулаками. — Помяните мое слово — скоро камня на камне не останется от нашей станции, если мы будем вести себя этакими овечками. Вот у нас уже до чего дошло!

— Хороша овечка! — возражала Оленька-мухомор. — Бесстыжая ты, Васька! Молчала бы уж.

— Одних в шею гонят, других в красную смену переводят! — не унимался «Пулемет». — Долго ли мы будем терпеть это, девушки? Есть ли здесь хоть одна, которая Рудаковой довольна? Ну-ка, если есть, подыми руку.

Подняла одна только Оленька. Даже Лиза Угрюмова, не забывшая еще выговор по поводу слишком короткой юбки, дипломатично промолчала. Остальные черноглазые и сероглазые птицы взволнованно щебетали, выражая крайнюю степень возмущения.

— Ага! — торжествовала Васька. — Одна только подхалима и нашлась! То-то, девушки, я вас знаю: как до дела дойдет, вы не выдадите. Пора и нам взяться за ум, сказать в голос: не хотим Рудаковой, гоните ее к свиньям, а желаем мы жить по-человечески. Требуем к себе правильного отношения, требуем прибавки жалования и сокращения рабочего времени — это в первую очередь. А во вторую пойдут уже такие требования: не увольнять телефонисток за замужество — мы ведь тоже живые люди, а не ма-

шины; брать на службу новеньких не с кондачка и не по протекции, а осматривать так, чтоб они соответствовали с точки зрения профессионального отбора: не брать слабогрудых, нервных, с женскими болезнями; контроль поставить правильно — для нашей пользы и для пользы дела, а не для выслуги старших; дать нам возможность в перерыв отдыхать получше, брать ванну, заниматься спортом; чердак наш проклятый закрыть совсем; вентиляцию сделать получше, а то из аккумуляторной так порой и тянет в залы серной кислотой... Правильно я говорю?

— Правильно, правильно! — зазвенели вокруг возбужденные голоса.

— Да еще скажите им, чтоб окна почаще открывали! мы преем в духоте, а старшие простудиться боятся, — зашипела Шипучка издали.— Мне свежий воздух нужен, а таких, как я — сотни...

— Ничего не забудем, девушки! — с энтузиазмом восклицала Васька. — Только для того, чтобы нас услышали, надо провести забастовку: в самую горячую пору бросить работу и не становиться, пока не уважат. Согласны?

Щебетанье перешло в звонкий галочий галдеж: одни поддерживали Ваську, другие возражали. Но в это время появилась Легавина, шум утих, как по взмаху ястребиных крыл, и через миг загудели обычные разговоры — о фасонах, о флиртах, о семейных неурядицах...

VII

Как крошечное болотце рябью и зыбью отзывается на бурю, вздымающую гигантские валы в океане, так мирок телефонной станции по-своему отражал бушевавшую вокруг него революцию. Армия автоматических девушек странно пародировала черноземные армии, глухо клокотавшие в тылу и на фронте. С каждым днем усиливались столкновения между старшими и мюльтипльными, все чаще и чаще раздавались дерзости по адресу начальницы: давно нараставшее недовольство Рудаковой достигло своих пределов и ждало лишь толчка, чтобы разразиться ураганом. Но командирши не замечали или не желали замечать надвигающуюся грозу; наоборот, как мухи к осени, становились все прилипчивее и злее по мере того, как власть ускользала из их рук. Они верно предчувствовали гибель старого порядка, дававшего им огромные преимущества, и изо всех сил цеплялись за давно обреченные традиции станции.

Революция развеяла казарменный дух, принесла с собой на станцию много человечности. У телефонисток появился могучий защитник в лице рабочкома, и произволу старших был положен предел.

Брезжило ненастным светом, распыляло пульверизатором октябрьскую мглу утра катастрофического дня, когда пала, наконец, монархия Рудаковой. Мицкун, выйдя из ремонтного отдела, где получил бланки на текущий ремонт, похаживал взад и вперед под сводом ворот, кого-то поджидая. Мимо него торопливо бежали телефонистки, спеша на станцию: как мельничное колесо непрерывно вертелась стеклянная дверь под напором их

бесконечного потока, лившегося в каменную пасть восьмиэтажного здания.

На сердце Петруся было тревожно и хмуро: беспокоила собственная оторванность от станции именно в то время, когда она оставалась позорно безучастной к тому скрытому урагану, который неудержимо нарастал и креп на рабочих окраинах, в желтых котлах казарм, в лейденских банках заводов и фабрик. Петрусь уже ругал себя за то, что вернулся на линию: там и без него немало боевых ребят, а в коммутаторных залах на этот счет слабовато, здесь он был бы полезнее. К этим соображениям примешивалась безотчетная тоска по Настеньке: несмотря на все усилия воли, печальное женственное лицо ее неотступно стояло перед глазами, маня своей хрупкой нежностью. Мицкун с отвращением замечал, что он раскисает, «бабится»,— думает о ней не меньше, чем о насущных делах и надвигающейся борьбе. Самолюбие его было уязвлено, так как преубедить, обратить эту девчонку в свою веру ему не удалось: он мог произносить сколько угодно пылких речей, сколько угодно обзывать ее в глубине души овцой, дурочкой, барышней, — все его старания разбивались о враждебную презрительность к его «фантазиям», об узкую замкнутость в самой себе, которую Мицкун не мог назвать иначе, как мещанским эгоизмом.

Она показалась в воротах, и сердце его рванулось навстречу. Но, преодолев себя, Петрусь только вежливо приподнял фуражку и спросил:

— Как изволите поживать, Настасья Михайловна? Вы какая-то худенькая стали и бледная.

— Здравствуйте. Устаю очень, — равнодушно ответила она и прошла мимо, не задерживаясь. Острая обида шевельнулась у Петруся в душе, но он сдвинул фуражку на затылок и с деланной беспечностью засвистал «Чубарики-чубчики» в тон проходившему по улице взводу солдат.

— Гуляла-гуляла, Чубарики-чубчики, гуляла! — дружно гаркнули крепкие залихватские голоса, и в звуках удалой песни сразу утонула тоска Мицкуна. Васька-пулемет вкатилась в ворота, оглашая их своды взбудораженной скороговоркой:

— Сегодня голодом сидишь, завтра сидишь, — доколе же наше долготерпение в таком разе? К нам столько же отношения, как к заводным куклам: не кормят, не холят, только заставляют говорить «мама — папа», да руками дрыгать. Вот сколько лет на свете живу, нигде такой безответной рыбешки не видывала...

— А много лет уже прожила, Васенька? — ласково загородил ей дорогу Мицкун.

— Петрусь! — взвизгнула она не своим голосом. — Да как же я рада видеть тебя! Знаешь, мы нынче, кажется, Рудакову вывезем на тачке, будь покоен... Накипело!

И она так же стремительно ринулась в водоворот двери. Мицкун добродушно ухмыльнулся ей вслед и, бодро насвистывая «Чубарики», направился на улицу.

Васька верно учла настроение телефонисток. С утра в залах царило нервное волнение, вызванное переводом Настеньки в красную смену. В сто-

ловой, а чинной комнате отдыха, привыкшей к разговорам о рюшиках, прошивочках и пламенных взглядах, звучали мятежные речи: девушки требовали пощады Настеньке, желали во что бы то ни стало добиться ее прощения: уступка в этом случае грозила дурными последствиями. Такая расправа за ночные разговоры с абонентами могла войти в привычку у начальства, а это, разумеется, никого не устраивало: у многих Лизочек и Машенек были свои заветные номера, с которыми они перезванивались во время угрюмой и нудной «тоски телефонной». На кратком митинге под председательством Васьки-пулемета решено было воспользоваться первым удобным моментом, чтобы выразить свой протест.

Этот момент наступил после полудня, в самую горячую пору, когда десятками вспыхивают жемчужины на сигнальных щитах. Особенно резко звенели в этот полдень дрожащие от скрытого негодования девичьи голоса, в смутной тревоге рыскали по зале контрольные: новые грозные ноты звучали в привычной музыке горного потока, чего-то ждали напряженно-сухие, зловеще-сторожкие спины телефонисток, о чем-то непонятном перемигивались, как глянцеры, их мимолетные взгляды.

И вдруг в однообразный перезвон чисел, в рассыпчатую дробь штепселей ворвался, как сигнальная ракета, острый, болезненный, ошеломляющий вопль. Рядом с Настенькой сидела тщедушная Люба Кривцова, всегда напоминавшая Настеньке белого кролика своим робко с'еженным беспомощным тельцем, своими красноватыми, больными от пестроты мюльтиплей, глазами. Кролик работал суетливо, постоянно боялся опоздать или перепутать номера, вид имел забитый, полоумный и трепетный. Настенька знала его кроличью тайну: у кролика был «незаконный» детеныш, выношенный под страхом вылететь со службы, рожденный в удачную полосу летнего отпуска и вскормленный на рожке милосердной квартирной хозяйкой. Вечная боязнь доноса, разоблачения, потери заработка, вечная тревога за беспризорного младенца, разыгравшаяся после родов женская болезнь, которую не на что и некогда было лечить, — все это извело Любу до такой степени, что Настеньке порой страшно было смотреть на ее прозрачное, безжизненное личико. И теперь, когда кролик вскрикнул каким-то отчаянным нечеловечески-пронзительным голосом, Настенька решила, что она умирает.

В самом деле, уронив голову на плечо, искривив бледный рот в непонятной муке, закатив глаза, кролик медленно повалился на Настеньку. Та в ужасе вскочила, и Люба, тяжело шлепнувшись на ее стул, скатилась с него под мюльтипль, прикурнула там размякшим комочком, судорожно оскалив зубы, со свинцовыми тенями под белками полузакрытых глаз. Это ужасное лицо ударило Настеньку, как ножом, по сердцу: упав на колени возле Любы, она сорвала с головы шлем и закричала не своим голосом:

— Замучили! Убили! Девушки-и!

Ближайшие соседки тоже повскакали с мест. Вспыхнули рыданья, отчаянные вскрики. Легавина и другие контрольные бежали к упавшей со всех сторон: толкаясь и мешая друг другу, они дрожащими руками тормошили кролика, старались вытащить из-за стульев, в которых застряла Люба.

Глядя помутневшими глазами в их испуганные лица, Настенька тянула все ту же визгливую сверлящую ноту, будто силилась в этом крике вылить всю боль, всю муку, накипевшие в ее маленьком сердце. И в ответ на ее дикий вопль во всех концах залы гремел истерический хохот, бурлили и переливались прорвавшие плотину рыдания.

Рудакова, холодная и бесстрастная, как всегда, вызвонила фельдшера. Тот прибежал, запыхавшись, обиженными глазами осмотрел бездыханную Любу и определил глубокий обморок от электрического удара; когда с помертвевшей головы кролика сняли шлем, в ушной раковине его оказались чуть заметные красные точки, похожие на уколы.

— Вот так гвозДануло, — сказал фельдшер, сумрачно покачав головой. — Не иначе, как трамвайный провод сорвался и упал на телефонный. Вы, курочки, не клюхчите, мы это дело поправим...

Но «курочки» уже раскудахтались неудержимо: случай с кроликом ударил их всех по напряженным, как струны, нервам. Им казалось, что теперь каждую из них хватит такая контузия, хотя, по существу дела, катастрофы эти — чистая случайность. Они бывают во время грозы, когда молния, попав в телефонные провода, проскочит через предохранители, или, как в данном случае, когда телефонный провод соединится с другим, по которому течет ток высокого напряжения.

Кролика подхватили на руки сбежавшиеся монтеры и отнесли на фельдшерский пункт, а контрольные кинулись выводить из залы бившихся в истерике ее сослуживец. Но сделать этого не удалось, так как Васька-пулемет учла момент и решила им воспользоваться: она вихрем носилась по зале, вполголоса отдавая приказ бросить работу.

— Девушки, теперь или никогда! Забастовка! Пользуйтесь случаем! Зададим трезвон! Встать! Долой Рудакову! — слышались то там, то здесь ее порхающие возгласы.

Взбудораженные телефонистки откликались на призыв, и отовсюду летели ответные вопли:

— Замучили! Убивают! Забастовка!

Чтобы еще больше усилить хаос и сумятицу, Васька на лестнице подбежала к урне для мусора и кинула туда горящую спичку. Вонючий дым от тлеющей бумаги синей струйкой пополз по залам: и в спокойное время малейший запах гари вызывает общий ужас среди телефонисток, теперь же, при стоголосом реве, несущемся по гулкому огромному зданию, произошло нечто неописуемое. Кто-то метался вверх и вниз по лестницам, ревя во всю глотку: «Горим», кто-то вызванивал пожарную команду, инженеры бегали с бледными лицами, доискиваясь причины дыма. И вся эта картина обезумевших женщин среди стальных щитов, сверкавших пламенными жемчужинами, казалась инсценировкой новой, только что найденной главы дантова «Ада»!

А стены доподлинно горели: вызовы шли своим чередом, накоплялись, усеивали своими вспышками сигнальные щиты. Абоненты, не получая ответа со станции, сердились, стучали по рычагам аппаратов, отчего полу-

чалось взволнованное мигание лампочек. Через пять минут распределительные столы уже пылали великолепным фейерверком, вносившим еще большую сумятицу в ряды администрации: жизнь города была нарушена в самую горячую пору дня, поток разговоров оборван, мысли перерезаны, как артерии внезапным ножом убийцы. Город требовал, город вопил десятками тысяч огней, но сердце его, будто пораженное электрическим ударом, не отзывалось ни на какие мольбы и угрозы...

Рудакова, бледная, с обвисшими мешками под вытаращенными глазами, стояла у своего стола, осаждаемая со всех сторон яростными девицами. Старшие образовали вокруг нее гвардию, из последних сил отражая атаки мюльтипльных и «немых», доказавших на сей раз, что и они обладают довольно зычными голосами. Осыпаемая бранью, насмешками, жалобами, начальница только молча вздрагивала и потихоньку горбилась под их возрастающей тяжестью.

— Сатана! Пиявка! — вопили телефонистки. — Мало тебе нашего пота, так ты и душу высасываешь! Палач! Грымза! Долой, чтоб духа твоего здесь не было! Не станем на работу, пока не уберешься вон!

Сбежались инженеры, обнаружившие, наконец, источник дыма, пришел сам директор станции, суровый, бородатый патриарх, — единственный оставшийся спокойным в эти бурные минуты. Став подле Рудаковой, он могучим басом покрыл женские визги и мановением руки внес некоторое затишье в свой сорвавшийся с узды девичий питомник.

— Барышни, из-за чего переполох? — спросил он тем снисходительно-строгим тоном, каким говорят с нашалившими детьми.

— Уберите Рудакову! Гнать ее со станции! Она замучила нас! — понеслось в ответ.

— Мы не можем удалить лучшую работницу... — начал было он возражать, но снова налетел такой шквал, что даже его фундаментальная октава бесследно потонула в шуме.

— Жалования прибавить! — бомбардировала его Васька, прыгая, как на горячей плите. — Рабочий день сократить! Живоеды!

— Палачи-и! — выло вокруг. — Прочь Рудакову!

— Встать на работу! Город волнуется! — рявкнул старик багровея.

— Пусть его волнуется! Пусть знает, как нам живется! Долой Рудакову! Не встанем, пока не уберете! Жалования прибавить!

— Вера Никитишина, вам придется уйти, — беспомощно развел руками патриарх. — Вы видите, что творится. В городе тревога.

— Боже мой! — истерично вздохнула Рудакова, роняя голову на грудь. — Всю жизнь... все силы положить на эту станцию... и уйти! С таким позором!

— Отрекались не раз и от престола, вспомните! — шепнул старик, сочувственно сжимая ей локоть и многозначительно подняв перст.

Она гордо вскинула седеющую голову, процедила сквозь зубы: — подлое отродье! — и быстрыми, четкими шагами ринулась сквозь толпу прямо к выходу, глядя перед собой совсем бледными, выцветшими глазами.

— А теперь, барышни, марш по местам! — свирепо скомандовал патриарх.— Уволим каждую десятую, если через минуту не начнется работа.

Оленька-мухомор и Лиза Угрюмова подали первый пример остальным. Сознание победы мигом пробудило в девицах истерическую радость: под'ем ненависти и гнева схлынул. Напрасно ругалась Васька, упрекая подруг в малодушии: — Эх, кисельные души, могли бы и прибавки добиться! Подстрекательство ее не находило уже отклика: нервное возбуждение мало-помалу улеглось, девушки почили на лаврах, т. е. через минуту снова замелькали их напряженно-быстрые руки, снова полился однообразный поток цифр в рупоры разговорных трубок. Правда, сперва все болтали друг с другом, обменивались счастливыми улыбками: ликующее слово «победа» носилось по залам. Через полчаса, однако, работа уже снова засосала их в свою вязкую паутину, и все пошло обычным порядком.

Настенька не видела результатов забастовки: ее в истерике вывели на фельдшерский пункт. Она лежала на койке и с ужасом наблюдала за тем, как возился доктор над контуженным «кроликом»: обморок у Любы прошел, но бедняжка судорожно плакала, билась в судоргах, у нее из носу текла кровь. Она походила на помешанную.

— Что ж это, доктор! — с отчаянием лепетала Настенька. — Ведь этак каждую из нас может хватить!

— Ну, ну, без глупостей, — ворчал тот, мотая головой. Это не так часто случается: ведь и под трамвай угодить можно, однако же ездят. Да и не всегда бывают такие сильные последствия: уж очень она дохленькая и нервная. Другие в тот же день садятся снова работать, ну, а этой, конечно, придется повозиться; бывает и так, что и со станции уходят,— как кому повезет.

— А потом что же с ухом?

— Иной раз — ничего, а иногда — воспаление. Может нервами расхвораться...

— Бедненькая! — всхлипнула Настенька. — Ей так тяжело живется а тут еще и это... Она ведь совсем погибнет.

— Я знаю, — тихо кивнул головой доктор. — У нее ребенок.

Настеньке перехватило дыхание. Она приподнялась на подушке и . ужасом воззрилась на него.

— Вы... знаете? Ради бога, не выдавайте ее Рудаковой.

— Ну вот еще, — усмехнулся он. — Глупенькие вы девушки, себя только мучаете.

— Ох, какие мы несчастные! — вырвалось у Настеньки. — Не мы себя мучаем, нас здесь совсем загоняли. Зачем, зачем нам запрещают выходить замуж? Нам так тяжело, так трудно быть всегда одной.

Доктор махнул рукой.

— Не будет вам лучше от замужества. При вашей работе, золотце, свадьба вам только на горе. Недаром здесь не держат семейных, поверьте. Сколько ни делали опытов, на поверку выходит, что все замужние телефо-

нистки нервнобольные и хворают женскими болезнями. Что же вас зря калечить? Уж вы устраивайтесь так, чтобы муж вас брал со станции.

— Не легко это сделать, — вздохнула Настенька.

— Знаю, что не легко. А вот, золотце, помяните мое слово: революция много перемен принесет, скоро вас в девичестве не удержишь.

Доктор не ошибался: революция в самом деле сняла с телефонисток мучительный обет безбрачия.

«Кролик» лежал с запрокинутой головой, дрожал мелкой дрожью истерзанного животного. Доктор смотрел на обеих, потупившись как буйвол, и что-то виноватое, сконфуженное было в его грузном теле, облеченном в белые ризы халата, в волосатых руках, смирно глядевших из засученных рукавов.

— Не тужите, деточка, — буркнул он, наконец. — За границей уже придумали автоматические станции: скоро ваш каторжный труд совсем упразднят — заменит вас настоящая неживая машина.

— А мы тогда куда денемся? — растерянно спросила Настенька. — Тут уж нам совсем крышка! У меня вот семья большая, чем я ее прокормлю?

— Ну, улита едет, когда-то будет! — усмехнулся мрачный буйвол. — До той поры, бог даст, замуж выскочите.

— Доктор, милый, похлопочите, чтобы меня вернули в черную смену! Меня Рудакова в красную упекла. Не могу я торчать целый день на станции — дома детей куча, мать чахоточная...

— Так вы вслед за ней собираетесь? Не стану хлопотать, и не просите: вон вы какая слабогрудая, а в черной смене гораздо больше туберкулезных. Не повредит вам трехчасовой перерыв, — заворчал он желчно.

— Ах, не до здоровья мне теперь, — окончательно расплакалась Настенька.

Но в эту минуту вошел веселый, довольный фельдшер и об'явил, что забастовка кончилась благополучно:

— Прогнали Рудакову, одержали победу! Дыму, крику что было — не приведи ты господи!

— Правда?! Прогнали?! — вспыхнув от счастья, вскричала Настенька и живчиком вскочила с койки. — Значит меня теперь уж не тронут?

— Ишь ведь и слезы разом высохли и брому теперь ей не надо, — махнул рукой доктор. — Ну, поздравляю, поздравляю! Наживайте себе с богом туберкулез; только меня уж впредь не вините!..

И вправду, силы, как по волшебству, вернулись к Настеньке. Она, не дослушав угрюмого карканья доктора, помчалась в гостиную, чтобы узнать подробности переворота. Но на лестнице ее перехватил Мицкун, беседовавший с Васькой-пулеметом. Петрусь весь сиял вдохновением и радостью, он лет на пять помолодел и, захлебываясь от волнения, делился своими впечатлениями:

— Говорил я вам, если дружно взяться, так всего можно добиться. Молодец ты, Васенька, как быстро сварганила! В городе переполох — про-

сто страсть! Думают, уж не большевики ли взялись за винтовки. Я звонил, звонил в бюро повреждений сдать наряд, едва дозвонился, а мне рассказывают... Стаечка, вы видите теперь, за кем сила? — обратился он к Настеньке. — Неужто вас это еще не убедило? Вот как надо бороться, тогда только и добьешься своего права.

— Я так рада, так рада, что Рудакову прогнали! — прыгала Настенька, как малиновка. — Ведь она меня совсем было заела. А в самом деле, как хорошо, когда сила, когда все вместе...

— Видите! Айда с нами в чайную! Авось вы там раскумекаете, чем дело пахнет. Согласны?

— Конечно, конечно! Мне теперь все равно, я так счастлива. Неужто и вправду новая жизнь идет?

Настенька трепетала в порыве непривычного энтузиазма, и глаза ее отражали лазурные моря, озаренные солнцем...

VIII

В узкой и кривой улице, неподалеку от телефонной станции, приютилась чайная Гаврилы Акимыча Пузанкова: просторное помещение из двух комнат, с полузасохшими гераньками на подоконниках, со стенными олеографиями, на которых изображались мертвые зайцы и рябчики, с половыми в белых подрясниках, с самим Гаврилой Акимычем за стойкой — плутоватым хитрым человечком, вечно подмигивавшим уголком левого глаза. Здесь всегда по утрам и в обед собирались монтеры, получившие задания из ремонтного отдела, закусывали и грелись чаем перед тем, как итти на работы.

— Ребята, гляди, Мицкун отыскался! — крикнул кто-то в сизом сумраке чайной, когда его крепкая фигура выросла на пороге, впустив в распахнутую дверь молочную мглу ненастного сентябрьского утра. — Да еще и с бланками в руках — ни дать, ни взять заправский линейный.

— Да еще с барышнями под ручку,— добавил другой голос ехидно.

Все разговоры сразу оборвались, из-за столов обернулись на Мицкуна головы: несомненно, он произвел сенсацию.

— Эге-ге! — проблеял Чередушкин, усатый карапуз с кирпично-красным лицом и влажными, ласковыми глазами ловеласа. — Да никак нашего Петруся взашей прогнали со станции?

— Неужто набуянил? — широко ухмыляясь спрашивали вокруг, когда Мицкун, кивая головой направо и налево, пробирался к свободному столику. — Этак слететь — из станционных обратно в линейные! Ну-ну!

Мицкун молча усадил Настеньку и Ваську, уселся сам и шлепнул перед собой кучу бланков, полученных им из ремонтного отдела.

— Сам я ушел оттуда, никто меня силком не тащил, — об'яснил он, наконец, столпившимся возле него монтерам. — Разве живая душа высидит в этом монастыре? Вот барышни вам сумеют об'яснить. На линии куда

вольготнее: у них там день-деньской не с кем перемолвиться, а механики тамошние, сами знаете, в кадеты глядят.

— Ну, уж это ты оставь, Петрусь, — вступился один из аппаратных.— На станции много наших ребят, что ты их, не видал, что ли?

— Эсеры, чортовы куклы, — махнул рукой Мицкун. — Под Керенского дуют, от одних слов «власть советам» лезут под коммутатор! Откуда им нашего духу набраться? Это мы шатаемся по городу, всяких людей встречаем, а они?

— Врет он, идеи разводит! — заблеял Чередушкин. — Ты уж, Пётра, не заливай: просто тебя на чаевые потянуло, вот и вернулся на линию.— Сознавайся, Мицкун, жениться затеял, вот по нашим заработкам и встосковался. На станции, небось, абонентов стричь не приходится,— подмигнул он лукаво в сторону аппаратных.

Васька фыркнула и лукаво взглянула на Настеньку. Та вспыхнула и закусила губу, украдкой поглядывая на Мицкуна: а все же хорош он со своим твердым, словно, чеканным из желтой меди лицом, быстрый, крепкий, главное — живой, осязаемый, близкий, — не то, что таинственный музыкант в неведомой дали города. Но так нестерпимо жаль расставаться с мечтой, менять ее на суровую и страшную реальность борьбы...

— Помалкивай, сами вы стригуны! — отвечали Чередушкину аппаратные. — У нас дело чистое, проводов не обрываем. Всем известно: линейные — самые щуки для абонентов...

— На то и щука в море, чтобы карась не дремал, — хохотали линейные.— А кто заместо нас при починке на чай берет? Мы пока возимся на стойке, а аппаратный, глядишь, уж и в квартире: винтик отвинтит, трубку повертит, и готово, — аппарат исправлен, на чаек с вашей милости! А кто на праздник барина ходит поздравлять? Понятно не линейный — барин его и не видит никогда!

— Уж известное дело — святые работнички! — огрызались аппаратные. — Полдня портит линию, во вторую половину ремонтирует: шей да пори — не будет худой поры!

Мицкун сидел, разбирая бланки. Он сопел и сердито отхлебывал горячий чай из стакана: все эти разговоры давно ему прискучили и были не по душе. Дождавшись минутного затишья, он заявил угрюмо:

— Все вы — буржуйские подлипалы, вот что! Дайте срок — мы это все упраздним. Скоро не с кого будет получать чаевые: всех работать поставим. Нет на вас рабочего контроля, черти! Заместо того, чтобы бороться за свои права, требовать прибавки, гнать к индюшкам жуликов, что у нас на шее сидят, бастовать, как бастуют рабочие — вы, что делаете? Фабрикантские пороги околачиваете, клянчите у господ чаевые! Теперь время такое — скоро за винтовки возьмемся, кто пошустрее. — Так смотрите, братцы, как бы нам не прозевать, не остаться в барских передних!..

— Ишь, больно фасон держит!—подмигнул Чередушкин.—Ты что ж это, заместо Керенского захотел в главноуговаривающие? Видали мы, как вашего брата взгрели в июле: аль мало вам шею намяли, опять просишься?

— Молчи, баран, — загалдели вокруг. — Мицкун дело говорит! Знай своих баб, а в серьезные разговоры не суйся, коли не вышел умом!

— Я-то умом не вышел? — обиделся Чередушкин. — Как же, хватит ума распознать немецкие штуки: вашего Ленина Вильгельм прислал Россию губить изнутри. А вы, как ребята малые, — «права, советы, долой Учредительное собрание!» Немца себе на шею вздумали посадить!

— Братцы, Чередушкин воюет до победного конца! — крикнул кто-то, и хохот заглушил негодующую речь. Мицкун поднял руку, прося тишины.

— Э, товарищи, я пришел сюда не для веселых разговоров, а вот зачем: скоро порохом завоняет, помяните мое слово: фабриканты и Временное правительство власти своей даром не отдадут. Так вот, братцы, смотрите, чтоб нам во время драки не остаться ни в тех, ни в сех. Наша станция — всему городу сердце, плохо будет, если она окажется в руках врагов. А это легко может статься, у нас там все воюют до победного конца: два-три монтера, да полдесятка телефонисток — вот и все наши. Союз работников станции эсеровский, союз служащих вовсе глядит не на нас. Остается у нас один только наш союз рабочих. Надо бы нам в правление большевиков посадить, чтобы в случае чего быть наготове.

— К чорту большевиков! Долой захватчиков! — заорал кто-то из аппаратных, и сразу поднялся такой крик и шум, что отдельные голоса потонули в этом кипящем море страстей: все спорили друг с другом, размахивали руками, шлепали фуражками об стол, лезли чуть не в драку. Гаврила Акимыч, не охотник до политических споров, прибег к излюбленному им способу водворения спокойствия: обычно по его приказу половые распахивали дверь на улицу, и студеный ветер, ворвавшись в чайную, мало-помалу охлаждал разгоряченные головы.

Но на сей раз вышло не так: со струей ледяного вихря влетел, расталкивая половых, знакомый нам саженный детина в шинели. Настенька глядела на вошедшего, беспомощно приоткрыв детские губы, и изумление, смешанное со страхом, светилось в ее глазах. Но линейные встретили детину приветственным ревом. В особенности обрадовался его появлению Мицкун: он бросился ему навстречу и крепко встряхнул руку.

— Буря! — воскликнул он. — Давненько мы с тобой не видались. Что нового? Присаживайся к нам, рассказывай... Это — Буря, фронтовик, — пояснил он барышням. — Золотой человек, пропаганду ведет в казармах. Ну, как солдаты, Буря?

Буря шумно всхлипнул носом и прорычал так, что под ним горестно затрещал стул:

— Юнкера готовятся, оружие свозят, отымают у нас. Ну, да не поможет: силой задавим!

Снова разом вспыхнул шум и гвалт. Аппаратные лезли на Бурю с кулаками, линейные защищали его. В воздухе висела густая изысканная брань. Мицкун усмехался, глядя на побагровевшего, готового лопнуть, Чередушкина.

— Разговорчики у нас больно любят, вот что, — заметил он Ваське.— Аппаратные возле буржуев понатерлись, ну и галдят.

— Смирно! — рявкнул Буря, сразу обрубив общий вой. — Ишь, разботвились! А знаете ли вы, что Ленин намедни письмо прислал: пора, мол, товарищи, за дело браться, будя языком зря молоть. Штыком настало время работать. Ежели Керенский не сдастся, мы его раздавим, как вошь. Власть советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным! Ждать — преступление перед революцией. Вот, что пишет Ильич... А я вам больше скажу: уже начинается! Ни к чорту командный состав не годится, все поползло у них как дерьмо! Ежели сжать кулак да хрястнуть по морде, — всех к чортовой матери разнесем!

У Настеньки шумело в ушах, голова кружилась от табачного дыма.

— Слушай, я уйду, — слабо шепнула она Ваське. — Я совсем больна.

— Мицкун, струсила наша Стаечка, — дернула за рукав монтера Васька-пулемет. — Мицкун обернулся к Настеньке и с горькой укоризной заглянул ей в глаза.

— Не на много хватило вас, вижу я. О Ленине речь идет, о восстании... о жизни новой, — а вы...

— Мне плохо, Петрусь, — жалобно ответила она. — Со мной днем было дурно, а здесь такой дым... и такие ужасы говорят.

— Идите, бог с вами, — махнул он рукой безнадежно.

— А я останусь, — ей-богу, занятные разговоры! — заявил «Пулемет» с азартом...

Через минуту Настенька снова была на воздухе. В висках билась волна прилившей крови, в душе царила беспомощная растерянность. Она испытывала такое чувство, будто внезапно очутилась под нависшим над ее головой обвалом; мгновенный энтузиазм, охвативший ее при известии о победе над Рудаковой, прошел бесследно, холод пахнул в сердце от слов Бури; она предчувствовала катастрофу, которая неминуемо разразится над ее жизнью, если победит эта чуждая ей, жуткая, непонятная в своих замыслах, клокочущая сила. Ясно-ясно представилось, как Буря ворвется в полутемный торжественный кабинет ее музыканта, где все приспособлено к его «утонченному» вкусу, к его «благоуханной» культуре.

— Скорей к телефону, — мелькнуло у нее в голове, — авось, наконец, неведомый ее милый сжалится и назначит свидание. Она скажет ему, что не в силах больше выносить эту муку одиночества, эти дразнящие и лгущие мечты!.. И Настенька кинулась через улицу навстречу пылающим огням в окнах аптеки, чтобы позвонить оттуда по номеру 2-20-41.

«Рдяные пазори»

(ИЗ ТУРУХАНСКИХ БЫЛЕЙ)

Дэли

I

В Осиновке выли собаки. Протяжный их стон плыл над увязшими в сугробах избушками, зыбкой струей вливался в тишину полярной ночи и пропадал далеко в бескрайней снеговой пустыне. И новый стон, такой же унылый и жуткий, возникал из тьмы, взмывал над затихшим селом, медленно тянулся во след первому и угасал где-то в тундре, в ее ледяных тисках. Никуда не уйдешь, никуда не скроешься от этого стона. В нем—тоска замученной морозами земли, тоска бесплодной пустыни о радостном тепле, о животворящем солнце.

— Каждую ночь они... Так бы и придушил проклятых всех до одной. Громов швырнул книгу так, что она перелетела через стол и ударилась о стену. На его хмуром лице дернулась болезненная гримаса, похожая на судорогу.

— Придушишь, на чем ездить будешь?—усмехнулся Джафар. Он кончил точить свой охотничий нож. Любовно потрогал и спрятал за пояс.

Громов посмотрел на Джафара с невольной завистью:

— Какой ты... цепкий, Джафар: ничто тебя не берет. Вот даже лицо у тебя: мы все серо-зеленые, как покойники, а у тебя загар все еще не сошел. Сорокаградусные морозы его не берут.

— Крепкий, значит!—сказал Джафар и подкинул дров в железную печку. Пламя метнулось кверху. Его тревожные блики перебежали по бревенчатым стенам, розово-зелеными отсветами озарили ледяные узоры маленького окна.

— Это они на свою горькую долю жалуются, о солнце тоскуют...—задумчиво молвил Семенов. На его двадцатилетнем лице пролегла темная тень — печать пережитого, но глаза были горячие, южные, еще полные жизни.

— Кто они? Кто жалуется? — будто очнулся Громов. Он сидел весь какой-то сжавшийся, углубленный, будто ушел далеко тяжелыми думами.

— Собаки. Что ты сегодня какой-то, не в себе?.. озабоченно сказал Семенов.

— Вести плохие... с родины. Громов понизил голос:— Джафар, выглянь-ко — у тебя глаза острые: не шляется ли кто под окном?

Джафар вышел. Через минуту вернулся. Клубы морозного пара, перегоняя его, ворвались в избу.

— Нет никого... Он обмел снег с унтов[1] и подсел к столу слушать.

— Так вот, начал Громов — из Армавира мне пишет товарищ: опять там публика наша села. Эпидемия прямо. И опять выдает негодяй какой-то. Жандармы хватают направо и налево, как по указке.

— Может, и не один выдает-то? сказал Семенов.

— Может, и не один...— хмуро согласился Громов.—Много там шпаны всякой набралось, удалых, добрых молодцов. Погуляли. Потешились. А как пришлю, в петлю-то лезть не охота.

— Шкуру свою спасают, значит, — подтвердил Джафар.

— Да...—Лицо Громова опять перекосилось нервной гримасой. — И выходит, товарищи, мне в ближайшей перспективе — петля.

— Ну? — с сочувственным уважением сказал Джафар.

— Ведь меня многие там знали,—продолжал Громов,—когда я учительствовал и работу революционную вел. Конспираторы-то мы, надо нам отдать справедливость, — липовые... Теперь и не знаешь, от чьей болтовни смерти ждать. Дело — табак.

В избе стало тихо. Собачий вой вдруг оборвался и замолк. Только за окном что-то осторожно потрескивало: то ли мороз ходит дозором по ледяной тюрьме: заколачивает решетки, то ли стражник.

— Бежать надо! — страстным шопотом сказал Джафар.

— Куда? — Громов безнадежно махнул рукой. — В Ворогове казачий кордон: путь до Енисейска не пробьешь. А в тундру на север — замерзнешь. Только всего.

— Ну и что-ж?—Черные глаза Джафара загорелись.—Лучше в стычке с казаками погибнуть, чем в петле.

— Я вам еще не говорил, товарищи?—тени на молодом лице Семенова стали глубже: — по мне тоже виселица плачет: делишки такие за мной водятся. Так и жду со дня на день: казак из Туруханска с бумагой: Семенова арестовать и под усиленным конвоем доставить... А там известно: суд правый и милостивый.

— Чего ж тут думать? Не понимаю. — Джафар заходил по избе:— Бежать. Ясно.

— А как товарищи поддержат? — раздумчиво сказал Громов.

— Неужто нет?— удивился Семенов.

— Плохи ж тогда будут ваши товарищи...— насмешливо протянул Джафар: — а еще политики... идейные.

— Я не уверен...— точно сам себе тихо сказал Громов. И, вспомнив что-то: — с Домаховским надо поговорить — это человек подходящий.

---

[1] Унты — сапоги из оленьих шкур.

— Поговори, — сказал Семенов: — сейчас, товарищи...— он хитро подмигнул и сунулся в угол за ящик с картошкой.

— Неужто опять? удивился Громов.

— Вот именно! — и Семенов торжествевнно выставил на стол бутылку:— спирт чистый!

— Откуда ты берешь? — Громов посмотрел спирт на свет.

— Наша фирма своих секретов не выдает... да-с...— Семенов состроил озорную рожу.

— А деньги где берешь? — поинтересовался Джафар.

— Деньги отец присылает. — Семенов достал с полки три чашки. — А закуски-то и нет! — грустно протянул он.

— А это мы сейчас! — Джафар разгреб золу в печурке:— Давай сюда сибирские яблоки.

— Правильно!

Семенов, как молодой козел, подпрыгнул к ящику в углу.

— Получай яблочки. — Он высыпал перед Джафаром десяток картошек и, обращаясь к Громову:

— А ты не хмурься на меня, Громушка: тоска... Не своими же руками петлю затягивать. Пусть другие позаботятся. А пока...— и он запел сильным красивым голосом:

— «Не осенний мелкий дождичек
брызжет, брызжет сквозь туман...»

— «Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан...» — подхватили Громов и Джафар.

В стекло что-то резко стукнуло.

Певцы испуганно переглянулись.

Стук повторился. Потом заколотили в дверь.

Джафар подошел к двери.

— Чего надо?

— Не орать! Запрещается! — послышался хриплый голос снаружи.

— Значит он шляется...— растерянным шопотом сказал Громов,— а ты говорил: нет никого.

— Тогда не было... — также шопотом ответил Джафар.

II

Разговор Громова с Домаховским вышел коротким.

Домаховский деловито выслушал предложение товарища. Его темное обмороженное лицо оживилось. Притушенные глаза посветлели, точно Громов своими словами смахнул с них пыль.

— Я только этой мыслью и живу,—сказал взволнованно:—ты знаешь... после моего неудачного побега. И еще — у меня есть ребята... Их не сразу... Ты говоришь, петля в перспективе. Да и помимо этого: разве мыслимо так жить?.. Что может быть хуже — бесконечное, бессрочное бездействие... И силы есть и способности. А возможности употребить их в дело нет. Гниешь

заживо...— Домаховский заходил по комнате. Потом остановился перед Громовым.— Я берусь за это дело. Произведу разведки среди окрестных крестьян. Налажу связи. Опыт у меня уже есть, хоть и неудачный...

Его оживление передалось Громову.

— Значит, решено! — сказал он: — будем действовать.

— Будем. И немедленно. Да вот! — Домаховский опять потемнел,— две новости: в Туруханске Шиткова кончила самоубийством.

— Почему? — Громов вспомнил молодую, полную жизни, Шиткову.

— С голодухи, повидимому. Она лишенка... Значит, и пятнадцати рублей административных не было. А может, тоска загрызла...—Они посмотрели друг на друга, и обоим стало жутко.

— Может, этак проще всего...— вползла в голову Громова холодная мысль.

— Посидим здесь немного: до того же дойдем...— сказал Домаховский.

— А другая новость?— пытаясь встряхнуться, спросил Громов.

— Другая — Вася Иванов на дочке купца Пружечка женился...

— Ну? На таком-то чучеле огородном! А этот почему?

— Этот определенно с голодухи... Будет теперь вместе с тестюшкой самоедов да остяков грабить. А потом сопьется с кругу.

— Н-да...—хмуро протянул Громов:—пропал парень! И другим голосом: — Значит, организуй, живо!..

— Да, уж времени терять не стану.

III

Домаховский и Семенов обрядились в сакуи и лунтаи [1]. Заложили легкую нарту [2]. Собаки застоялись и с места взяли во-всю. Выехали за околицу и понеслись по белому простору. Было близко к полудню. Занималась заря. Нарта летела к алому свету, который ширился и разгорался. Чистый морозный воздух, бешеный бег возбуждали животных и людей.

Домаховский поднялся во весь рост, гикнул во всю мочь расширенных легких. Ему в ответ удивленно и радостно ахнула снежная пустыня. Собаки вытянули носы и помчались вихрем. Ледяной воздух со свистом рвался навстречу, острыми взмахами хлестал в лицо. Снег из-под полозьев вздымался серебряной пылью. Как душегубка на волнах, ныряла легкая нарта в сугробах.

— Стой! — Семенов дернул Домаховского за край сакуя: — Мы ведь без дороги...

— А? Что?— Домаховский точно проснулся и огляделся. — И правда... Куда ж они? — язви их... Стоп!— заорал на собак. Но им было не до того. Они как обезумевшие летели через сугробы. Нарта прыгала и качалась как пьяная.

---

[1] Сакуй — комбинированная меховая одежда, включая чулки и колпак (капюшон), лунтаи—меховая обувь.

[2] Нарта — полярные сани, легкие и длинные, для езды на оленях или собаках.

— Вывалят, ей богу, вывалят! — Семенов в веселом испуге уцепился за края нарты.

— Стоп! черти,— опять крикнул Домаховский и схватился за остол [1]. Вставил его между полозьями. Нарта затормозилась, и оба путешественника, резко ткнувшись вперед, полетели в снег.

— Ах, ты, чтоб вас язвило! — выругались они и расхохотались.

От собак шел пар. Они растерянно озирались и обиженно повизгивали.

— Чего они взбеленились? — спросил Семенов. Вместе с товарищем он начал выправлять нарту.

— Догоняли кого-нибудь впереди... оленя, может...

— Да нет никого.

— Ну, они учуют носами лучше, чем мы своими глазами увидим. — Домаховский озабоченно огляделся: — Где дорога-то?

— А вот! — показал Семенов вправо в слепящую белизну снегов, — там, не иначе...

Собаки, точно чувствуя свою вину, вдруг стали послушными и спокойными...

В сумерки приехали на заимку. Старым грибом-мухомором стояла изба, приземистая и широкая, около нее, нелепо оттопырившись в сторону, точно перебитое крыло большой птицы, расползся крытый двор. Сразу от стен избы начиналась белая пустыня. И было странно: зачем попала сюда, в безлюдную, мертвую тундру, эта одинокая крестьянская изба.

Гостей встретил разноголосый озлобленный лай. Потом навстречу выбежал хозяин-чалдон [2].

— Вот,— сказал Домаховский, здороваясь: — товарища своего привез. Недавно он здесь. Тоскует.

— Так! — сказал чалдон и расправил пышную рыжую бороду:— не по сердцу, значит, наш край? — Он внимательно осмотрел Семенова лисьими глазами.— И то сказать: про Туруханку сам чорт забыл, не только леший.

В избе было жарко: до красна накалили железную печурку.

— Да вы разоболокайтесь, — приглашала хозяйка, шустрая бабенка, круглая и румяная, как сыр-красноголовик.

На столе появились шанги [3], нельма, таймень [4], хозяин притащил бутылку спирта.

— Не желается ли с устатку?

Явился и чай с сахаром и вареньем из морошки.

— Получайте! Слаще употребляйте!—угощал хозяин, пододвигая к гостям еду.

Хозяйка не села за стол и скоро вышла.

— К скотине она, — об'яснил хозяин.

---

[1] Остол — в роде палки для затормаживания нарт при остановке.
[2] Чалдон — сибирский крестьянин - сторожил.
[3] Шанги — сибирское печенье в роде ватрушек.
[4] Нельма и таймень — рыба, водящаяся в сибирских реках.

— А мы по делу к тебе, Иван Петрович, — начал Домаховский: — провианту надо нам заготовить на дальнюю дорогу, да чтоб шито-крыто все... Понял?

— А что? Или? — лукаво усмехнулся чалдон.

— Да ты не расспрашивай. Знай, делай.

— Оно, конечно... — опять усмехнулся Иван Петрович. — Да что ж я...— спохватился вдруг и выскочил в дверь. Через минуту явился с мешочком и развязал над столом: из мешочка посыпались белые круглые камешки.

— Что это? — заинтересовался Семенов.

— Аль не узнали? Пельмени. У меня хозяйка их мешок агромадный наморозила — надолго хватит! — и он поставил на огонь котелок с водой.— Моментом оборудуем.

— Ну, а на счет дела-то нашего ты, что ж? Отлыниваешь? — насупился Домаховский.

Чалдон скосил глаза и начал с интересом рассматривать свою бороду.

— Этта ты больно быстро...

— Мы заплатим, сколько причитаться будет, — сказал Семенов.

Чалдон сразу оживился.

— Давайте толком обмозгуем. Я хорошим людям всегда готов.—Он деловито уселся за стол.

— Первое, конечно, ржаных сухарей.

— И все это у тебя будет храниться до поры до времени,—сказал Домаховский, — в село и показывать не надо.

— Понятно! — сказал чалдон и озабоченно собрал бороду в кулак: — вторым делом — махорки...

Вошла хозяйка. Завертелась около печки. Пельмени в котелке весело забулькали. Хозяин розлил по чашкам спирт.

... Приятели вернулись в Осиновку глубокой ночью. Все село спало. Стражник тоже спал. Только собаки приветствовали их дружным воем.

— Чтоб вас леший задрал! — ответил на приветствие Домаховский — сразу все настроение испортили.

— Которое спиртом нагнал? — засмеялся Семенов: — а мы все-таки удачно, — добавил он: — теперь за оружием дело.

— Оборудуем!—весело ответил Домаховский:—уж ежели я возьмусь... И начал выпрягать собак.

IV

Громов проснулся от крика на улице. Прислушался. За окном пьяные люди что-то орали, ругались. Потом он разобрал трезвый раздраженный голос:

— Какого лешего! Налакались спирту, вам сам чорт не брат. А мы перемерзли в конец, замучились. Требуем отдыха. В любую избу стучи. Не желаем дальше, и баста!

Проснулись Семенов и Джафар.

— Это наших товарищей... ей богу... — сказал Семенов.

А Джафар сразу кинулся к двери. Остальные за ним. Ночь была светлая. Луна в серебряной морозной дымке стояла высоко над равниной. Село спало. И только собаки, перепуганные непонятным шумом, заливались диким лаем. Перед домом ссыльные увидели шестерых вооруженных казаков и среди них двух арестованных. Тут же стояли сани, запряженные понурыми мохнатыми лошадьми. Оба возницы сидели на передках, не обращая ни малейшего внимания на своих пассажиров. Увидев вышедших из избы людей, они, видиом, решили, что вопрос выяснился, и повернули лошадей к околице.

— Надо их к нам... тихо сказал Джафар. — А там видно будет. За Домаховским я... а вы здесь...

Семенов сделал любезное лицо и подошел к старшему конвоиру: — Господин есаул!

Казак подбоченился, очень довольный, что его произвели в такой высокий чин и оправил папаху. От него так и разило винным перегаром.

— Мы, местные граждане, — почтительно продолжал Семенов: — приглашаем вас отдохнуть в нашей избе. Арестанты нам не помешают: места для них хватит.

— Выпивка и закуска найдутся! — вставил Громов.

Последнее сообщение подействовало на старшего.

— И то дело! — сказал он весело: — Нефедов, Тюриков, загоняй арестантов!

Но арестанты не дали Тюрикову и Нефедову обеспокоиться: они первыми вошли в дом.

— Мы — Лехин и Повинер, — шепнул один из них Громову: — по делу экспроприации фирмы Гошет. Я вас встречал где-то?

— В Красноярской тюрьме, — шепотом ответил Громов.

— Усаживайтесь, гости дорогие! — любезно хлопотал Семенов перед казаками.

А Громов уже разливал спирт. Казаки уселись, не раздеваясь, и поставили меж колен винтовки.

— Вы не того! Помаленьку! — предупредил старший, указывая на спирт.

— Так точно! — весело ответили Нефедов и Тюриков, размещаясь на лавке около старшего.

Арестованные скромно приткнулись в уголке. На них хозяева, видимо, не обращали внимания. Только на мгновение Громов, будто разыскивая что-то, задержался около Лехина и вопросительно посмотрел долгим взглядом.

— Напоите их... — шепотом ответил Лехин.

Это оказалось очень легким делом. Бутылка спирта была опорожнена моментально. Семенов куда-то сбегал, и на столе появились еще две бутылки и закуска. Казаков совсем развезло. Один свалился под стол и захрапел. Другие клевали носами, бессмысленно таращили глаза. И только старший храбрился: бросал вокруг строгие взгляды и поправлял с'езжавшую на глаза папаху. Семенов и Громов занимали его разговорами:

— Трудная у вас служба, господин есаул: ни днем, ни ночью покоя нет.

— Правильно! — соглашался старший: — собачья служба, чтоб ее...

— Да вы выпейте еще чашечку! — угощал Громов: — с морозу оно здорово.

— А вы кто же будете?— оглядывая избу, поинтересовался старший. Опорожнил чашечку и закусил нельмой.

Один из конвоиров загреб винтовку и поспешно зашагал к двери. Но не успел: на пороге его начало рвать. Дверь приоткрылась. Кто-то осторожно потянул казака в сени. А Громов любезно об'яснял старшему:

— Купцы мы. Меха скупаем...

— Тунгусничаете [1], значит? — усмехнулся старший.

— Есть грех...— делая чуть смущенное лицо, согласился Громов. — Это вот племянник мой. К делу привыкает. Хороший помощник мне... — указал на Семенова.

— Заботливый молодой человек! — одобрил казак: — а почему так бедно живете?

В сенях что-то закряхтело и грохнуло. Рука Громова с чашкой спирта чуть дрогнула:

— Ну, батенька, — отвечал спокойно: — здесь с умом надо... Он чокнулся с казаком: — Начнешь капитал обнаруживать, добра не жди. Сами знаете: народ кругом аховый — уголовщина, одно слово.

— И то...— согласился старший: — Ты куда? — обратился он к Нефедову и рыгнул.

Задевая непослушными ногами за стол и лавку, казак встал и продвигался к двери:

— До ветру...— ответил тяжелым языком.

— Проводи! — приказал Громов Семенову. — Кушайте еще! Не обессудьте! — ласково упрашивал он старшего. — Тот опрокинул чашку в рот и покачнулся. Потянулся за закуской — рука не слушалась. За дверью послышался оборванный крик: как-будто человеку заткнули рот. Потом шум борьбы. Глухой стон... Старший тяжело повернулся к двери. Его осовелые глаза вопросительно-испуганно остановились на Громове.

— Упал, видно, с пьяну, да зашибся...— об'яснил Громов: — это что же у вас за медаль, господин есаул? Интересно!

Но старший не ответил: в начавших трезветь глазах его росла тревога. Он с трудом поднялся из-за стола и шагнул к двери.

— Куда вы? — удерживал его Громов: — сами разберутся: мой парень там.

Старший посмотрел на него недоверчиво.

— Врешь, собачий сын, я тебя...

За дверьми грохнул выстрел.

— Эй! — дико заорал старший. — Ловушка!

Он скверно выругался и схватился за кобуру револьвера.

---

[1] Тунгусничать — обирать путем меновой торговли тунгусов, самоедов и других инородцев.

Два казака на лавках схватились за винтовки. Грянули беспорядочные выстрелы. В ответ раздались выстрелы из дверей. В комнату вскочил Джафар с дробовиком, Домаховский и Семенов с казачьими винтовками. Старший покачнулся и грохнулся лицом в землю. Конвойный под столом завозился, застонал, но не поднялся. Двое другие палили бессмысленно, не целясь. К ним бросились сзади Лехин и Повинер. Спереди налетели Домаховский и Джафар. Вышибли из пьяных рук винтовки.

— Товарищи! — Громов встал в дверях; в руке револьвер старшего. Голос прозвучал властно-сдержанно. — Утекать! Семенов и Домаховский знают путь. Джафар...

Он не договорил: на улице затрещали выстрелы.

— Сдавайтесь! Всех перебью! — прогрёмел у окна голос стражника.

Джафар приложился к стеклу:

— Держитесь, товарищи! народу... с дробовиками... уу!.. и он бросился к дверям. Громов, Семенов, Домаховский, Лехин и Повинер за ним.

В первую минуту люди на улице опешили. Ссыльные дали залп и врассыпную бросились бежать.

— Ээй! Держи! Лови! — заорал стражник. — В догонку беглецам летели пули.

V.

Пурга началась как-то вдруг. Через несколько минут все кругом обратилось в снежный хаос. Снег вздымался режущей пылью. Забивал глаза, обрывал дыханье, пробивался в одежду, мокрой изморозью шарил по телу, сбивал с ног, хватал за горло, душил ледяными острыми когтями.

Весь мир обратился в белую вертящуюся мглу.

Громов, Джафар, Семенов и Лехин, держась друг за дружку, сначала пробирались наугад в ревущей снеговерти. Потом легли в снег. Двигаться не было сил.

— Замерзнем! — сказал Семенов.

— Авось, ничего...— утешил Джафар: — выдержим.

— Крепче прижмитесь друг к дружке! — Громов потянул к себе Лехина. — Ты куда?

— Да, вот Повинера нет и Домаховского... — вздохнул Лехин.

— Знаю, что нет. Да ничего теперь не сделаешь. Сам видишь...

— Тс... товарищи...— Семенов прислушался: — собаки лают... ей-богу...

Все насторожились.

— Почудилось тебе...— сказал Лехин разочарованно.

— Нет... и я слышу будто...— Джафар показал рукой в белую муть:— вот там.

— Заимка Петровича должна быть близко. Мы шли, надо полагать, правильно. Значит там...— соображал Семенов.

Они стали продвигаться, взявшись за руки. Джафар и Семенов впереди. Иногда останавливались. Слушали снежную завируху и вновь шли, тяжело загребая ногами. Скоро стал явственно слышен собачий лай.

— Так и есть, заимка... вот и огонь мелькнул...— обрадовался Громов. Пошли бодрее и... тут же ткнулись в какую-то постройку.

— Двор Петровича! Ура!

Стучали долго. Собаки заливались... А люди, как умерли.

— Что они подохли — что ли? Леший их дери...— выругался Семенов и забарабанил изо всей силы.

Наконец сквозь лай собак и вой пурги донесся злобно испуганный голос чалдона:

— Кто такие? Ломитесь, как ведьмаки!

— Мы! свои! Отворяй, Иван Петрович! — радостно отвечал Громов. Чалдон осторожно, как крыса из норы, выглянул из ворот. Увидал вооруженных людей и сейчас же опять спрятался. Загремел засов.

— Ты что же? — растерянно крикнул Громов.

— А то, что у меня не разбойный притон! — мрачно ответил чалдон. Было слышно, как он покрепче заделывал запор.

— Да что ты — спятил? — В голосе Громова был испуг. — Не узнал что ли? Старые приятели к тебе в гости, а ты их в пургу гонишь. Не хорошо будто. Не по-крестьянски. Как полагаешь? А, Иван Петрович?

Со двора чуть смущенный голос не сразу ответил: — А мне начхать на это. Своя шкура дороже. Не охота с вами в острог.

— Да к чему про острог ты — не пойму? — продолжал убеждать Громов: — никто и не прослышит. Что ты меня не знаешь? А за товарищей своих я ручаюсь.

Молчание и вдруг злобно:

— Не разводи бобы! Знаем мы вас! Убирайтесь, откуда пришли. Не то собак натравлю.

— Аа... так... — и Джафар рванулся вперед, но Громов удержал его за руку и спокойно произнес:

— Мы перестреляем твоих собак в два счета. Ты лучше не озлобляй нас, Иван Петров. Наше положение такое... должен понимать...

— Стой! кто это? — голос Семенова сорвался. — Из вихревой тьмы возникла высокая фигура.

— Это я, товарищи, Домаховский...

— Ну, наконец-то! — его радостно окружили. Про чалдона все забыли.

— А Повинер?

— Я не видал его...— растерянно ответил Домаховский: — Разве он не с вами?

— Нет...

— Ну, значит, пропал парень. Дороги он не знает...

Стало тихо. Только в злорадном хохоте и вое надрывалась пурга. И вот в вой пурги ворвался другой злобный вой. На группу людей под воротами бросилась стая собак. С горящими глазами, оскаленными зубами, вз'ерошенной шерстью они походили на волков. Домаховский, стоявший впереди, попятился.

— Что это?.. В одно мгновенье собаки схватили его за малицу.

— Стреляй! — скомандовал Громов.

Расправа была короткая. Окровавленные трупы собак валялись на снегу. Люди с дымящимся оружием стояли кругом.

— Что теперь? — растерянно сказал Лехин.

— Теперь ясно! — ответил Джафар.

— Ежели он нас собаками...— поддержал Домаховский.

Семенов заколотил прикладом в ворота. За воротами кто-то завозился, но голосу не подал.

— Эй ты! — крикнул Громов: — Ежели ты так, разговор у нас другой. Отворяй! А то разнесем к чорту все!

За воротами молчание и возня.

— Что, он баррикады что ли строит? — усмехнулся Домаховский.

— Даем три минуты сроку! — предупредил Громов: — Тогда пеняй на себя...

Молчание. Громов, заслонясь от ветра, вынул часы:

— Значит, товарищи, война. Патронов у нас много!—Он говорил намеренно громко. — Еще одна минута.

Тревожно выла пурга, хватала за одежду, кидалась в лицо, в ногах у людей на окровавленном снегу жалобно визжала раненая собака.

— Срок вышел! — крикнул Громов: — Эй! Сдавайсь, чорт!

Его товарищи защелкали затворами винтовок. Во дворе опять завозилось, зашушукалось. Всхлипнул женский голос.

— Пусти! Не озверяй их!

— Правильно! — подтвердил Громов женщине: — Пустишь, останетесь живы здоровы. А то не обижайся — пощады не будет никому. Заимку зажгу.

— Отворяй, леший! — взвизгнул в ответ женский голос: — не себя, детей пожалей... И в ту же минуту за воротами откатилось что-то тяжелое, ворота отворились, и круглая женская фигура отступила в темноту двора.

— Ну, то-то! — сказал Громов, входя: — Давно бы так! Лучше было бы. Теперь слушай! Где ты? — Громов осмотрелся кругом с опаской,— нет ли засады?

— Вот я! — виноватым голосом сказал Иван Петров и шагнул к Громову.

— Значит вот! — голос Громова поднялся и затвердел: — я, Громов, об'являю тебе от имени моих товарищей: мы пришли к тебе по-хорошему, как гости. Ты натравил на нас собак. За это реквизируем у тебя для надобностей отряда трех твоих лошадей и припасы, какие потребуются. И впредь будем поступать так с каждым ослушником-врагом. Так и об'яви всем приятелям и кумовьям. И еще об'яви: имущество, отобранное у кулаков в роде тебя, кроме необходимых припасов, будем отдавать беднякам: они нам друзья.

— Ну, этого я им, положим, не об'явлю, беднякам твоим! — нахохлился чалдон.

— Твое дело! Сами узнают. А теперь, хозяйка, мы твои гости. Ты нас пустила: мы это ценим. Джафар, поставь охрану! Семенов, бери лошадей!— И своей рукой запер ворота: — Тебя, хозяин дорогой, под стражу. А то как бы ты не того...

...Пурга кончилась. Открылось густо-синее, глубокое небо. Луна, нежная и прекрасная, в венке из ледяных хрусталей, отбросила последнее облако и весело глянула кругом. Навстречу ей высыпали звезды. Несметные множества их вспыхивали в воздушной глубине, разгорались и трепетно переливались.

Джафар шел рядом с Громовым и Домаховским. Позади Семенов и Лехин в санях с припасами. Джафар оглянулся: в переливчатой дали чуть высился над снегами бугорок: заимка Ивана Петровича.

VI

В этой избе было просторнее, и потому общее собрание сумароковских ссыльных решили устроить здесь.

— Начнем! — сказал председатель и серьезными близорукими глазами оглядел товарищей.

Все поспешно расселись, кто на скамейках, кто на пеньках, заменявших табуретки.

— Товарищ Громов вносит предложение, — продолжал председатель:— вернее не предложение, а... да, перебил он себя: кто у нас в охране?

— Джафар и Алексей...— ответил Громов, продвигаясь к председательскому столу.

— Хорошо! — сказал председатель: — Перейдем к предмету сегодняшнего заседания. Слово вам, товарищ Громов.

— Я буду краток — сказал Громов; ему хотелось быть спокойным, но не мог: голос дрожал.— До сих пор отношение товарищей ссыльных к нашему предприятию остается неопределенным. А от этого зависит многое. Не сидите между двух стульев. Займите определенную позицию. Пусть Сумароково сделает почин. По нему будут равняться остальные колонии.

— Неясность отчасти создана вами, — сказал председатель.— Ваше «предприятие» нам представляется сумбурным, непродуманным и... бесцельным.

— Почему? — в голосе Громова не было твердости.

— Ну, прежде всего, есть у вас определенный план действий?

— Пробить путь на Енисейск.

Громов выжидающе оглядел собравшихся и встретил недоумевающие взоры.

— Но ведь в Ворогове казачий кордон...—выразил председатель общую мысль.

— Обезоружить, смять кордон неожиданным нападением.—Громов начинал раздражаться.

— А ваши силы? — продолжал допрашивать председатель.

— Очень незначительные, конечно.

— Но все-таки?

— Ну, с десяток человек. Если бы у нас была настоящая сила, мы не стали бы вас беспокоить...

Этот допрос и растерянные, холодные лица собравшихся действовали на Громова скверно. Он глотнул воды из кружки на председательском столе:

— Не будем канитель тянуть, товарищи. Говорите прямо и прежде всего помните, что нам возврата нет.

Из задних рядов встал пожилой человек в растрепанной ушанке; из-под ушанки [1] смотрели задерганные большие глаза:

— А понимаете вы, товарищ, в какое нелепое положение вы поставили этой затеей нас, ссыльных, остающихся на местах во власти полиции? Ведь мы окажемся козлом отпущения. — Он усмехнулся одним ртом, и Громов увидел кровоточащие цынготные десны: — На нас падут все скорпионы... за соучастие, за сокрытие. А потом ведь — надежды на успех почти никакой. Вы знаете враждебное отношение туруханского населения, которое вы обострили своими действиями... Природные условия, отсутствие средств... Вообще это нелепо... — вдруг резко оборвал он и сел.

— Да, — сказал председатель: — но, с другой стороны, мы не можем препятствовать товарищам, не можем играть в руку властям. Это было бы просто преступно...

— А примыкать к делу безрассудно и просто бесцельно! — вскочил с места пожилой человек, и его выцветшие глаза вдруг загорелись возбуждением, почти злобным: — Кроме верной гибели, ничего впереди нет. Запомните это!

— Позвольте мне один вопрос! — послышался женский голос из-за спины председателя. — Какие причины побудили товарищей к побегу?

— Нам грозит петля! — сумрачно сказал Громов. Теперь он жалел, что затеял все это собрание.

— Причина серьезная... — констатировал председатель.

Дверь избы отворилась, и вошел Джафар:

— Не тяните волынку, товарищи! — В его голосе было беспокойство. — Стражник вернулся с охоты. Обедает. Не донес бы кто... кончайте скорее.

Он ушел так же быстро, как и появился.

— Я предлагаю, — сказал председатель: — одному товарищу высказаться за и одному против, а потом вносить предложения.

— Против уже высказался дедушка!

— Больше ничего нельзя прибавить! — послышались голоса.

— Позвольте мне высказаться за.

— Слово товарищу Якову! — сказал председатель.

Молодой худощавый еврей в потрепанной малице вышел вперед. Его черные глаза осветились веселой усмешкой.

[1] Ушанка — меховая шапка вроде капора, с длинными, в виде меховых лент, наушниками.

— Не так страшен чорт, как его малюют: я уж один раз испробовал это удовольствие. Правда, неудачно. Но все же у меня есть опыт. И я думаю — дело не безнадежное. А главное: возврата действительно нет. И поэтому мы должны оказать посильную помощь. Иначе мы были бы плохими товарищами. Я кончил.

— Прошу вносить предложения! — сказал председатель.

— Позвольте мне! — из-за спины председателя выглянула худенькая фигурка молодой женщины с русыми косами и большими тревожными глазами.

— Слово товарищу Марусе! — сказал председатель.

Она отбросила папироску и обвлела всех робким взглядом.

— Я предлагаю предоставить каждому товарищу свободу действия и не связывать никакими постановлениями.

— Правильно! Это выход! — послышались голоса.

— И вовсе не выход... сердито сказал Громов: тогда нечего было и собрание собирать.

Дверь широко распахнулась. Джафар спросил тревожно:

— Кончили? Он из дому выходит...

— Кончили, — сказал председатель и обратился к Громову: — Вы как?

— Мы с Джафаром сейчас уходим, не беспокойтесь! — усмехнулся Громов.— Нам товарищей догнать скорее... и то задержались.

VII

Отряд Громова продвигался к Туруханску. В нем было уже шестнадцать человек, все вооруженные, тепло одетые. Уже слава о Громове прошла по краю. Было несколько победных стычек со стражниками. Богатые чалдоны и купцы по селениям и заимкам опасливо ждали «политических», выслеживали их путь, ночами крепили запоры, готовили ружья. К полицейским властям летели доносы. А власти... не очень торопились: из губернии не было приказа, да и морозы стояли лютые; в такие морозы не было охоты рыскать за «политическими» по тундре. Только в селениях, на случай «налета», стражники с «переменниками»-добровольцами устанавливали орхану, да и та в глухие полярные ночи не выдерживала и пряталась по избам.

...Эта ночь была тяжелая. Переход выдался длинный. Пятидесятиградусный мороз давил грудь, захватывал дыхание, стоял над путниками белым иглистым туманом. Их одежда затвердела ледяной коркой и трещала при каждом движении: казалось, вот-вот сломается. Ноги в меховых чулках и сапогах стыли, как разутые. Пальцы не разгибались. Лица у всех были обморожены.

— Вот ледяную бомбардировку начинаю, товарищ! — попробовал пошутить Семенов: — Держись Джафар! нацелился и плюнул в винтовку Джафару. Плевок стукнулся о железо ледяным камешком. Никто не ответил на шутку.

Отряд шел налегке на лыжах. «Обоз» отправили раньше в знакомое зимовье. Сначала путь был ровный. Двигались быстро и свободно. Потом

начались неровности, бугры, какие-то ямы. Домаховский, шедший впереди, вдруг кувырнулся и полетел носом в снег.

— А, чорт! — выругался он: — руку зашиб.

Громов осмотрелся кругом. Сверился с компасом.

— Не дело, товарищи! Сбились с дороги, вот что... потому и ямы эти пошли.

— Погодите! — вызвался Семенов: — Я поищу! — и побежал вперед.

Лехин не то вздохнул, не то застонал и бросил винтовку.

— Ты что? — удивился Громов.

— Сил нет...— он сел в снег.— Зря я связался с вами... не по мне это...

— Надо было раньше думать! — холодно ответил Громов: — винтовку бросать я тебе не позволю.

— А если у меня пальцы не сгибаются... не могу! — нервно выкрикнул Лехин.

Джафар окинул его презрительно жалеющим взглядом и взял винтовку.

— Всем тяжело! Все молчим.

Больше не говорили. Стояли понуро и слушали тишину тундры. И вдруг тишина разорвалась гулким ударом.

— Что это? — истерически вскрикнул Лехин.

— Это земля от мороза трескается...— успокоил Громов.

— А я думал пушечный выстрел!..— весело сказал подбежавший Семенов.— Дорогу я нашел. Самый пустяк сбились. Давайте по этому случаю хватим по баночке!— И он вытащил флягу со спиртом. Все выпили. Стало бодрее.

— Ну, теперь в путь!

Джафар поднял Лехина с земли, приладил ему лыжи:

— Не скисай! Замерзнешь так-то...— сказал ободряюще: — Лицо снегом надо тереть.

Лехин дружески улыбнулся ему.

— Вот бы северное сияние теперь — никогда не видал...

Они быстро выбрались на ровную дорогу. Но не прошли и версты, как шедший впереди Семенов предостерегающе поднял руку и остановился.

— Там что-то движется...— сказал он вполголоса.

В слабом свете снега и звезд они увидели впереди движущуюся тень. Вскоре обрисовались фигуры лошадей и что-то темное, большое, похожее на громадный ящик.

— Партия арестованных...— сказал Джафар:— балок... [1] два балка что ли?

— Надо отбить! — решил Громов.

Как один человек, отряд опустился на снег. Сняли лыжи, осмотрели винтовки, полегли. Тень быстро приближалась. Теперь были ясно видны два балка.

— Не видели нас? — удивленно шепнул Домаховский.

[1] Балок — крытый шкурами возок на полозьях.

— Должно быть...— также шопотом ответил Семенов. — Конвой дрыхнет, а возницам наплевать...

— Приготовьтесь! — шопотом скомандовал Громов.

В ту же минуту передний балок поравнялся с засадой. Грянул дружный залп. Одна лошадь упала. Другая испуганно дернулась и запуталась в постромках. Задний балок налетел на передний. Выскочили испуганные люди.

Громов с товарищами бросился на конвой. Все кончилось быстро: двух убили в перестрелке, остальных обезоружили и связали.

— Товарищи! вы свободны! — Громов подошел к переднему балку.— Сттуда смотрели на него растерянные, непонимающие лица. Среди них были две женщины.

— Мы — ссыльные, — об'яснил Громов: — Наш отряд сейчас идет на Туруханск. Поворачивайте с нами.

— А потом? — спросил недоумевающий женский голос: — Какая ваша конечная цель?

— Соединиться с нарымской ссылкой.

— А потом? — настаивала женщина.

— Потом... так или иначе вырваться на волю... — несколько растерянно ответил Громов.

— Слабо! — сказал старик из глубины балка: — Вам надо было пробиваться на Енисейск! Я о вас уже слышал...

Из другого балка вышел молодцоватый парень в щегольской, расшитой узорами малице [1].

— А вы куда же — на северный полюс норовите? Я — Хазаринов, — прибавил он.

Арестованные собрались в кучку, начали совещаться. Громов и его товарищи не вмешивались. Всем стало невыносимо тоскливо.

— И верно, надо было на Енисейск! — уныло протянул Лехин.

— А казачий кордон? Это по-твоему как? — раздражился Громов.

— Его надо было прорвать! — неожиданно мрачно поддержал Джафар.

— Товарищи! — к ним шаткой, больной походкой подошел старик из переднего балка:

— Мы решили большинством отказаться от вашего предложения.

— И? — насмешливо вставил Семенов.

— И следовать с обезоруженным конвоем в Енисейскую тюрьму.

— Почему же? — как-то вяло спросил Громов.

— Потому что ваше предприятие слишком рискованно, непродуманно, не имеет перспектив. Впрочем, трое останутся с вами. Вот!— Хазаринов и еще двое молодых людей выступили вперед.

VIII

В глухую январскую ночь отряд Громова подошел к Туруханску. Город расползся по низине у реки Турухана. Зарывшись в снег, приземистые

[1] Малица — одежда из оленьего меха, шерстью вниз, вроде рубашки.

домики мирно спали. Над ними, точно цапля на болоте, задумчиво стояла церковная колокольня... Несколько огоньков в разных концах города мигали беспомощно...

— Не ждут, повидимому, — сказал Громов: — это хорошо.

— Деревушка поганенькая, а не город! — решил Семенов.

— Не скажи, — поправил Домаховский: — как-никак укрепленный пункт, столица края...

— А на какой чорт нам эта столица понадобилась?.. — проворчал Лехин: — сорок верст из-за нее крюку дали...

— А тебе надо было в тылу оставить управление, вооруженную силу, чтобы нас, как зайцев, слопали... голова садовая! — рассердился Громов и прибавил, меняя тон:— Значит, товарищи, план нападения...

Отряд подтянулся, лица стали серьезны. Громов продолжал.

— Я, Джафар, Домаховский и Хазаринов, как знающие город, ведем одновременно наступление с разных сторон: первым делом тюрьма и управление...

***

В маленькой низкой камере было душно, угарно: только что закрыли железную печку.

— Задохнемся, Вить... А, Вить? Задохнемся, говорю...

Человек в стоптанных валенках и потрепанном пиджаке поднял от книги еще молодое, но болезненно опухшее лицо и потер впалую грудь. Уныло повел глазами на товарища. Виктор поднял с нар сонную, лохматую голову. В ярких, не затертых тюрьмою, глазах, еще блуждали теплые сны.

— К утру замерзнем, не беспокойся... и зевнул: ты чего ж разбудил меня, обезьяна ты американская? Теперь опять клопы кусать начнут.

— Они и так кусали.

— Да я не слышал... Главное — умудрился уснуть... а потом пусть лопают... Дай-ка махорочки, Борь...

— Нет махорки: вся вышла...

— Нуу? Это уже хужее... Как же теперь?

Борис не ответил: он привстал и насторожился...

— Ты чего?

Виктор спустил с нар ноги.

Борис отмахнулся рукой; двумя большими, осторожно нацеливающимися шагами он переправился от стола к двери и замер у волчка. Виктор подождал минуту и присоединился к нему.

В тюремном дворе творилось что-то неладное: стук, грохот, потом выстрелы. Виктор и Борис взволнованно переглянулись.

— Бунт, ей-богу...

— Кто же? Уголовные что ли? Да ведь...

... Возня в дверях. Придушенный крик. Потом громкий голос: — Давай ключи! Пристрелю, как собаку...

Быстрые шаги многих ног по коридору. И радостное призывное: — Товарищи! На свободу!

Борис и Виктор неистово забарабанили в дверь. Она тут же отворилась. Высокий человек, с блестящиим глазами-черешнями и смуглым обмороженным лицом, стал на пороге. Счастливо засмеялся на растерянные, радостные физиономии заключенных.

— Я — Джафар из отряда Громова, а вот мои товарищи...

Они тоже приветливо улыбались.

— Вас много?— справился Борис. Он уже пришел в себя и по привычке принимал деловой тон.

— Двадцать человек.

— Управление?..

— Наверно, уже взято. Там сам Громов...

— Вот что, товарищи! — Борис озабоченно собрал складки на высоком желтом лбу.— Нужно немедленно вскрыть дела канцелярии: в крае несколько провокаторов.

— Есть! — сказал веселый голос позади Джафара: — Беру на себя.

Джафар удивленно обернулся.

— Правильно, товарищ Лехин! Вот этак я люблю.

* * *

На крыльце управления дежурный полицейский похрапывал так громко, что было слышно через улицу. Там, в темной подворотне, Громов с минуту слушал. Потом выглянул за угол и махнул рукой снизу вверх. В несколько прыжков восемь вооруженных людей очутились около спящего. Он не успел проснуться: кинжал Хазаринова уложил его навсегда.

В слабо освещенном коридоре не было никого. Стараясь соблюдать тишину, отряд проник в канцелярию. Заспанный писарь поднялся с дивана. Его мутные глаза бессмысленно остановились на вошедших.

А... а... и... и... дикий крик, как визг поросенка, и... выстрел.

— Что это?— на пороге кабинета широкий человек в погонах; нелепо шарит рукой вокруг себя: похоже, забыл, где у него револьвер. И опять выстрел. Теперь на полу канцелярии два извивающихся тела. В открытых дверях кабинета два человека в полицейской форме с поднятыми руками:

— Сдаемся!

* * *

Домаховский и Хазаринов на подступах Туруханского собора. С ними еще четыре товарища. В соборе купец Латкин и вооруженные горожане. Двери храма забаррикадированы.

На лицах отряда недоумение:

— Как его теперь?

— Ежели поджечь...

Постойте! Хазаринов с заряженным револьвером подходит к двери.

— Хазаринов! Назад! С ума сошел!

Выстрел. Хазаринов падает на паперть. Его поднимают. Несут. Побелевшие губы шевелятся.

— Что? Что ты?

— Поджечь...

— Позвольте, господа товарищи, мне сказать...

Лохматый человек в развороченной шапке, в дырявой шубенке; из нее лезет пух, пакля и еще какая-то дрянь, точно птичье гнездо на себя напялил.

— Чего тебе?

— Из тюрьмы я. Товарищ Джафар освободил. Могу помочь.

— Ну?

— Ход там есть другой. Проведу. Тепленьких с тылу накроем. Тут трех для фасону оставьте.

IX

Отряд собрался на совещание в уютном купеческом доме. С удовольствием расселись на мягких диванах и креслах. Курили хороший табак. Настроение у всех благодушное, ленивое.

Вошли Громов и Лехин. Громов окинул недовольным взглядом бутылки с вином, меха на полу, но смолчал.

— Вот! — сказал Лехин.— Мы покончили вскрытие дел в управлении Провокаторы: помощник пристава Воден — убит при взятии управления. Ходяшев — пытался бежать — задержан инородцами за городом. Вот список. Остальные помельче. Мы уничтожили все документы, компрометирующие товарищей-ссыльных и заключенных, в том числе дело красноярской группы социал-демократов.

Он удовлетворенно вздохнул и сел в сторонке.

— Теперь, — заговорил Громов, — надо решить судьбу арестованных Ходяшева и Латкина.

— Нечего решать! — послышались голоса.

— Дело ясное.

— Казнить! — сказал Хазаринов, поднялся было с дивана, но болезненно охнул и опять лег.

— Я голосую! — сказал Громов: — кто за казнь?

Руки всех присутствующих дружно поднялись.

— Принято единогласно! — сказал Громов:— расстрелять Ходяшева — как провокатора, Латкина — за покушение на жизнь Хазаринова. Исполнение приговора сегодня. Завтра на утро выступать. Сейчас юраки принесли мне скверное известие: по Оби снаряжена военная экспедиция. Нам остается один путь — вниз по Енисею.

X

Маленькое, жалкое селение в десяток домов, а кругом голая тундра, безбрежная и жуткая как море. Полдень, но солнца не видно. Только красное зарево бросает на снег радужные блики. Глазам больно смотреть: что-то острое, режущее в этом мертвом металлическом свете.

— Вот и Дудинка! — сказал Громов: — Мы за полярным кругом.

Отряд сгрудился около него. Лица измученные, хмурые. И не вяжется с этими изношенными лицами богатая меховая одежда из сундуков туруханского купечества.

— Мы будем именовать себя научной экспедицией по обследованию северного полюса.

— К чему это? Кто же нам поверит?— у Лехина лицо совсем больное, в глазах обреченность. Он сел на снег и закрыл глаза рукой.

— Ослепнешь с этим чортовым блеском.

— Поверят,— поддержал Громова Домаховский:— здесь всему верят. Телеграфа нет, никто о нас не осведомлен. А иначе...

— Я нарочно в ближайших зимовьях подарки раздавал направо и налево... чтоб задобрить, а то... купцы, да кулаки натравили на нас население.

Громов вынул бинокль и навел на Дудинку.

— Да, ты того... раскутился за последнее время...— усмехнулся Семенов.

— Не свое — не жалко! — с'язвил Борис.

В Дудинке их встретили... выстрелами. Местные купцы знали о Громове и не ждали себе ничего доброго. Громов ответил залпом. Дудинковцы смешались; подбирая раненых, отступили.

Перед выступлением из Дудинки Громов зашел к местным ссыльным, своим знакомым по Енисейской тюрьме.

Жалкая избушка на краю селения, по крышу в снегу, снаружи была похожа на нору таежного зверя. Только дымок над белым бугром показывал, что здесь живут люди. Внутри было пусто, холодно, неприютно. Обитатели избы обедали. На столе была картошка и «сельдюска». Ее тяжелый дух Громов почувствовал еще на пороге.

— Да, — заговорил Сойкин: — надо информировать вас о положении в крае. — У меня как раз свежие новости. Так вот: по всему краю идут экзекуции над ссыльными по подозрению в «сокрытии и содействии» вам. Допросы и обыски в Осинове, Верхнеинбатске, Туруханске кончаются избиениями, арестами. Ищут оружие и награбленное вами добро. Об'явлено военное положение: после четырех часов ссыльным запрещается общаться друг с другом. В Енисейской тюрьме полно ссыльных. Среди них люди, вовсе непричастные к вашему делу... Вот.

XI

В Сумарокове оживление... Чалдонки-девушки собираются на вечорку. С ними местные парни и молодежь из ссыльных. Под пиликанье гармошки однообразный таежный напев:

— «А я тебя хорошую,
Да по башке калошею».

Нелепые слова частушки кого-то забавляют: кедровыми орешками рассыпается в звонком воздухе девичий смех.

— А ты что-ж, Алексей Семенович! к нам заворачивай!— круглолицая, румяная красотка тянет за рукав юношу в овчинном тулупе и потертой оленьей шапке.

— Погодь, Стеша, замерз я... шутливо отбивается он:— С тятем твоим пастники в тайге ставил. На твое счастье песца поймать хочу. Замерз больно....

— А ты сакуй да лунтаи заведи — не будешь мерзнуть, а то в тулупе...

— Это уж как на тебе жениться буду — к свадьбе...

Простое, открытое лицо парня все в улыбке. В серых, с золотыми искорками, глазах его девушке светит что-то доброе, ласковое. Она смущенно-радостно смеется.

— А рази политики на чалдонках женятся?

— Отчего-же!

А в другом конце деревни, у плохонькой избушки, столпился народ. Здесь напряженное молчание; на лицах страх, смешанный с любопытством. В избушке обыск. Стражники шарят под лавками, переворачивают пожитки. Урядник, с медалью на выпуклой груди, распоряжается. Рыжее, туповатое лицо пыжится напускной важностью.

— Кто здесь Яков Ицкелев Гофман?

— Я! — худощавый черноглазый человек отделился от стены.

— Твоя изба?

— Попрошу не тыкать. Изба моя.

— А еще кто в ней живет?

— Моя жена.

— Где она?

Из-за перегородки вышла молоденькая стриженая женщина, почти девочка. Лицо у нее светилось прозрачной белизной, и на висках вздрагивали синие жилки.

— Фамилия?— что-то предвкушая, стражник довольно ухмыльнулся.

— Лаврентьева.

— Ага! Любовница жидовская, значит? Любовница? Отвечай?

— Я не стану отвечать вам, если будете оскорблять.

Урядник весь дернулся. Вскочил с лавки, но, видимо, передумав, опять сел. Обратился к мужу:

— Ты чего же врешь, жид пархатый? Жена?

В группе понятых сдержанный смешок. Все лица обращены на Гофмана. Он весь иссиня-бледный, как снег за окном. Руки и ноги дрожат.

— Вот что! — в голосе твердость отчаяния; медленно подошел к урядiнику:— или бросьте издевательства и приступайте к делу, или... я найду на вас управу.

Урядник удивленно оглядел его с ног до головы.

— Ишь ты, фря какая! — Что-ж, пожалуй, можно и к делу приступить... Ээй, ребята! Разворачивай половицы!

— Сначала позвольте документ! — Молодая женщина близко подошла к уряднику. Он встретил ее глаза и зябко поежился.

— Документ — вот. Самого Толмачева подпись.

Она просмотрела бумагу:

— Это к нам никакого отношения не имеет. Здесь сказано «сокрытие и содействие шайке Громова». Мы тут совершенно не при чем.

У дверей что-то зашумело. Понятые расступились. В избу вошел Алексей. Стряхнул иней с шапки. Огляделся. Урядник уставился на него.

— Ты чего?

— Как чего? Я здесь живу. Из-за меня, надо полагать, и переполох.

Урядник рассматривал его с интересом. Понятые перешептывались. Лаврентьева делала какие-то знаки, которых Алексей не замечал.

— Ты родственник им?— урядник кивнул на хозяев избы?

— Нет. Они меня приютили у себя, как приехал. Мне деваться было некуда.

— А почему говоришь, из-за тебя переполох?

— Потому что донос был на меня. Я узнал.

— Нет, сказал урядник: на Гоф...— и спохватился, весь покраснел и заерзал на лавке: — Не разговаривать у меня! — крикнул он раздраженно.

— Если на Гофмана, то, значит, для отвода глаз,— не обращая внимания на нервность урядника, спокойно об'яснил Алексей и осмотрел понятых:— и доносчик здесь. Он сватался за девицу одну, она ему отказала. Ан теперь я на ней женюсь. Он по злобе... Черных это.

В группе понятых кто-то не то ахнул, не то поперхнулся.

Урядник озадаченно смотрел.

— Черных, расскажи-ка!

Молодой чалдон неохотно выступил вперед. Глаза у него гвоздиками; нос подвижной, с обнюхивающим пятачком. Запах — то-ли от парня, то-ли от малицы — едкий и тяжелый, как от хорька. И весь он пронырливый и ловкий, как хорек.

— Вы что-ж, господин урядник! Подводите... Этак не годится, однако. Мало, что он говорит.

Урядник смущенно усмехнулся:

— Не опасайсь. Их здесь никого не будет.

Черных потянул носом. Откровенно злобно оглядел Алексея:

— Ну-к, что-ж: девку он у меня отбил, однако... А Громов в самделе в этой избе ночевал. Вот-те крест (он истово перекрестился) в воскресенье перед Рождеством было дело. Своими глазами видал.

Урядник встал.

— Вскрывай половицы! — крикнул грозно.— Валандайся тут с вами...

— Зачем? Чего вы ищете? Как в разрушенной избе жить?.. в такие морозы...— кинулась к нему Лаврентьева.

— А мне какое дело? — огрызнулся урядник:— А, может, там оружие, добро награбленное...

Понятые во главе с Черных принялись разворачивать пол. Лаврентьева заплакала. Гофман стоял у стены: в его выпуклых оленьих глазах была

тоска затравленного животного. Алексей подошел к Лаврентьевой. Сказал шопотом:

— Не надо так. Я все возьму на себя. Вы только молчите и не путайте себя и мужа.

— Чего шушукаетесь! Разойдись! — крикнул урядник.

Черных подскочил к нему. В лице злорадство.

— Господин урядник! А это — что?

— Карандаш... так что? — недоуменно молвил урядник.

— А буквы?

Урядник поднес карандаш к свету: на срезанном конце стояли выпиленные ножом инициалы «А. Г.».

— Громова Александром звать! — торжествующе усмехнулся Черных.

— Где нашел?

— Вот под лавкой... в щель закатился.

— А вы не сами его принесли?— тихо сказал Лаврентьева.

— Нуу! — урядник угрожающе шагнул к ней: — жидовская... и прибавил гадкое ругательство. Гофман у стены скрипнул зубами и застонал. Алексей с сжатыми кулаками бросился на урядника. Понятые схватили его сзади за руки и оттащили.

Урядник, красный, весь в поту, отдувался и пыхтел:

— Аа, так!.. (Скверная ругань...) Вяжи его! Жида вяжи!

Понятые тяжело обрушились на Алексея и Якова. Повалили на землю. Урядник взял за руку Лаврентьеву, впихнул за перегородку, задвинул задвижку и шагнул к лежащему в углу Алексею. Пнул его сапогом.

— Бей! Черных!

В развороченной избушке стало странно тихо. Только в темном углу глухие удары, шарк меховых сапог и сопенье. И вдруг из-за перегородки тонкий истерический вскрик:

— Палачи! Будьте вы прокляты! Захлебнетесь нашей кровью, вы и дети ваши... Пусть пурга заметет вас в тундре! Пусть медведь задерет в тайге! Пусть...— что-то тяжело рухнуло. За перегородкой стало тихо.

Удары в углу прекратились. Чалдоны поднялись. В их озверелых лицах был суеверный страх:

— Ведьма...

— Не попусти, господи!

— Спаси, Христос!

Урядник тяжелыми мутными глазами обвел избу:

— Зажигай! Давай керосину, Черных! В мою голову... Запаливай! Под крышу...

XII

Тишина полярной ночи, как смерть. Прервать ее невозможно. Если возникает случайный посторонний звук, тишина надвинется морской пучиной, жадно поглотит звук и сомкнется над его могилой.

Оглушенная тяжким морозом земля спит. Сон этот — не отдых, радостный и спокойный. Он—как глубокий, долгий обморок. Так под морфием, похожий на покойника, спит тяжело больной. Но ему грезятся светлые сны. В полярную ночь они грезятся земле. Сны о далеком солнце.

Вот на севере занимается белая заря. Все ярче и ярче разгорается бледный свет. Подымается и охватывает небо. Блестящая дуга перекинута с одного края земли на другой. Дуга сверкает и переливается желтыми, зелеными, голубыми огнями. А внизу вспыхивают кроваво-красные рубины. Как под ветром колышутся, трепещут, бьются о темную землю горящие волны. И вот в них черные провалы,— набухают, вздуваются и лопаются огненными столбами. Пурпурные, зеленые, голубые фонтаны взлетают к середине неба, рассыпаются золотыми кистями.

Земля дрожит, тянется к чудной грезе, на ее мертвенно-бледном лице проходят светлые блики сна. Но видение бледнеет, меркнет. Погружается в ночной мрак. Тяжко, точно мертвец, повернувшийся в могиле, стонет, скрежещет земля.

— Опять земля трескается! О чтоб ее... жутко даже...— голос Семенова узеньким лезвием входит в ночную тишину и проваливается в ее нутро.

Борис боится нарушить тишину и чуть слышно шепчет:

— А хорошо северное сияние...

— Солнце лучше...— тоже шопотом говорит Джафар:— как по-твоему, брат Олѐ?

— Солнце! Солнце не скоро...— блестящие и темные, как влажный изюм, глаза самоеда мечтательно устремлены в темнеющее небо:— нескоро солнце...

— А Лехин так и не видел северного сияния...— и в голосе Джафара сдавленная боль.

Все головы поворачиваются к нему. Никто не отвечает.

В этот день ранним утром отряд Громова вышел из Гальчихи. Это крайний северный пункт Туруханского края. Впереди безбрежная тундра. На последнем совещании в Гальчихе было решено выйти на Лену и соединиться с Якутской ссылкой. Предстоял путь в пять тысяч верст. Но он был единственный. По сообщениям инородцев Громов знал: со всех сторон надвигается погоня. Только здесь оставалась какая-то надежда.

... Луна бросает черную тень на белые снеговые волны. Олени не бегут: скользят легко и беззвучно, почти не касаясь земли. Беззвучно ныряют нарты в снежных волнах. На передке первой нарты Олѐ. Неподвижна его мохнатая фигура. Далеко, далеко в пустыню уходит тень его хорея [1].

... Нет конца ночи. Нет конца снежной равнине. Крепнет мороз. Стеклянный воздух звенит в ушах. А, может быть, это звенит льдинками замерзающая кровь.

Мирно-бездумно бегут олени. Мягко колышатся ветвистые рога. В их колыхании спокойствие и сон.

---

[1] Хорей — шест для управления оленьей запряжкой.

— Слушай, брат, а брат!.. Не спать. Спать нельзя. Не проснешься...

Олѐ наклонился, тормошит Громова, ласково трется о его лицо мягкая шерсть совика[1]. — Вели товарищам не спать. Худо спать.

— Олѐ, ночлег бы... Устали.

— Можно... мядико... [2] скоро. Олень устал...

А олени бегут так же легко. И не видно конца их бегу. И опять поет Олѐ свою бесконечную, как тундра, песню. В такт напеву качается его рослое, широкое тело. Громов тормошит товарищей. Шевелятся нехотя, через силу, ворчат, стонут.

— О чем ты поешь, Олѐ? — Громову надо говорить, чтоб не заснуть.

Самоед оглядывается. Детская светлая улыбка на круглом лице:

— Олень бежит — поем, снег — белый — поем; земля трещит — поем, все поем.

— А спирту хочешь, Олѐ? Хороший спирт.

Глаза Олѐ суживаются в щелочки, рот расползается до краев совика, нос забавно морщится.

— Спирт — хорошо.

— Давайте-ка, товарищи, и мы погреемся. А то не разбудишь вас, как я посмотрю.

Олени стали. Все проснулись. Семенов возится на дне нарты. Самоеду подносят первому. Он пьет и радостно крякает как утка на утренней заре. Потом отходит к оленям. Оттуда его озабоченный голос:

— Ехать надо, скоро — мядико...

— Почему?

— Пурга скоро.

— Откуда ты взял? Ветра нет. Ясно.

— Олень сказал.

***

Олени летели на восток. Пурга догоняла их с запада. Ветер хлестал их ледяными плетьми. Гнул, ломал рога. Кидал в глаза снежные хлопья. А они летели, быстрее ветра. И казалось, — никакая сила не остановит вихревой этот бег.

Олѐ уже не пел. Он сидел, весь укутавшись в свой совик, как-то неловко снизившись, будто хотел стать незаметнее, меньше. На оленей он, видимо, не обращал никакого внимания. Громов долго наблюдал эту странную, по воле стихий, гонку оленей. Наконец не выдержал.

— Олѐ!

Самоед не шевельнулся.

— Слушай, Олѐ! Почему ты не смотришь за оленями? Этак мы умчимся, нивесть куда. Олѐ! Что-ж ты молчишь?

Самоед неохотно обернулся и сердито посмотрел.

— Олень знает. Зачем мешаешь...

---

[1] Совик или савик - меховое пальто шерстью наружу с капюшоном.

[2] Мядико — чум, жилище самоеда.

И опять с'ежился. Весь ушел в свой совик.

А через несколько минут олени стали, как вкопанные.

— Мядико! — гордо об'явил Олѐ и вылез из нарты.

... Становище самоедов состояло из четырех чумов. Гостей пригласили в самый большой. Конусообразный шатер из длинных жердей, нижними концами укрепленных в снегу, был обтянут оленьими шкурами в два ряда, один ряд шерстью вниз, другой — шерстью вверх. Мядико, видимо, был только что раскинут: женщины еще возились кругом, обкладывая его понизу снегом. Внутри настилали циновки из прутьев березы, а на них оленьи шкуры. Вверху чума было оставлено отверстие для дыма. На земле, под этим отверстием, соорудили очаг, развели огонь, повесили котел. Работа женщин шла быстро, ловко и дружно. Мужчины не принимали в ней никакого участия. Семенов хотел было помочь молоденькой девушке с длинными косами и блестящими карими глазами, но ее миловидное личико вспыхнуло густым румянцем. Губы испуганно дрогнули. Она шарахнулась в сторону, как потревоженная в гнезде белка. Только зазвенели бусы, да мелькнули красно-желтые ленточки.

— Не тронь! — сказал Громов:— не обиделись бы.

На шкурах, всеми забытый, копошился мохнатый комочек. Громов взял его на руки. Комочек оказался маленьким самоедиком. Мохнатый гусь [1] закрывал все его тело. Из белого пушистого покрова выглядывало раскрасневшееся свежее личико со звездочками-глазенками. Самоедик вгляделся в незнакомое лицо и запищал. Подошла мать, высокая смуглянка, с громадными медными серьгами в больших плоских ушах, с блестящим поясом из медных колец и щитков.

— Белый медвеженок! — улыбаясь ей, сказал Громов. Она ответила что-то на странном звучном языке и унесла ребенка.

Гостей пригласили кушать. У очага лежал еще теплый, окровавленный олень. Все уселись кругом на корточках. Хозяйка, пожилая женщина с печальными и кроткими глазами лосихи, ножом срезала длинные, тонкие ломти с ребер, спины, бедер и наделяла пирующих. Самоеды брали конец ломтя в рот и у губ обрезали ножом. Громов и его товарищи, с кусками сырого мяса в руках, растерянно переглянулись.

— Ничего!— сказал Джафар и, сделав решительное лицо, отправил мясо в рот.

— Вкусно!— сообщил он успокоительно.

Громов не знал, что ему делать.

— А ты попробуй! — уговаривал Олѐ: — Тепло! Сладко!

Хозяйка смотрела выжидательно, обиженно. Громов сделал над собой героическое усилие и откусил мясо. Оно было нежное, приятное. Он улыбнулся хозяйке.

— Вкусно!

Она радостно закивала головой. Кто-то тронул Громова за рукав: маленький самоедик с перемазанной кровью рожицей тянулся к его куску.

[1] Гусь—меховая одежда шерстью наружу; по покрою напоминает малицу.

Мать выбрала кость, разбила и дала ребенку. Он схватил ее и начал сосать мозг.

Уй... уй... у-у-у...— запищал он радостно, как голодный котенок, дорвавшийся до молока.

Когда все насытились и отвалились от оленьей туши, хозяйка собрала остатки в котел, кипевший на огне. Громов разложил у очага свои угощения: сушки, ржаные сухари, сахар, варенье в металлических банках. Самоеды пробовали. Хвалили жестами, прищелкиванием языков.

У входа в чум послышалось тихое повизгивание. Просунулась одна собачья морда, другая, третья. Хозяйка швырнула им кости. Они бросились, вырывая кости друг у друга, злобно урча. Громов недовольно покосился: хозяйка заметила. Прикрикнула, замахала на собак. Они убрались, обиженные, унося добычу.

Маленький самоедик пушистым зверьком прикурнул у огня и заснул. В кулачке у него был зажат большущий кусок сахара.

Семенов в уголке ухаживал за девушкой с длинными косами. Она уже не пугалась. Весело скалила белые зубы. Кокетливо звенела металлическими своими украшениями. Потом стала показывать ему разноцветные суконные нашивки и бисерные узоры на своем янды [1].

Хозяйка принесла каменную плошку с топленым салом. Зажгла. Фитилек из сухого мха вспыхнул робким огоньком. Мать белого медвежонка разбирала нитки из оленьих жил. Взяла верхнюю одежду гостей. Обе женщины внимательно осмотрели ее перед огнем, потрясли и принялись за починку.

Мужчины уселись в кружок перед огнем. Ноги сложили крест накрест. Закурили трубки. Началась беседа. Олѐ был переводчиком. Пожилой самоед, крепкий и плотный, в расшитой красным сукном малице, очевидно, глава семьи, рассказывал. В тон рассказу, его морщинистое, отмороженное лицо то хмурилось тоскливо и безнадежно, то загоралось темным румянцем обиды и гнева.

Олѐ переводил: очень обижают их русские купцы — Туссе, Сорников. А еще хуже обрусевшие самоеды-богачи — Постов, Долошников. Нехорошо разбогатели купцы. В тайге куница темной ночью крадется к беличьему гнезду, бросается на робкого зверька, перегрызает горло и упивается горячей кровью. Долошников и Постов рыщут по тундре, вынюхивают добычу. Настигнут, обморочат, опоят спиртом беспомощных темных людей, обсосут до гола и бросят. Подыхай! Песца — за водку, соболя — за бусы, горностая — за сушки.

Громов слушал и мрачнел. Нервной гримасой подергивалось его лицо.

— Скажи им, Олѐ: Громов накажет Долошникова, чтоб другим не повадно было. Только наведите на след. Укажите.

Олѐ радостно кивнул. Торопливо заговорил своим. Слушали сначала недоверчиво, потом внимательно. Заспорили. Зашумели. Заволновались.

[1] Янды — женское меховое платье с кушаком и металлической пряжкой, украшенное вышивками из цветных тканей.

Блестели глаза и зубы, в гневных взмахах взлетали кулаки. В грозную песню пурги вплетались гортанные резкие выкрики людей. Потом смолкали. Громов ждал. Олѐ обернулся к нему. Показал рукой на пожилого самоеда:

— Хорошо! Олѐ и Кѐнка проводят. Надо. Громов накажет Долошникова.

Огонь в очаге догорал. Дым стлался по чуму. Ел глаза. С непривычки было трудно дышать. Громов закашлялся. Хозяин посмотрел на него озабоченно. Встал. Подкинул в огонь сухих сучьев. Приоткрыл выходное отверстие чума: выпустил дым.

Тепло и сытный ужин разморили людей. Джафар сладко похрапывал у огня рядом с беленьким самоедиком. Остальные клевали носом.

— Спать?— вопросительно сказал Олѐ.

— Спать!— сладко зевнул Громов.

Женщины стали готовить постели из мягких шкур.

Когда гости уснули, хозяйка выглянула из чума. Впустила собак, цыкнула на них. Они робко приткнулись у входа.

Пурга бушевала. За меховыми стенами чума весь мир — грохочущий, воющий снежный океан.

XIV

Олени устали. Долошников решил заночевать в тундре. Юраки-вожатые распрягли оленей. Начали ставить хозяину чум. Русские слуги занялись приготовлением ужина. Приказчик подошел к хозяину:

— Разрешите, ваше степенство, на ночь караул у товара поставить. Как бы не растаскали...

Долошников тряхнул головой, отгоняя дрему:

— В тундре кто растащит? Слуги мои — народ испытанный. А инородцы, сам знаешь, с голоду на чужом добре подохнут — не тронут.

— Не скажите, ваше степенство: самоеды, правильные ваши слова, честны во-век, а юраки — номером ниже будут.

— Ну, поставь, я разве что... Береженого бог бережет.

Долошников зевнул:

— А здорово мы, Никитыч, поработали в этот раз. Повезло, как никогда. Смехом — за оловянные ложки, кастрюльки, бусы, за̂ цепочки медные, словом — за дрянь сокровищ каких наменяли! Ты видал соболей, Никитыч? А лисица? А песцы? Голубые...

По желтому, грубому, точно из глины вылепленному лицу купца прошла нежная любовная улыбка: — Этим песцам цены нет, Никитыч! Капитал... А тебе, Никитыч, десять процентов.

Приказчик почтительно поклонился:

— Главное, тут спирт действует, — сказал деловито: — они от спирта шалеют.

— А ты чего напустил туда? Для крепости? — усмехнулся Долошников.

— Как всегда, махорки... Очень пользительно...— приказчик визгливо хихикнул. Его безбородое, как у скопца, пухлое лицо собралось в веселые

складочки. Когда складочки распустились, приказчик сказал озабоченно:

— Прикажите песцов, соболей и лисицу в сундучок кованый в головах нам на ночь поставить.

— Хорошо,— согласился Долошников и пошел в шатер:— Спать до чего охота...

Его широкая фигура скрылась за меховой занавеской. Приказчик полез было за ним.

Точно ледяная гора грохнула в море, в глухом воздухе тундры разорвался ружейный залп. Никитыч как-то смешно подогнул ноги и сел в снег. Потом ткнулся в него носом. Долошников выскочил из чума с наганом в руке. Со всех сторон к чуму бежали вооруженные люди.

— Никитыч! — крикнул Долошников и... споткнулся о труп приказчика. Наскочившие Джафар и Семенов схватили купца за руки и повалили.

Еще несколько выстрелов. И все стихло. Юраки, побросав оленей, бежали в тундру. Слуги Долошникова сдались.

Громов, Олѐ и Кѐнка подошли к Долошникову. Громов внимательно всмотрелся в его перекошенное смертным страхом лицо:

— Этот?

— Да, Долошников! — сказал Олѐ.

Громов поднял револьвер:

— Волею замученных, ограбленных тобой людей ты, Долошников, подлежишь расстрелу! Награбленное добро передаю через Олѐ и Кѐнку обратно ограбленным.

И выстрелил купцу в висок. Долошников беззвучно рухнул в снег.

XV

Отряд Громова отдыхал в Хатанге, в доме старого морского волка Тугичева. Набирался сил для дальнейшего пути.

— Как, капитан? — обратился Громов к Тугичеву: — Оленей мы у вас достанем и проводников?

— Достанете, — сказал Тугичев: — Да ни к чему все это. Пропадете. Гиблое ваше дело!

— Взялся за гуж, не говори, что не дюж! — упрямая складка легла на лбу Громова.

Было уже позднее утро. Но заря не занималась. Усталая луна уныло бродила по темному небу.

В окно домика миссионера Руслова постучали. Открыли не сразу. Внутри кто-то долго возился и прислушивался. Потом боязливый голос сказал:

— Кто это?

— Да отворяйте, чорт возьми! Я — капитан Нагурный.

Дверь сразу отворилась:

— Виноват, не разобрал кто...— кланяясь, об'яснил Руслов.

— Миссионер отец Руслов? — замороженным голосом проскрипел Нагурный. Около него и позади Руслов увидел вооруженных людей в инородческой одежде.

— Так точно! — Руслов опасливо посмотрел на спутников Нагурного.

— Не пугайтесь! — успокоил капитан: — это мои стрелки.

Они вошли в дом:

— Я наслышан о вас с наилучшей стороны, — продолжал Нагурный:— и рассчитываю на вашу помощь... Можете вы оказать содействие в поимке Громова? По справке, полученной из Дудинки, он здесь.

— Сочту своим долгом! — Руслов расплылся в любезной улыбке: — Прежде всего отрезать обоз... Там у них винтовки...

...На лавках, на оленьих шкурах, просто на полу спали гости Тугичева. Громова разбудил настойчивый стук в окно. Он толкнул Тугичева:

— Кто это может быть?

Тугичев глянул в окно:

— Руслов.

— Один?

— Один.

— Чего его леший гоняет?

Тугичев открыл. Руслов вошел и, задерживаясь в двери:

— Я тут на счет оленей... Вы говорили... и проводников... Я привел.

Что-то в нем, в его голосе и фигуре показалось Громову подозрительным:

— Семенов! Джафар! — крикнул он, хватаясь за револьвер.

Но в ту же минуту дверь распахнулась. В избу вскочили Нагурный и стрелки. Первыми выстрелами были убиты Громов и Семенов.

— Сдавайтесь! — крикнул Нагурный: — Всех на месте уложу!

Растерянные, ошарашенные со сна люди метались по комнате, искали револьверы. Домаховский выстрелил и ранил одного из стрелков. Нагурный нацелился и свалил Домаховского.

— Вин-тов-ки! — скомандовал своим.

— Сдавайтесь, товарищи! — крикнул Хазаринов: — Видите: безнадежно.

Все побросали револьверы.

— Ну, нет! шалишь, шутишь!

Джафар, стоя за печкой, навел наган на Нагурного. Нагурный покачнулся. Схватился за плечо:

— Бери его!

Стрелки, маневрируя под дулом нагана, двинулись на Джафара.

— Брось, Джафар! — начал было Тугичев: — Дело гиблое!

Джафар только сверкнул на него глазами. Один за другим грохнулись два стрелка...

...Когда подняли мертвого Джафара, его пустой револьвер точно врос в ладонь, между сведенных пальцев, так крепко, что его невозможно было вынуть.

Сказание старых времен

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью я смущен:
Давно не дает покою
Мне сказка старых времен.

Гейне-Блок.

I

Текли землянки и окопы,
как черная в снегах река,
как вся восточная Европа,
сквозь меховые облака.

Холмы,
слободки,
норки,
сучья
и оловянные поля
казались вдумчивей
и лучше
при мокром ветре февраля.

Он гнал[1]
с лопатами нацменов,
хлебофураж
и дождь взамен,
он гнал
дивизии на смену
из Брест-Литовска
в Сен-Кантен[2].
Он интендантов гнал на смену
и капельки дождя с дерев,
и порожняк

---

[1] Ранней весной 1918 г. немцы перешли в наступление на западном и восточных фронтах.

[2] Место жестоких боев на западном фронте.

под хлеб
и сено
из Сен-Кантена
в Тетерев[1].
И шел Эйхгорн[2], глухим распутьем,
где сто снегов,
свергаясь в ров,
пузырились слезинкой ртути
над пашней
четырех ветров,
где ты, Маруся,
жарким оком
грачей искала
день-деньской,
где твой еще не падал локон
в салфетки
парикмахерской,
где под семью замками
в скрыне
еще хранила ты кольцо,
где таял снег на Украине
и вишней встал в конце концов,
где пчелы замарали шубки
пыльцой янтарной,
где вдвойне
Ной Пустовит
грустил над шлюпкой
о взятом жите[3]
и весне.

II

Кресты над Днепром
и досада,
что поднят напрасно бекас.
Над склонами Царского сада
парчевый закат не погас.
Лежит он на главах горячих,
как розовый жир на воде,
кукушек случайные дачи
и пущу кармином задев.

---

[1] Станция по Ковельской ж. д.
[2] Ген. фельдмаршал фон-Эйхгорн — командующий киевским фронтом.
[3] За весну, лето и осень 1918 г. с Украины вывезено 113 421 тонна зерновых продуктов: муки, бобов, фуража и семян.

Повстанцы[1] на лодочке малой,
отчалив от синей земли,
поют.
И колеблются скалы
и вся Византия вдали.
Лежит пехотинец в осоке
от черных ракит на вершок.
Но где ж его орден высокий?
И где же его гребешок?
Не станет расчесывать гребнем
германец свои волоса:
на горло его
и на гребли
ночная слетает роса.
Качаются чайки на пене,
в плетушках журчит Черторой.
Я знаю,
что гибнут от пенья,
от полной весны
за кормой.

III

Пустовит песочный остров
веслами с разгону тронул,
раздвигал крыжовник острый,
пересчитывал патроны,—
целы патроны.
Вознесенье наступило.
Купола сияют жестью.
Он дарит Марусе милой
отнятый у немца крестик:
— Забирай крестик!
Вот и троица восходит
бурным барбарисом в небе.
Он дарит при всем народе
дивчине германский гребень:
— Нравится гребень?
Зноен день святого духа.
Рожь цветет.
В могучих мятах
одуванчиков желтуха.
Раскричались воронята
над самым ухом:

[1] Есть основание предполагать, что среди них был и Пустовит.

— посмотри на буераки,
и налево и направо
наступают гайдамаки
по курчавым, жирным травам —
всюду потравы.
И картофель розоватый,
и моркву на огороде
мнут германские гарматы
бугаев черкасских вроде,
жеребцов вроде.

Пустовит бежать пустился
голым бережком-подолом.
Сюда взглянет,
туда взглянет —
ножики штыков по долам,
каски по долам.

Побежал он к белым хатам
черной зеленью да синью —
хрипнут по садам косматым
огнедышущие свиньи,
и бегут свиньи.

Он — к Марусиному тыну,
он — к Марусиным воротам —
захватила казачину
сердюков высоких рота
и немцев рота.
— Добродию Пустовите,
где сховали вы рушницу?

— Поищите
в ясном жите,
в светлой, как вода, пшенице
мою рушницу!
— Добродию Пустовите,
где пасутся ваши кони?

— Там, где надо —
за левадой
у товарищей в загоне —
там мои кони!
— Добродию Пустовите,
где гуляют ваши дети?

— Жгут у пана
у гетмана
кованные скрыни в клетях, —
добрые дети!

В узких башмачках поручик
говорит тогда сердито:
— Порубайте, хлопцы, лучше
Добродия Пустовита —
злого бандита.
Сбейте голову казачью,
как с тычка — с тычины галку,
бросте голову казачью
тощим боровам на свалку,
сукам на свалку.

I лирическое отступление об Эйхгорне

«На фельдмаршала фон-Эйхгорна и его личного адъютанта капитана фон-Дресслера было в 2 часа дня по дороге из офицерского собрания на квартиру в непосредственной близости ее совершено бомбовое покушение человеком, подъезжавшим к ним на извозчике. Оба очень тяжело ранены...»

(Официальное сообщение герм. штаба. «Голос Киева» от 31/VII 1918 г.)

Задержанный назвался крестьянином Рязанской губернии Борисом Донским.

II лирическое отступление о перенесении тела Эйхгорна из его дворца на вокзал и о казни Донского.

Кримгильда — рыжая супруга,
оставь шитье,—
чадит смола над гробом друга
и воронье.

Твой Зигфрид в черной колеснице,
из влажных жил,
из розовых венков струится
могильный жир,

Убийством кончилась охота,
и вдоль зари
с добычей туш идет пехота,
трубят псари.

Идут баварцы и саксонцы —
весь гарнизон.
Штандарты пали сивым солнцем
на горизонт.

Голодных волкодавов глуше
хоралов гром.
Кримгильда, закрывая уши,
глядит на гроб.

Кримгильда думает о мести,
срывая плач.
На конской ярмарке в предместьи
стоит палач.
Он на помосте хорошеет.

Гремя доской,
под барабан
вставляет шею
в петлю
Донской.

IV

Ой ты ветер,
настоящей
трудной долею не хвастай,
ты лети,
лети
в Таращу,
в Бахмач,
в Кременчуг
и в Фастов.
(И занят Фастов.)
Собирай ты по дубравам
коши,
курени лихие,
наступай ты на Полтаву,
на Чернигов
и на Киев.
(Идут на Киев.)
Ой вы лебеди-рассветы
над могилой Пустовита,
отнесите в край Советов
сердце,
что песком прикрыто.
(Стучат копыта.)
Пусть оно лежит горячим
на серебряном подносе,

пусть
оно кричит
и плачет
горькой
иволгой
под осень.
(Кончается осень.)

V

Ах война, война — кабак,
русской горькой жаркий дых [1].
Тридцать гетманских гуляк
спят,
не ставя часовых.
Фастов, Бахмач, Кременчуг
не устали баловать,
гетман смотрит,
где бунчук,
где печать
и булава?
Гетман ходит по дворцу —
тонкий выбритый черкес.
Вышел он на улицу —
Киев в облаке
исчез.
Только
каплет с каланчи [2],
только
снег идет на юг.
Кто шатается в ночи —
вурдалак
или сердюк?
Призрак плачет:
— Черный пан,
у Жулян [3] не видно зги,
посмотри на мой жупан,
посмотри на сапоги.—
Френч варшавского сукна
в лоскутки разорван он,

[1] У Р. Гуля («Жизнь на фукса») упоминается о приказе первого главнокомандующего гетманскими и добровольческими дружинами ген. Келлера: «не можешь— не пей рюмки, можешь пить — дуй ведро...».
[2] Зима в этом году установилась только 11 декабря.
[3] Последняя станция перед Киевом по Ю.-З. ж. д.

на плече красней красна
вырезан
ножом
погон.
Ноги белые видны.
Призрак плачет:
— Черный пан,
я отнес в кабак войны
и ботфорты
и жупан.
И со мной в корчме ночей
пили тридцать панычей.
Гетман трубит полный сбор —
перед ним
в снегу
собор.
Тридцать гетманцев в гробах—
спирт [1] лиловый на губах.

VI

И стужа повисла ледком по усам,
по сурмам
и добрым бекешам.
Загоны топтались на месте,
а сам
Петлюра
был бледен
и спешен [2].
Хоругви
и звоны Софии неслись

---

[1] Маргарита, кто не пьян,
Болью балалаек?
Ночь над розами румян
сквозь крюшон пылает.
Ночь осыпала золой
золотые веки.
Говорят —
под Бирзулой
бьют Петлюру греки.
Говорят —
Нахичевань
занята Красновым.
Где ты будешь ночевать,
не в Москве ли снова?
Но сегодня черных риз
слишком беден вырез.
С острия ключиц повис
Твой озябший ирис.
Чернота плывет с окна.
Равны на рассвете —
прах
солдатского сукна,
прах
твоих косметик.
В кумаче Нахичевань.
Ржет мотор в гараже.
Где ты будешь ночевать —
ты не знаешь даже.

[2] Петлюровцы взяли Киев 14 декабря. 19 декабря Петлюра принимал парад. Была мятель.

над паром мерлушек
и шапок;
уставив мохнатые морды в высь,
смеялись селянские шкапы [1].
И всех занесло...

И не видел хотя,
зернистого шторма снежинок,
но подымался
в ночи
на локтях
печерский коричневый инок.
Он падал и полз
и глядел над собой
в пещерок
и выходов гущу,
встречая лампадой
лампас голубой
скрывающихся и бегущих [2]
И в черный мороз
без чикчир и рубах
сплошным пузырем серебристым
ложились под скальпель
отряды рубак —
отчаянные кавалеристы.
И всех занесло...

И сквозь рамы казарм
сугробы врывались весь вечер,
над топчанами
свистел их азарт,
он фирном садился на печи.
И в это же время,
громя рафинад,
в цивильном и бледнолицы
кацапы катились домой наугад,
на запад бежали австрийцы.
И все это плыло полями во мгле,
и зудом скучало,

---

[1] Кляча.

[2] Ходили слухи, что гетманцы прячутся в лаврских пещерах. Ген. Келлер скрывался в Михайловском монастыре. Его вывели оттуда ночью и расстреляли у памятника Богдану Хмельницкому. Труп был доставлен в анатомический покой военного госпиталя. («Свободные мысли»).

и вдвое
  разбухнув,
    валилось на глиняный хлеб,
      на ржавые корни и хвою.

Маруся, в салфетки косу уроня,
ушла из цырюльни.
В метели
над розовым паром
четыре коня,
четыре тулупа
взлетели.

VII

Были неженками раньше,
а теперь кожух с плеча —
гимнастерка атаманши
и в морозы горяча.

Пышут красным углем губы
в золотой зиме равнин.

«Побросали немцы шубы
и остался ты один.

    Далеко такие села,
    где сенник
    и печь с огнем,
    на разъезде невеселом

    мы полюбим
    и умрем».

Сердце черным снегом тает
у любовницы в руке.

Лейтенант не понимает
на угрюмом языке.

«И любовь и умиранье
здесь на родине моей,
в ледяной степи игранье
малых звезд
и ковылей.

Два патрона,
яд на случай,
падаль в мерзлом чебреце,
неожиданная туча
у Маруси
на лице».

К Киеву приближались части Красной армии.

Ник. Ушаков

Трубка

Он из кабины на̀ землю сошел
И посмотрел на голубые горы.
От вспышек газа желтый ореол
Еще венчал хрипящие моторы.

И он сказал: — Я — капитан Горветт,
Полет на юг сейчас предпринят мною,
Благодарю за искренний привет,
Три дня пути над вашею страною!

Был слышен шум размеренных шагов
И слышно было каждое дыханье...
Мы получаем часто от врагов
Достойное признания признанье.

Упругий ветер гнулся, как лоза̀,
Гремел на крыльях, стынущий и тяжкий,—
Гость вынул трубку и закрыл глаза,
Проглатывая синие затяжки.

В ушах еще шумел высот угар,
Кусты казались бурой влажной губкой.
Пилот шепнул начальнику: — Ангар,
Сожжет нас гость своей заморской трубкой!

Душистый дым и рвется и плывет...
Вдруг часовой, увидев трубку гостя,
Взял на руку и, сделав шаг вперед,
Сказал раздельно капитану: Бросьте!

И синий штык увидел капитан,
И ветер засвистел на фюзеляже...
Он разогнал синеющий туман
И отдал честь стоящему на страже.

Сергей Марков

Татуировка

Бродяжье, кочевое счастье
Причудой новой тешу я,
И вот — мерцает у запястья
Синеющая чешуя.

Где вен стучащие изгибы
Текут, как темная река,—
Плавник глубоководной рыбы
И три наклонных тростника.

Измазав рты бараньим жиром,
Пускай глотают теплый рис
Друзья из Западной Сибири,
С которыми я пью кумыс.

Они гордятся славным вздором —
Курганом, дедовским копьем,
И я хвалюсь своим узором,
Как всадник бешеным конем.

Гостям полынного базара
Дарю я знаки дальних стран —
Над белой степью Атбасара
Встает Великий Океан.

Сергей Марков.

* * *

Сам не знаю—с какого сглаза
На кочевьях горной страны
На коня не с той стороны
Я садился четыре раза.

Ездоки из племени Ту̀ба,
Все, кто другом меня назвал,
Хохотали, как горный обвал,
Раскрывая пыльные губы.

Только самый черный и старый,
Тверд и прям, что дверной засов,
Выбив дым из жестких усов,
Сыпал пепел на шаровары.

Подбоченясь в седле задорно,
Я насмешнику крикнул:—Лови!
Мне знакомы проделки любви! —
Трубку выбив, вымолвил Черный:

— Ведь любовь не знает устава,
Ездоки, что связались с ней,
Забывая взнуздать коней,
Часто в седла садятся справа!

Сергей Марков

Десять лет Версаля и «ликвидация войны»

Н. Корнев

Десятилетие Версаля совпало со стремлениями руководящих капиталистических стран приступить к «ликвидации войны». Иначе говоря, десять лет после основания версальской системы, определявшей политическое бытие современного капиталистического мира, этот капиталистический мир будто бы предпринимает попытку изжить те последствия версальской системы, которые предопределяют возникновение новых войн. Однако не следует полагать, что руководители буржуазных стран действительно на десятилетнем рубеже Версаля усмотрели те опасности, которые эта система уготовила всему человечеству, и хотят их предотвратить. Ликвидация войны на языке капиталистов обозначает стремление уничтожить те последствия версальской системы, которые предопределяют возможности поражения данной капиталистической страны в будущей мировой войне. Иначе говоря, ликвидируя некоторые настроения версальской системы, руководящие империалистические страны не хотят уничтожить войну, как таковую, а хотят лишь предпринять предохранительные меры, чтобы будущая империалистическая война закончилась для них победой.

За десятилетие, прошедшее со дня подписания Версальского договора до сегодняшнего дня, кануна новой «исторической» конференции европейских держав, было опубликовано неисчислимое количество материала о происхождении и содержании Версальского договора. Этот материал известен и советскому читателю, и мы к нему возвращаться не будем. Нас в настоящий момент интересует не столько история версальского договора, сколько тот факт, что самое последовательное выполнение его драконовских постановлений таит в себе неизбежность новой империалистической войны. Об'яснимся: известно, что каждый капиталистический мирный договор, который в потрясающем большинстве случаев основан не на соглашении между двумя сторонами, а на насилии победителя над побежденным, таит в себе опасность новых войн, поскольку побежденный впоследствии пытается освободиться от тяжелых для него постановлений данного «мирного» договора. Особенность действия Версальской системы в этом направлении, т. е. в установлении перманентной угрозы новой войны, заключается в том, что опасность войны возникает не потому, что побежденный хочет освободиться от навязанного ему договора, а потому, что он выполняет его и в самом процессе выполнения драконовских постановлений грабительского договора лишает победителя самых ценных плодов его победы. Приведем в пояснение одну только иллюстрацию: одно из основных требований Версальского договора есть обязательство Германии возместить победителям-союзникам все убытки, понесенные ими во время мировой войны. Германия обязалась платить победившим ее странам репарации — контрибуции. Германия по сегодняшний день самым добросовестным образом исполняла это навязанное ей обяза-

тельство. Для того, чтобы исполнить репарационные обязательства, она должна была изо всех сил форсировать развитие своей промышленности, развить свой вывоз за границу, чтобы доходами от этого вывоза иметь возможность аккуратно покрывать чудовищные репарационные требования союзников. Развитие промышленности, развитие экспорта, да еще к тому же в таких грандиозных размерах, какие необходимы ввиду миллиардных цифр германских репарационных обязательств, вынуждают Германию вести самую жестокую борьбу за рынки сбыта, и одновременно эти же репарационные тяготы заставляют ту же германскую промышленность любой ценой защищать свой внутренний рынок от вторжения иностранной промышленности. Между тем известно, что империалистические войны в первую очередь возникают в результате борьбы за сохранение старых и приобретение новых рынков сбыта. Таким образом, победители Германии, навязавшие ей репарационные постановления Версальского договора, заставляют ее, несмотря на то, что Германия честно исполняет и не думает уклоняться от исполнения Версальского договора, итти путем, который прямо ведет к истокам новой мировой войны. Такова диалектика империалистического процесса, приводящего к столкновению между капиталистическими странами на почве самого тщательного выполнения договора, навязанного победителем побежденному.

Таким образом, для установления того непреложного факта, что действие версальской системы неминуемо ведет к возникновению второй империалистической войны, совершенно достаточно указать на этот основной диалектический процесс, в корне расшатавший самую версальскую систему уже за первое десятилетие ее существования. Но логика капиталистического процесса, изменения экономического содержания империалистических стран таковы, что раз пущенная в действие версальская система неминуемо должна была произвести изменения в социальной и экономической структуре капиталистических стран. Эти изменения должны быть и были в действительности такого радикального свойства, что самое видоизменение экономического облика стран, входящих в состав версальской системы, неминуемо должно было вести к новому вооруженному столкновению, как сближение двух насыщенных электричеством лейденских банок автоматически дает разрядку. Об'яснимся опять: авторы Версальского договора, составляя этот новый завет капиталистического мира, исходили из предположения, что экономическое обличие стран, входящих в состав версальской системы, не изменится. Поэтому новые капиталистические евангелисты считали, что единственное, что может опрокинуть версальскую систему, это есть революционное восстание рабочего класса, колониальных и полуколониальных народов. Поэтому было естественно, что все внимание авторов Версальского договора было поглощено не столько размышлениями о том сопротивлении, которое мог оказать впоследствии постановлениям договора побежденный, не теми разногласиями, которые в будущем могли возникнуть из-за дележа добычи между победителями, сколько опасением, что версальская система имеет противника в лице Советской республики. Опубликованные за первое десятилетие Версаля воспоминания ближайших участников мирной конференции показывают, что главной злобой версальских недель и главной темой, хотя и не стоявшей официально на повестке дня версальской конференции, была интервенция в Советской России. Достаточно перелистать воспоминания английского маршала Вильсона или хотя бы книгу небезызвестного нам Черчиля, чтобы в этом убедиться. Дело в том, что авторы Версаля, естественно, должны были думать и вспомнить о том старом завете, который был некогда дан Венским конгрессом буржуазной Европе и был опрокинут революционным движением молодых буржуазных классов против феодально-аграрной реакции. По аналогии

авторы Версальского договора, конечно, опасались, что революционный пролетариат опрокинет версальскую систему Клемансо и Ллойд Джорджа так же, как революционная буржуазия опрокинула венскую систему Меттерниха. Но основная ошибка авторов Версальского договора заключалась в том, что они не предполагали, что революционное движение, направленное против версальской системы, будет перекрещиваться с изменениями экономического обличия самих версальских стран. Клемансо и Ллойд Джордж исходили из аксиомы, что современный капиталистический мир представляет собою последнее слово экономической науки и техники. Между тем, приведенная в движение версальская система чудовищно быстро, в течение одного только десятилетия, доказала противное.

Версальская система была основана на предпосылках того, что Германия есть страна аграрно-промышленная, Франция есть страна финансового капитала и т. д. Между тем, как мы уже видели выше, сама версальская система привела к преобразованию Германии в сугубо промышленную страну, вынужденную вести самую ожесточенную борьбу за рынки сбыта. Одновременно эта же версальская система подведением сырьевой базы и т. д. дала толчек развитию экономики Франции в направлении ее индустриализации самым бешеным темпом. Мы не можем здесь останавливаться на подробностях. Отметим лишь, что промышленное развитие Франции достигло уже к концу первого десятилетия версальской системы таких размеров, что актив ее экспортного баланса совершенно покрывал ту прореху в ее общем балансе, которая образовалась от того, что Франция вследствие мировой войны потеряла свое руководящее место на международном финансовом рынке. Даже неискушенному экономисту понятно, что взаимоотношения между побежденной Германией и победительницей Францией одного порядка, как долго первая страна носит промышленный, а вторая — финансовый характер, и совсем другого порядка взаимоотношения между этими обеими странами, когда обе они принадлежат к одному и тому же разряду крупных промышленных стран. На одном этом примере изменения экономического облика Франции становится понятным, что изменения экономического облика капиталистических стран на основе версальской системы после противоречий между теми же капиталистическими странами, вырастающими на основе точнейшего выполнения постановлений Версальского договора, является вторым моментом, предопределяющим неизбежность новой империалистической войны.

Нет никакого сомнения в том, что руководящая империалистическая страна Европы Англия давно осознала наличность этих двух моментов, предопределяющих новое вооруженное столкновение между капиталистическими странами. Совершенно понятно, что английские империалисты оказались бы недостойными исторических традиций своей дипломатии, если бы они не сумели использовать накопившуюся в Европе электрическую энергию в свою пользу. Понимая, что в руководящих европейских странах растет осознание того факта, что версальская система, чем последовательнее она применяется, тем неизбежнее заводит капиталистический мир в тупик, из которого один выход — война, английская дипломатия давно уже сделала попытку подсунуть европейским странам в качестве решения образование единого европейского фронта, направленного, с одной стороны, против Советского Союза, а с другой стороны (но это не значит, что в этом порядке устанавливается очередь борьбы) — против Америки. Поход против Советского Союза мог бы дать капиталистическому миру новый обширный рынок, который удовлетворил бы все враждующие между собой промышленные страны и этим на время ликвидировал бы те фатальные противоречия, которые, как мы видели выше, порождаются самим выполнением постановлений Вер-

сальского договора. Однако организация вооруженной интервенции против Советского Союза есть чрезвычайно опасное предприятие в эпоху обострения классовых противоречий именно в тех странах, которые являются необходимыми составными частями антисоветского блока, т. е. в Германии и Франции. Германская и французская буржуазия, знающие, что образование антисоветского блока может вызвать сопротивление революционного пролетариата, могут усмотреть в совете Англии — искать выхода из версальских противоречий в походе на Советский Союз — приблизительно то же самое, что может усмотреть запутавшийся в своих финансовых сделках банкир в совете покончить самоубийством. Поэтому совершенно естественно, что при подготовке атмосферы, благоприятной созданию единого европейского фронта, на первый план выдвигается не его антисоветский, а антиамериканский вариант.

Как и все великие политические проблемы, проблема единого европейского фронта против Америки детски примитивна. Финансирование мировой войны Америкой привело к тому, что европейские страны-победительницы оказались в неоплатном долгу у нее. С другой стороны, именно главным образом для оплаты этой своей военной задолженности союзники вынуждены требовать у Германии уплаты репараций и, таким образом, как мы видели, автоматически создавать себе опаснейшего конкурента на старых и новых рынках сбыта. Уничтожение союзной задолженности Америке почти автоматически уничтожает репарационную проблему, а вместе с ней, и одно из главных противоречий версальской системы. Это так просто, что английской дипломатии не приходится заниматься кружевной или конспиративной работой. Ей достаточно лишь поддерживать естественное течение событий.

Одним из симптомов того, что английская дипломатия стремится сыграть большую империалистическую игру на противоречиях, порожденных Версальским договором, является тот факт, что именно руководящая английская печать отнюдь не прославила десятилетие Версаля, как светлый праздник всего человечества, а скорее посвятила его подведению весьма мрачных итогов. Руководящий орган английской буржуазии «Таймс» напечатал в день десятилетия Версаля (28 июня) итоговую статью своего парижского корреспондента под заглавием «Десять лет спустя». Сотрудник «Таймса» исходит из весьма похвального соображения, что в версальскую годовщину тема «Десять лет спустя» куда занятнее, чем тема «Десять лет тому назад». Иначе говоря, он предается не столько сладостным воспоминаниям о том, что происходило десять лет тому назад в зеркальной галлерее Версальского дворца, сколько размышлениям на тему о том, что происходит в мире теперь, после того, как версальская система десять лет находится в действии. Он говорит: «Исходя из своего хорошего намерения сохранить мир всего мира, без которого погибла бы цивилизация, авторы Версальского договора подвергли Европу самой жестокой реорганизации, которую ей пришлось претерпеть со времени Вестфальского мира. Много государственных людей и философов пытались найти принцип, по которому можно было бы стабилизировать мир в Европе. Абсолютизм, гегемония, диктатура, «разделяй и властвуй», все теории сохранения мира старого Рима были последовательно испробованы, но действительность очень быстро самым позорным образом прекращала все эти мечтания. Теперь приходилось испробовать другой принцип, принцип самоопределения народов».

Как же был осуществлен в Версальском договоре принцип самоопределения народностей? На этот вопрос сотрудник старого империалистского органа отвечает словами одного из участников версальской конференции. Этот анонимный соавтор Версаля будто бы сказал: «Мир с настоящего мо-

мента есть продолжение войны другими методами». Другой участник Версаля опять-таки, по свидетельству сотрудника «Таймса», сказал: «Мы положили основание продолжительной и изнурительной войне». «Действительно, — продолжает сотрудник «Таймса»,— Версальский договор в своих 440 статьях собрал весь тот горючий материал, который необходим для вызова нового взрыва. Во имя самоопределения он подвергнул европейские границы ценой серии изменений в самом широком масштабе. Он возобновил старые этнологические и территориальные споры во всю длину германских границ. От Дании через Бельгию и Рейн до Саарской области и Эльзас-Лотарингии возникла новая «ирридента». Расчленение Австрии, восстановление Чехословакии, Верхняя Силезия, отделение Восточной Пруссии от Германии польским коридором, превращение Данцига в вольный город, Мемель, висящий в воздухе на границе восстановленной Литвы,— все это были устроения, которые немедленно попали в волны расовых страстей. Через всю карту Европы легла целая цепь старых и новых проблем, которые срочно требовали своего разрешения: Южный Тироль, Фиум, Далмацкие острова, будущее словенов, права на Трансильванию, Бессарабия, Буковина, — вот самые жгучие проблемы». Это, так сказать, территориальные опасности, порожденные, по мнению все того же империалистического журналиста, Версальским договором. Не мы, а сотрудник «Таймса» употребляет здесь термин: «Балканизация Европы». Но он говорит еще и о других последствиях Версальского договора: «Если одна большая нация страдала вследствие блокады, а другая вследствие разрушения своих лучших провинций, то третья страдала от разрушения своих лучших рынков, последствия которого были куда более значительны и страшны для ее народа, чем вооруженное нашествие (в этой третьей стране не трудно узнать Англию, потерявшую вследствие репарационных постановлений Версальского договора свой лучший рынок — Германию.— Н. К.). Репарации начали разрушать капиталы и денежное обращение должника и расчленять экономическую машину кредиторов».

Для чего сотрудник империалистической газеты рисует все эти страшные стороны Версальского договора? Конечно, не для того, чтобы теперь, 10 лет спустя после его подписания, осудить грабительский империалистический договор, навязанный побежденной Германии. Ему демонстрация всех этих последствий Версальского договора нужна только для того, чтобы затем доказать, что если Европа и спаслась, то исключительно благодаря Лиги Наций. Лига Наций есть, видите ли, спасительная форма об'единения Европы против «террористической» России и против «глухой к нуждам Европы» — Америки. Если бы не было Лиги Наций, т. е. если бы все европейские страны, победители и побежденные, не об'единились против угрожающих, очевидно, в одинаковой мере европейской цивилизации «террористов» на востоке и «глухих» за океаном, то, очевидно, давно на карте мира вместо Европы была бы мерзость запустения. Совершенно естественно, что в день десятилетия Версаля, традиционный орган английского империализма не находит достаточно благочестивых слов для того, чтобы проповедовать сотрудничество между странами и народами европейского континента.

Старый опыт изучения истории империалистических стран учит нас, что когда империалисты одной страны приглашают другие страны об'единиться с ними, то это делается отнюдь не во имя каких-либо отвлеченных понятий или интересов всего человечества, а во имя борьбы с кем-либо иным. Установление факта желания империалиста с кем-либо об'единиться, автоматически вызывает вопрос: против кого осуществляется данное об'единение? Ответ на этот вопрос на этот раз найти не трудно: английские империалисты предлагают Европе об'единиться, прежде всего, против Америки, у которой все европейские страны в долгу, как в шелку.

Выше мы уже указывали, что десятилетие Версаля отнюдь не случайно совпало с истерическими воплями со стороны капиталистических стран о необходимости ликвидации войны. «Ликвидация войны» есть термин, который впервые появляется в том историческом документе, который называется планом Юнга. План Юнга есть, как известно, результат трудов европейских и еще более американских банкиров, которые пытались в Париже на экономической базе разрешить узловой политический вопрос послеверсальского мира — репарационный. Английская дипломатия воспользовалась соответствующими настроениями, вызванными в Германии и во Франции действием противоречий Версальского договора, для того, чтобы путем разрешения репарационного вопроса создать основание для единого европейского блока, направленного против Америки. Этот блок автоматически, как мы уже раз отмечали, создавался, как только устанавливалась связь между репарационными платежами Германии и между союзническими долгами Америке. Настоящие хозяева Америки, ее банкиры во главе с Джиппи Морганом, поняли, какая опасность угрожает Америке и приняли свои меры. Они явились на репарационную конференцию и, пользуясь американской гегемонией на международных денежных рынках, навязали Европе свой репарационный банк. В этом репарационном банке американский капитал усматривает ту организацию, которая может форсированием сплетения интересов международного финансового капитала противодействовать попыткам образования единого антиамериканского блока. Борьба между Европой и Америкой, вернее борьба между Америкой и Англией, завязывается в этой финансовой организации, и исход неминуемого вооруженного столкновения в значительной мере зависит от того, чем кончится та прелюдия к настоящей войне с помощью пушек и ядовитых газов, которую будут вести банкиры с помощью фунтов и долларов.

Что английской пропаганде уже удалось создать в руководящих странах буржуазной Европы настроение против финансовой гегемонии Америки, явствует хотя бы из речи германского министра иностранных дел Штреземана, произнесенной им недавно в рейхстаге. Для того, чтобы оценить значение сказанного Штреземаном, следует вспомнить, что германская внешняя политика за последние 5 лет, т. е. с момента осуществления плана Дауэса, стоит под знаком попыток восстановления германской великодержавности с помощью выполнения версальских постановлений. Германская внешняя политика 5 лет последовательно и неукоснительно ищет соглашения с западными странами, в первую очередь для того, чтобы выйти на большую неоимпериалистическую дорогу. Как русский крепостной мужик уходил на отхожий промысел и там добывал себе деньги, чтобы затем купить вольную у своего помещика, так и Германия: германская буржуазия доводит до последней черты жизненный уровень своих широких масс, отдает значительную часть своей прибавочной стоимости буржуазии стран-победительниц для того, чтобы восстановить целиком и полностью независимость Германии. Германская буржуазия несла и готова еще и теперь нести за свой собственный счет, еще более за счет трудящихся масс, чудовищные финансовые жертвы для того, чтобы выйти из того тупика, в который ее загнал Версальский договор, на столбовую дорогу нео-империализма. Однако непременным условием успеха германской внешней политики есть выход ценой этих жертв действительно на путь независимой внешней политики. Иначе говоря, цель германской политики только тогда была бы достигнута, если бы после разрешения репарационного вопроса Германия получила бы возможность, как равная среди равных, как равноправная империалистическая страна, маневрировать между Англией и Францией. В стратегических и тактических расчетах германской внешней политики до последнего времени огромную роль

играло соображение о необходимости до получения свободы маневрирования, а в особенности после получения этой свободы, иметь возможность опираться на поддержку Америки. У германских нео-империалистов еще в прошлом году слюнки текли при одной мысли о том, что Германии, ввиду обострения противоречий между англо-французским блоком и Америкой, удастся стать в глазах Америки нужным партнером. Не приходится сомневаться в том, что нео-империалистическая германская буржуазия еще в прошлом году раскладывала пасьянсы и загадывала, выйдет или не выйдет у нее высоко-политическая сделка с Америкой. Именно с этой точки зрения германская буржуазия даже приветствовала вторжение американского капитала в германскую промышленность, несмотря на то, что, вообще говоря, самый факт вторжения иностранного капитала в отечественную промышленность был весьма прискорбным явлением. Германская буржуазия исходила из соображения, что ни о ком не печется так капиталист, как о том, кто ему должен, и никакой страной не интересуется так финансовый капитал, как той, где у него есть акции и облигации.

Репарационный вопрос как будто бы разрешен, и германская буржуазия как будто бы может приступить к осуществлению своих планов о союзе или сделке с Америкой. Между тем, не успели носители своих планов о союзе с Америкой износить своих башмаков, как ответственный руководитель германской внешней политики заявляет в рейхстаге: «Нет, мы не колония французов и англичан. Но мне кажется сомнительным, не находится ли вся Европа в опасности стать колонией тех, которые были счастливее нас». Счастливее Германии, Англии и Франции, очевидно, была Америка, нажившаяся на мировой войне. Стенографический отчет германского рейхстага отмечает здесь на скамьях правительственного большинства возгласы «совершенно правильно». И министр для того, чтобы его намек стал еще более понятным, продолжает: «Тот факт, что колонии об'единились, чтобы дать друг другу облегчение, потому что эти облегчения им не были даны с другой стороны (т. е. опять-таки со стороны Америки.— *Н. К.)*, этот факт нельзя удалить из истории парижских переговоров. И во второй речи, произнесенной по тому же поводу, т. е. по поводу плана Юнга в германском рейхстаге, Штреземан заявил: «Я верю, что придет время, когда французское, германское и, быть может, другие европейские народные хозяйства должны будут найти общие пути борьбы с конкуренцией, которая бьет по всем нам очень тяжело». Что случилось? Почему Германия, которая только что — этого факта никто отрицать не может — мечтала о союзе с Америкой против Англии и Франции, теперь рассматривает себя, равно как Англию и Францию, как американскую колонию, которая поднимает знамя восстания против своей «метрополии». На этот вопрос приходится тщательно искать ответа в германской печати. Но на него дает ответ известный французский публицист Альберт Мило в органе либеральной буржуазии «Эр нувелл» (от 26 июля). Вот что писал один из популярнейших французских внешнеполитических публицистов накануне десятилетия Версаля: «Большинство французских публицистов рассуждает весьма талантливо о той роли, которая предназначена по плану Юнга международному банку. Сегодня всякий вынужден себя спросить, не предназначена ли эта «международная» организация лучше служить распространению влияния Америки в Европе, чем интересам самой Европы». «Мы в сотый раз открываем Америку» — говорит французский журналист, отвечая на вопрос, чего хотят Соединенные штаты. «Меньше года спустя после подписания пакта Келлога, наивные люди начинают понимать, что если Соединенные штаты отказались от войны как орудия национальной политики, они не отказались ни от золота, ни от серебра как оружия национальной и международной политики. Американцы горячи

и смелы. Они находятся теперь в той стадии, в какой находились немцы между двумя войнами, между войной 1870 года и войной 1914 года: они хотят наложить свою руку на весь мир. Само собой разумеется, они не намереваются вступить в вооруженную войну, исход которой всегда сомнителен. Соединенные штаты искренни, когда они об'являют о своем намерении держать свой флот на одинаковом уровне с флотом Великобритании, и они одинаково искренни, когда они хотят вступить в соглашение с тремя другими великими морскими державами, чтобы стабилизировать нынешнее положение, которое им выгодно. В тот момент, когда они будут знать, что ничего им не может угрожать в виде войны, они знают, что они выиграли свою игру как в Азии, стране аграрной, так и в Европе, почти совершенно истощенной вследствие своей американской задолженности».

В дальнейшем, французский журналист пытается дать об'яснение причинам стремления Америки наложить свою руку на весь мир. Он говорит, что американцы хотят осуществить двойное чудо и заслужить одобрение своего рабочего класса, привыкшего к высокой зарплате и к почти буржуазной жизни, и одновременно пользоваться одобрением и поддержкой фермеров Западной Америки, которые хотят, чтобы самые большие внешние рынки стали доступны для продажи их сельскохозяйственных продуктов. Для того, чтобы американская промышленность могла продолжать делать из американского рабочего «привилегированного джентельмена», нужно, чтобы Соединенные штаты были герметически закрыты, чтобы в них не могли проникнуть иностранные промышленные продукты, а для того, чтобы фермеры оставались спокойными, необходимо, чтобы их урожаи не подвергались опасности иностранной конкуренции и чтобы они, кроме того, находили себе рынки за морем. По мнению французского журналиста, Соединенные штаты никогда не пошлют своего флота, никогда не высадят своих армий на территории Европы. Европе нечего бояться ни американских генералов, ни их адмиралов или проконсулов. Но американцы повсюду наложат ипотеку, и из этого стремления Америки французский журналист делает несколько неожиданный вывод. «Если,— говорит он,— американцы будут продолжать эту свою политику, то получится разделение мира, на привилегированные и пролетарские государства». Под последними Альберт Милю, конечно, понимает буржуазные государства Европы. Его статья кончается оригинальной фразой о том, что американцы рискуют перенести классовую борьбу из национальной жизни в международную дипломатию.

В этой новизне французского публициста и, в несколько смягченной форме, в речи германского министра иностранных дел о европейских колониях Америки слышится хорошо знакомая нам старина. На десятилетнем рубеже Версаля невольно вспоминаешь о том, что приблизительно в таких же выражениях союзная пресса говорила о прусском милитаризме, а германская печать об английском маринизме. Каждая из воюющих стран обвиняла другую воюющую страну в том, что она хочет подчинить целую страну, народ, при этом обязательно с древнейшей культурой, разрушить все божеские и человеческие установления для того, чтобы обеспечить привилегированное положение для небольшой социальной прослойки. Известно, что у Мольера бессмертный мещанин во дворянстве всю свою жизнь говорил прозой, не имея о том ни малейшего представления. Так и империалисты всего мира на крутых поворотах своей политики обыкновенно сами того не подозревая, начинают рассуждать марксистски или, во всяком случае, пускать пыль в глаза псевдо-марксистской терминологией. В утверждении германской печати накануне мировой войны и во время ее, что избиение миллионов людей и уничтожение миллиардных ценностей производятся во имя удержания уровня прибавочной стоимости той прослойки, которая является носитель-

ницей английского империализма, было столько же верного и справедливого, сколько в утверждении английской и французской печати, что с германской стороны война вызвана желанием добиться места под солнцем для той узкой прослойки германских промышленных баронов, которые являлись носителями германского империализма. Каждая из воюющих сторон умела облекать угрожающую привилегированной прослойке опасность в формы, при которых казалось, что эта угроза висит не только над небольшой империалистической прослойкой, а над целой страной и целым народом. Тогда уже говорили по все стороны баррикад, установленных мировой войной, о привилегированных странах и о тех странах, которые привилегированные страны хотят привести в «пролетарское» состояние.

То обстоятельство, что германский министр и французский публицист говорят о желании США пролетаризировать Европу для того, чтобы иметь возможность сохранить для американского рабочего положение привилегированного джентльмена, свидетельствует о том, что империалисты опять начинают говорить марксистской прозой. Конечно, есть доля истины в утверждении, что Америка стремится наложить свою руку на весь мир для того, чтобы сохранить за своим рабочим классом привилегированное положение. Доля истины заключается в том, что империалистические сверхприбыли позволяют держать заработную плату на сравнительно высоком уровне. Но это только часть истины, потому что империализм ищет беспрестанно все нового применения своим силам и возможностям отнюдь не во имя сохранения привилегированного положения своего рабочего класса. Империализм не имеет никаких социал-реформистских или филантропических замашек. Русские Морозовы и американские Карнеджи не для того выгоняли из своих рабочих миллионную прибавочную стоимость, чтобы строить музеи, библиотеки и театры, а строили эти музеи, библиотеки и театры из своих щедрот. Филантропические замашки или уступчивость по отношению к некоторым требованиям рабочего класса есть не самоцель или устремление успешного империализма, а лишь его сопроводительное явление. Но то обстоятельство, что французский публицист говорит об этом стремлении американского капитала, как о самоцели, доказывает, что здесь как будто бы найден новый лозунг для военной мобилизации широких масс мелкой буржуазии и отсталых отрядов рабочего класса Европы против Америки. Не Америка, как это утверждает французский публицист, хочет внести элементы классовой борьбы в международную дипломатию (такое предположение вызывает лишь улыбку на устах американских банкиров), а французский публицист, по своеобразному социально-политическому заказу Англии, хочет подстегнуть французских мелких буржуа и отсталые прослойки французского рабочего класса и сказать им: «Вы должны трудиться в поте лица своего для того, чтобы американский рабочий мог жить «привилегированным джентльменом». А германский министр иностранных дел говорит германским мелким буржуа и германским отсталым рабочим прослойкам: «Неправда, что вы рабы колониальные Англии и Франции, которым вы платите миллиардные контрибуции — репарации ежегодно. Вы — колония Америки. Поднимайте знамя восстания».

Ясно, стало быть, что английский империализм и его оруженосцы в континентальной Европе пользуются теми настроениями, которые вызывают в самый послеверсальской Европе диалектические противоречия этого беспримерного в истории человечества «мирного договора», чтобы подготовить атмосферу враждебности против Соединенных штатов Америки. Пройдет немного времени, и вся европейская печать начнет говорить о том, что в Америке собственно нет культуры, что там есть одна механическая, а никак не духовная культура истинной цивилизации. В тот момент, когда

к тому же европейская, а в особенности английская печать станет возмущаться варварскими судами линча в Америке над неграми, мы будем знать, что дело идет к началу вооруженной борьбы. Историю подготовки вооруженного столкновения между европейским блоком и Америкой, собственно говоря, так можно было бы и озаглавить «От плана Юнга до всемирного протеста против американского суда линча». Лозунг борьбы с засилием американского финансового капитала будет никак не хуже лозунга самоопределения народов и борьбы с прусским милитаризмом в мировую войну?

Остается еще рассмотреть, при чем тут именно в момент использования версальских противоречий для подготовки новой войны лозунг «ликвидации войны». Это не простое очковтирательство народных масс. Дело в том, что противоречия, вызванные Версальскими постановлениями и их выполнением, так велики, что они могут вызвать взрыв в самой Европе еще до того, как можно будет эти самые противоречия использовать для образования единого европейского фронта. Поэтому отдельные прослойки буржуазии европейских стран, в первую очередь Германии и Франции, действительно, стремятся достигнуть соглашения. Известную роль играет здесь, конечно, и сплетение интересов международного капитала. Интересы, например, французских и германских промышленников в Саарской области сплелись так, что здесь вследствие их общих усилий соглашение легче может быть достигнуто, чем вследствие полудесятка конференций партий II Интернационала, не говоря уже о переговорах заинтересованных правительств. Но основным моментом является все-таки стремление добиться и общего соглашения. В свое время огромное впечатление произвели статьи руководящей печати Франции, в том числе и известного публициста Жюля Зорвейна, говорившие о неизбежности германо-французского примирения, внешним признаком которого должна быть досрочная эвакуация Прирейнских провинций. Еще большее впечатление произвели статьи в экономической французской печати, требовавшие экономического соглашения между обеими европейскими державами. Дело в том, что Франция переживает в настоящий момент почти такой же переходной экономический период, что и Германия. Германия имела блестящую промышленную кон'юнктуру в связи с тем золотым дождем, который на нее пошел на заре дауэсовской стабилизации. Германская промышленность тогда быстро восстановилась, переоборудовалась и рационализировалсь. Проводником ее изделий на старые рынки, потерянные ею во время мировой войны, и на совершенно новые послужили репарационные поставки натурой. Эта блестящая кон'юнктура приходит или даже пришла в Германии к концу, и именно этим обстоятельством окончания блестящей кон'юнктуры и было вызвано в известной степени стремление Германии добиться соглашения с западными странами, приторговаться ценой экономических (репарационных) и политических уступок к новым рынкам сбыта, находящимся пока под контролем, победоносных союзных стран. Ту роль, которую в Германии сыграли репарации, во Франции сыграло восстановление разрушенных провинций и французская инфляция. Про Францию можно, действительно, сказать скалозубовскими словами, что всемирный пожар способствовал ее украшению. Т. е. не столько, конечно, ее украшению, сколько превращению ее в промышленную страну. Потеря финансовых вложений в ряде стран (Россия, Турция и т. д.) лишила Францию руководящего положения на всемирном финансовом рынке. Франция перестала быть всемирным ростовщиком, который живет без труда и без забот за счет процентов и купонов. Кроме того, у ростовщической Франции сгорела часть ее жилища: война разрушила ее северные промышленные провинции. Пришлось их в срочном порядке восстанавливать на со-

вершенно новой основе, основе современной техники и рационализации. Одновременно инфляция, обесценение французской валюты открыли французской промышленности доступ на мировые рынки. Французская промышленность развилась так быстро, что семь лет французский торговый баланс был активен,—невиданное явление за все время существования Франции. Но после этих семи библейских жирных лет Франции как будто бы угрожает семь голодных лет, т. е. семь лет дефицитного экспортного баланса. Первые пять месяцев текущего года дали дефицит по одному миллиарду франков в месяц, т. е. за один год Франция будет иметь экспортный дефицит в 12 миллиардов франков, или в два миллиарда рублей. При этом этот дефицит не покрывается доходами от капитальных вложений за границей, как до мировой войны, потому что своего старого положения на мировом денежном рынке Франция все еще не отвоевала и сомнительно, отвоюет ли. Между тем, диалектика Версаля такова, что промышленное развитие Франции, несмотря на то, что она победительница в мировой войне, находится в известной зависимости от побежденной Германии, т. е. в зависимости от того, будет ли Германия руководиться в направлении своих репарационных доставок интересами Франции или не будет. Уже по этой основной линии, поскольку в послевоенной Европе монополистского промышленного капитала внешняя политика всецело подчиняется его интересам и вожделениям, имеется возможность франко-германского соглашения. Уже одно это косвенное сплетение интересов германской и французской промышленности вместе с прямым сплетением интересов французских и германских промышленников (Саарская область, химическая промышленность, калиевая промышленность и т. д.) делает франко-германские соглашения неизбежными.

В этом смысле здесь, конечно, никакого очковтирательства нет. Но буржуазная дипломатия не была бы буржуазной дипломатией, если бы она все-таки не занималась обманом широких народных масс. На этот раз обман идет по очень своеобразной линии: обыкновенно очковтирательство буржуазной дипломатии заключается в том, что изображается там, где готовится война, возможность соглашения. Вспомним посещение Берлина английским лордом Хольденом. Это посещение было легковерными современниками истолковано, как признак намечающегося англо-германского соглашения, и только последующие историки имели возможность определить этот жест английского либерального правительства как одну из подготовительных мер к мировой войне. Кто знает, не будет ли подобное же рассхождение между современниками и историками относительно попытки Макдональда договориться с Соединенными штатами? Но между Германией и Францией речь идет действительно о соглашении, для которого даны все предпосылки. Разрешен репарационный вопрос, еще раньше разрешен был и исторический вопрос Версаля, вопрос о безопасности Франции (соглашение в Локарно). Нет никаких оснований для того, чтобы соглашение не состоялось. И оно действительно состоится. И очковтирательство заключается в том, что на этот раз чрезмерно преувеличиваются трудности предстоящего соглашения для того, чтобы повысить его ценность перед широкими народными массами. А повышение ценности предстоящего соглашения нужно, конечно, для доказательства наличности эры «ликвидации войны». Да, действительно, налицо ликвидация некоторых пережитков Версаля, но, как мы уже говорили вначале, именно тех пережитков, которые мешают империалистическим державам Европы организовать победу над будущим противником в новой всемирной войне.

Подведем некоторые итоги. Мы утверждаем, что на десятилетнем рубеже Версаля, выпукло вырисовались все те его противоречия, которые

ведут неминуемо к падению всей версальской системы, как таковой. С этой точки зрения была, несомненно, правильна та точка зрения германской буржуазии, которая гласила, что следует изгонять дьявола Вельзевулом, следует добиваться падения Версальского договора его точным исполнением. Но германская буржуазия при этом, однако, проглядела или делает вид, что проглядела (как об этом свидетельствует речь Штреземана в рейхстаге), что такое выхолащивание версальской системы ее точным применением на практике совершенно изменившей свое экономическое обличие Европы неминуемо ведет к новой войне. Из побежденного должника англо-французского блока Германия превратилась только в оруженосца этого же самого блока. Это уж действительно значит променять шило на швайку, если не хуже.

На десятилетнем же рубеже Версаля вырисовались стремления некоторых европейских держав использовать наметившиеся версальские противоречия для того, чтобы с помощью их электрической энергии пустить в ход ту механику, которая должна подготовить вооруженное столкновение с Америкой. Параллельно, неизбежная необходимость ликвидации тех версальских противоречий, которая может привести к краху всей системы еще до того, как накопившуюся энергию можно будет использовать для новой войны, изображается, как «ликвидация войны» во имя уловления душ и мозгов мелкой буржуазии и отсталых прослоек рабочего класса.

Нарисованная нами картина использования противоречий, оставшихся от мирного договора первой мировой войны для подготовки новой мировой войны, была бы неполна, если бы мы еще не отметили, что эта пресловутая «ликвидация войны» на десятилетнем рубеже Версаля проводится руководящими капиталистическими странами еще и из внутриполитических соображений. Капиталистическое хозяйство есть большое хозяйство, и в нем не то, что всякая веревочка, но даже и пацифистская идейка пригодится, как бы дрянненька она ни была. Не надо забывать, что мы живем теперь в Европе в эпоху обострения классовой борьбы. Обострилась она до последней степени и в Германии и во Франции. Борьба между переживающей остатки стабилизационного периода буржуазией и революционным пролетариатом приняла именно накануне версальского десятилетия в Берлине формы вооруженного восстания. При таком положении обострения на внутриполитическом фронте буржуазии необходима, конечно, видимость замирения на внешнеполитическом фронте. Чем острее становится классовая борьба внутри страны, чем сильнее трещит по всем швам хваленая стабилизация и любимица социал-соглашателей «хозяйственная демократия», тем громче надо кричать о «ликвидации войны» на внешнеполитическом фронте для того, чтобы успокоить те взволнованные массы, которые еще не проникнуты революционным сознанием, которые и не мечтают о превращении будущей капиталистической войны в войну гражданскую, а которые готовы простить буржуазной власти все ее внутриполитические и социальные прегрешения, лишь бы она только оберегла их от новой кровавой бойни. Не приходится, конечно, и говорить, что в этом уже настоящем очковтирательстве капиталистической дипломатии социал-демократы всех стран играют руководящую роль. Если и правильно — мы это выше отметили, — что первыми бросили словцо о «ликвидации войны» американские банкиры для своих специфических нужд, то никто не подхватил этот лозунг так кликушечьи-визгливо, как социал-соглашатели всех стран и всех мастей. Надо сказать, что они были, собственно говоря, и единственные во всем мире, кто праздновал десятилетний рубеж Версаля, как момент освобождения всего человечества от угрозы новой кровавой бойни. То, что не дано было, как мы видели, империалистическому зубру «Таймсу», то дано было «Фор-

вертсу» или его французским или австро-марсистским сородичам. Как гоголевский городничий, празднуют они свои именины и на Антона и на Онуфрия и усматривают начало пацифистской эры и при подписании Брестского мира, и при подписании Версальского мира, и при «ликвидации войны» в десятилетие последнего, про которую даже империалистические органы печати говорят, что она больше смахивает на подготовку новой, чем на действительную ликвидацию старой войны.

Как бы то ни было, на десятилетнем своем рубеже версальский период европейской истории кончился. Нетрудно сказать, как придется назвать последующий период, период подготовки новой войны путем ликвидации противоречий, порожденных старой войной. Быть может, уже предстоящая международная конференция, которая даст политическое оформление плану Юнга и таким образом автоматически должна будет наметить пути соглашения между руководящими странами Европы, даст ответ на все вопросы текущего политического момента. Но при сопоставлении этой международной конференции соглашения европейских стран с десятилетним рубежом Версаля становится ясно, почему не было особого торжества и песнопений в лагере победителей, почему не было печальных завываний в лагере побежденных. Довлеет дневи злоба его. В европейском лагере нет уже больше победителей и побежденных. Есть только будущие союзники. Нет времени заниматься воспоминаниями о прошлой исторической драке, когда надо уже наспех ликвидировать старые счеты, чтобы вовремя подготовиться к новой кровавой драке все за то же хваленое место под солнцем.

Международное обозрение

Обсервер

1. Первые шаги Макдональда

Хотя давать оценку деятельности кабинета Макдональда пока еще, конечно, преждевременно, первые шаги второго «рабочего правительства» Англии заслуживают все-таки некоторых кратких комментариев.

Начнем с возраста и состава кабинета.

В кабинет входит 19 человек, — из них самый младший, министр здравоохранения Гринвуд, имеет 48 лет от роду. Но Гринвуд исключение. Подавляющее большинство министров находится в гораздо более «зрелом» возрасте: Макдональду 63 года, Сноудену 64, Гендерсону 65, Кляйнсу 63, Сиднею Веббу и Ленсбери — по 70, лорду Пармуру — 77. Даже учитывая «молодость» Томаса и Маргариты Бондфильд (обоим по 56 лет), *средний возраст «рабочего министра» все-таки придется определить никак не менее 60 лет.* Конечно, англичане — народ двужильный и, когда в Лондоне умирает человек в возрасте лорда Пармура, то газеты пишут обычно о его «безвременной кончине», однако «рабочий министр» в 60 лет — это уже само по себе достаточно красочная программа.

Впрочем, дело не только в возрасте. Когда просматриваешь список членов кабинета, а также имена всех прочих министров и товарищей министров, в глаза ярко бьет редкая однородность их состава: все они относятся к числу *правых и правейших в лагере Рабочей партии.* Все они принадлежат к знаменитому ордену «постепеновцев», рассчитывающих на осуществление социализма в порядке мелких незаметных реформ лет этак через 200—300, а то и больше. Их главным теоретиком является известный Сидней Вебб, творец и душа «Фабианского общества», ныне ставший министром колоний и обладателем титула лорда Пасфильда. Общий ансамбль отнюдь не портит присутствие в кабинете двух левых либералов — министра юстиции Санки и генерального прокурора Джовита, на другой день после выборов перекинувшегося из либерального лагеря в рабочий. Несколько странную фигуру на этом общем фоне представляет министр общественных работ Джордж Ленсбери, когда-то бунтарь против Макдональда и Сноудена и еще совсем недавно считавшийся одним из самых популярных лидеров «левого» крыла Рабочей партии. Но годы и обстоятельства делают свое дело. Радикализм Ленсбери, всегда сильно отдававший своеобразной смесью из синдикализма и христианства, выветрился, поблек и приспособился к все усиливающемуся правому курсу профсоюзной и партийной бюрократии. И сейчас Ленсбери совсем не кажется каким-то инородным телом в кабинете Макдональда. Наборот, без него этому кабинету чего-то недоставало бы.

Буржуазная Англия по достоинству оценила приход нового правительства. Биржа осталась спокойной, и Сити как ни в чем не бывало продол-

жало заниматься своей работой. Капиталистическая пресса, точно сговорившись, единодушно приветствовала Макдональда. Консервативный «Таймс» в номере от 8 июня писал, что Макдональду удалось составить «наилучший кабинет, какой только мог быть сформирован для того, чтобы вести разумную и умеренную политику. Этот кабинет, очевидно, является началом нового режима в Рабочей партии, что при нынешних обстоятельствах заслуживает всякого сочувствия». Другой консервативный орган «Дейли Телеграф» в тот же день писал, что новое правительство не должно «вызывать никакого беспокойства». Даже черносотенная «Морнинг Пост» характеризовала кабинет Макдональда как правительство, лозунгом которого является болдуиновское: «безопасность прежде всего». Если так отзывались о «рабочем правительстве» консервативные газеты, то что же сказать о либеральных? «Манчестер Гардиан», наиболее серьезный и принципиальный орган английского либерализма, давая оценку новому правительству, просто заявлял:

«Это, конечно, более сильная и лучше слаженная команда, чем команда 1924 года. В ней больше интеллектуальных и практических способностей. Она блещет изобилием силы и таланта. В ее композиции чувствуется меньше неизбежных уступок старым заслугам и партийному стажу... Ни об одном из назначений нельзя определенно сказать, что оно неудачно. О некоторых назначениях в худшем случае можно сказать только то, что требуется время и испытание для произнесения по поводу них окончательного суждения» [1].

В свою очередь, известный лондонский еженедельник «Экономист» в передовой, посвященной новому кабинету, писал, что правительство «составлено главным образом из представителей старой гвардии, на которых можно вполне положиться в том, что они не станут заниматься утопическими экспериментами в области законодательства». Далее «Экономист» заявлял, то состав кабинета «обещает здоровое и уравновешенное правительство» и что оно приступает к своей работе при самых благоприятных предзнаменованиях.

Радость буржуазии оказалась не напрасной. 2 июля во вновь избранном парламенте была прочитана тронная речь, по установившейся традиции всегда являющаяся программой деятельности правительства на ближайшую сессию. Тронная речь составляется кабинетом и лишь формально санкционируется королем.

О чем же говорит тронная речь «рабочего правительства»?

Тронная речь состоит из одной надежды (на скорое сокращение вооружений), 6 «рассмотрений» (плана Юнга, условий возобновления отношений с СССР, мер по борьбе с безработицей, шагов по усилению эмиграции из Англии в другие части империи, проектов реорганизации угольной промышленности, разрешения споров между нациями при помощи международного суда), 5 обследований с помощью специальных королевских комиссий (текстильной промышленности, металлургического производства, торговли алкоголем, социального страхования и избирательного права), 4 обещаний (борьбы с жилищной нуждой, реформы закона о страховании вдов и сирот, некоторых изменений фабричного законодательства, пересмотра законов 1927 г. о стачках и профессиональных союзах) и только 1 подлинного решения (ратифицировать Вашингтонскую конференцию о 8-часовом рабочем дне). Прав был Болдуин, который, выступая в палате общин, заявил, что суть тронной речи сводится к одной короткой фразе: «мои министры собираются думать».

Да, кабинет Макдональда собирается думать... серьезно думать о том, как бы ему поудобнее увернуться от точного выполнения своих же собствен-

[1] «Manchester Guardian» от 8 июня 1929.

ных избирательных обещаний. И потому тронная речь с начала до конца состоит из подозрительно неопределенных и туманно расплывчатых фраз. Приведем несколько наиболее характерных примеров.

Вот, например, реакционные акты 1927 г., изданные консервативным правительством после всеобщей стачки и борьбы горняков. Широкие массы пролетариата относятся к ним ненавистью. Рабочая партия на выборах обязалась их немедленно по приходе к власти отменить. А тронная речь лишь уклончиво заявляет, что «будут приняты меры для исправления положения, созданного законами 1927 года о стачках и профессиональных союзах». Что означает это уклончивое выражение? Что именно собирается сделать правительство? Какие меры будут приняты? Предполагается ли названные законы совсем отменить или же только частично переработать? Ответа нет. Рядовому избирателю предоставляется без конца теряться в догадках.

Или другой вопрос — об угольной промышленности. Рабочие массы требуют национализации копей и отмены изданного в 1926 г. закона о 8-часовом рабочем дне под землей. Рабочая партия на выборах обязалась сделать и то, и другое. А между тем в тронной речи этот острый вопрос преподносится в такой каучуковой формулировке: «правительство рассматривает предложения о реорганизации угольной промышленности, включая вопрос о рабочем дне и о других факторах, а также и о праве собственности на минеральные богатства». Какой мудрец сумеет разгадать, что в действительности предполагает сделать Макдональд?

Дебаты, сопровождавшие тронную речь в парламенте, не только не ослабили, а, наоборот, усилили вызванное речью неблагоприятное впечатление. Приведем опять-таки некоторые любопытные примеры.

Во-первых, вопрос о безработице. Тронная речь содержит по этому величайшей важности вопросу лишь неопределенное заявление правительства о том, что оно подготовляет «планы, обеспечивающие улучшение путей сообщения, поощрение экспортной торговли, экономическое развитие колоний, улучшение сельского хозяйства и рыбопромышленности, а также облегчение сбыта продуктов земледелия и рыболовства». Естественно, что со стороны оппозиции, особенно со стороны либералов, последовали вопросы о том, какое же именно содержание вкладывает правительство в только-что приведенную формулу? В ответ «министр безработицы» Томас произнес большую речь, в которой он изложил планы правительства по этому кардинальному вопросу. И что же оказалось? Томас предполагает истратить в течение ближайших 6 лет 45 миллионов фунтов (около 450 млн. рублей) на постройку железных дорог, заменить импортируемые из-за границы деревянные шпалы и телеграфные столбы железными шпалами и столбами, производимыми в Англии, перекинуть в Лондоне через Темзу еще один мост, расширить сферу применения закона об экспортных кредитах, создать специальный фонд в 1 миллион фунтов в год на развитие колоний и, наконец, заняться проблемой эмиграции. Вот и все. Какое жалкое крохоборство! Какое полное отсутствие творческой мысли!

С полным правом Ллойд Джордж заявил, что он глубоко разочарован выступлением Томаса, ибо по столь важному вопросу от правительства можно было бы ожидать «гораздо более смелой политики». Еще бы! Когда в феврале текущего года Ллойд Джордж опубликовал свой нашумевший план по борьбе с безработицей, у него была цельная и законченная схема, не лишенная широкого размаха и практического значения. Ллойд Джордж предлагал истратить в течение двух лет 200 миллионов фунтов, полученных в порядке правительственного займа, на целый ряд важнейших работ по постройке дорог, электрификации страны, осушению болот и т. д. Таким путем он рассчитывал сразу сократить вдвое число безработных. Конечно, для Ллойд

Джорджа весь этот проект играл лишь роль наживки, на которую он хотел поймать рабочего избирателя, но во всяком случае выдвинутый им план носил черты серьезной, хорошо продуманной и остроумной работы. По сравнению с ним откровения Томаса являются детским лепетом, только еще ярче обнаруживающим полное бессилие «рабочего правительства» в борьбе с коренным недугом современной Англии.

Во-вторых, вопрос о признании СССР. В тронной речи весьма двусмысленно говорилось, что правительство «изучает условия, на которых могут быть возобновлены дипломатические отношения» с нашей страной. В прениях в палате общин и Макдональд, и Гендерсон несколько детализировали вопрос об «условиях». И что же оказалось? Оказалось, что они базируются при этом на памятной ноте мошенника Грегори по поводу пресловутого «письма Зиновьева», ноте, впоследствии дезавуированной самим Макдональдом. В ноте же этой заявлялось, что «ни одно правительство не потерпит такого порядка, при котором иностранное правительство находится в правильных дипломатических отношениях, а в то же время пропагандистская организация, с этим иностранным правительством органически связанная (имеется в виду Коминтерн), поощряет и даже повелевает подданным первого правительства составлять заговоры к его ниспровержению». Куда же дальше? В каком резком контрасте с этими поразительными заявлениями «рабочих министров» находится позиция либерального «Манчестер Гардиан», который писал, что было бы «несправедливым и не политичным» в качестве предпосылки возобновления дипломатических отношений требовать от советского правительства «обещания не вмешиваться в наши домашние дела». Указав далее, что «в конце концов, сбор денег для детей рабочих, бастующих из-за низкой заработной платы и длинного рабочего дня, вовсе не является уже таким преступлением» (намек на помощь английским горнякам в 1926 г.), газета добавляла, что вообще вопрос о «вмешательстве» не следует выпячивать вперед, и что, если бы случаи такого «вмешательства» в дальнейшем имели место, то каждый из них нужно было бы рассматривать в отдельности [1].

И вот, когда подводишь итоги этому первому большому программному выступлению кабинета Макдональда, то невольно приходишь к выводу, что все оно проникнуто духом старческого маразма и истинно-заячьей трусости. В тронной речи 2 июля нет не только ни грана социализма, — в ней нет даже ни малейшего намека на сколько-нибудь крепкий и здоровый буржуазный радикализм. Выступления Асквита и Ллойд-Джорджа в предвоенные годы, в эпоху борьбы за демократический бюджет и ограничение прав палаты лордов, кажутся истинно революционными по сравнению с той пресной молочной водичкой, которой забавляется сейчас второе «рабочее правительство». Оно, это «рабочее правительство», с необыкновенной яркостью иллюстрирует ту уже не раз высказывавшуюся мысль, что Рабочая партия наших дней в сущности превратилась в т р е т ь ю п а р т и ю б у р ж у а з и и, заменяя собой явно вымирающий на наших глазах старо-английский либерализм.

Нам едва ли нужно доказывать, что тронная речь вызвала вздох облегчения в Сити и была весьма дружественно встречена всей буржуазной прессой Англии. Достаточно отметить, что «Таймс» с удовлетворением констатировал готовность Рабочей партии в большинстве вопросов «продолжать или не нарушать политику правительства Болдуина», а «Дейли Телеграф» характеризовал тронную речь, как «безусловно не социалистическую» и свидетельствующую о том, что «Макдональд более склонен к тому, чтобы

[1] «Manchester Guardian» от 15 июня 1929.

оставаться у власти, чем к тому, чтобы двигать социализм». В свою очередь «Манчестер Гардиан» с одобрением заявлял, что тронная речь избрала «здоровую середину между риторической декламацией и прозаическим каталогом вносимых законопроектов», а «Экономист» признал ее вполне «удовлетворительной», хотя и несколько излишне туманной. Тот же орган не без облегчения констатировал, что теперь «страна может с достаточным основанием рассчитывать на отсутствие в ближайшем будущем политических потрясений» [1].

Мы не сомневаемся, что не только английская буржуазия, но и правительство Макдональда больше всего боятся каких-либо «политических потрясений». Мы не сомневаемся также, что «рабочие министры» приложат все свое соглашательское искусство для того, чтобы обеспечить себе возможно более долгое пребывание у власти. Однако справедливость требует сказать, что они делают свои расчеты без хозяина.

Этим хозяином являются, конечно, не те «левые» в роде Макстона, Феннер Брокуэя, Уитли и других, которые при обсуждении тронной речи сделали красивый жест, внеся к ней поправку, требующую национализации источников экономической мощи, а именно, банковского дела, ввоза продовольствия и сырья, транспорта и земли. «Левые» дальше театральных, но довольно безвредных декламаций не пойдут. Настоящий хозяин, от которого все зависит, — это широкие массы пролетариата. А с ними дело обстоит для Макдональда не слишком благополучно.

В текстильной промышленности предприниматели решили сократить заработную плату на 13%. Рабочие отказались санкционировать эту меру. Конфликт налицо, и правительство ищет хотя бы временного выхода из трудного положения в назначении королевской комиссии для обследования положения текстильного производства.

В угольной промышленности в конце текущего года предстоит возобновление коллективных договоров, навязанных горнякам после поражения 1926 г. Конечно, горняки потребуют их изменения в лучшую сторону. Далее, горняки ждут от правительства восстановления 7-часового рабочего дня и национализации копей. Макдональд пытается успокоить углекопов туманной фразеологией тронной речи. Лидеры горняков во главе с Куком и Гербертом Смитом прилагают героические усилия к тому, чтобы удержать свою массу от каких-либо резких выступлений. И пока эти меры действуют.

Железнодорожники, портовые рабочие, металлисты тоже начинают шевелиться, начинают всерьез ставить вопрос об улучшении условий труда. Профсоюзная бюрократия всячески сдерживает их настроение, настойчиво рекомендует терпение, выдержку и умеренность. И здесь пока уговоры соглашателей действуют.

Долго ли, однако, это сможет продолжаться?

Конечно, нет. Рабочие массы Англии еще полны конституционных иллюзий. Они выбирали рабочих депутатов в наивной уверенности, что правительство Макдональда даст им быстрые и вполне реальные улучшения. Но правительство Макдональда имеет очень мало желания платить полняком по своим векселям. Что же дальше? — Совершенно очевидно, что настроение рабочих масс уже в самом недалеком будущем должно будет резко измениться, тем более, что британская компартия вела и продолжает упорно вести свою классово-просветительную работу.

Разумеется, Макдональд будет стараться маневрировать и пускать рабочим массам пыль в глаза. Он будет доказывать, что, не имея собственного большинства в парламенте, он вынужден быть умеренным и осторожным.

---

1 «Economist» от 6 июля 1929.

Он будет всемерно оттягивать, с помощью различных комиссий и обследований, неизбежность разрешения наболевших вопросов. Он будет создавать невероятный шум около своих внешнеполитических выступлений в роде переговоров с Америкой или пацифистских дискуссий в Лиге наций, стараясь убедить рабочих, что тем самым он двигает вперед дело мира и разоружения. Весьма вероятно, что буржуазные партии, особенно либералы, будут до известной степени щадить Макдональда и тем самым давать ему возможность «править» страной, потому что перед английским капитализмом во весь рост стоит сейчас проблема рационализации, и фабриканты и заводчики предпочитают провести эту болезненную операцию не своими руками, а руками Томасов и Гендерсонов. Все это вместе взятое может на некоторое время укрепить «рабочее правительство». Но неизбежное все-таки должно совершиться. Хозяин — английский пролетариат — несомненно скоро своей тяжелой рукой разобьет ту куцую соглашательскую идиллию, которой сейчас так упиваются Макдональд и его коллеги.

2. Репарационный узел

Если окинуть одним общим взглядом весь послевоенный период, то в сфере репарационного вопроса можно отметить две существенно отличающиеся друг от друга «пятилетки».

1919—24 гг. — период беспардонно-анархического грабежа Германии победителями, мало задумывавшимися над последствиями своих действий, по известному принципу: после нас хоть потоп.

1924—29 гг. — период так называемого плана Дауэса, знаменующего собой эпоху более осторожного и нормализованного грабежа Германии по принципу: не следует резать курицу, несущую золотые яйца.

Сейчас мы присутствуем при начале третьего периода, характер и смысл которого подробнее будет очерчен ниже. Но прежде чем приступить к изложению основных линий недавно выработанного парижской конференцией экспертов семи держав (Англии, Франции, Бельгии, Италии, Японии, Германии и Соед. Штатов) плана Юнга, пришедшего на смену плану Дауэса, нам необходимо вкратце остановиться на событиях двух минувших «пятилеток».

Первая «пятилетка» германских репараций, примыкавшая непосредственно к моменту ликвидации войны, обошлась Германии чрезвычайно дорого. Сразу же после заключения перемирия началось бешеное и безудержное ограбление Германии. Победители тащили оттуда все, что только было можно: военные и торговые суда, паровозы и вагоны, железнодорожные материалы, фабрики и заводы, копи, химические товары, уголь, золото и многое другое. О том, во сколько миллиардов марок оценивались эти первые «репарации», до сих пор еще идут незаконченные споры. Нам кажется, однако, что довольно близко подходят к истине исчисления, сделанные известным мюнхенским профессором Луйо Брентано. В специальной работе он установил, что по начало 1923 г. Германия в разных формах уплатила союзникам круглым счетом 42 млрд. золотых марок. К этой сумме Брентано прибавлял еще 14 миллиардов марок, составлявших расходы страны, вызванные разоружением промышленности, содержанием оккупационных войск, потерями имущества на фронтах и т. д. — в итоге, таким образом, уплатить 56 млрд. золотых марок, т. е. около $^{1}/_{6}$ своего предвоенного национального богатства.

Этим однако победители не удовлетворились. Целый ряд совещаний и конференций союзников занимался решением новейшей квадратуры круга,

а именно вопроса о том, сколько вообще Германия должна уплатить своим врагам в качестве компенсаций за причиненные им войной потери. Первоначально исчисления союзных экспертов носили совершенно фантастический характер. Так, например, Брюссельская конференция в декабре 1920 г. приняла цифру 269 млрд. золотых марок, или без малого всю сумму национальнго богатства предвоенной Германии (оценивалось примерно в 300 млрд. золотых марок). В дальнейшем эта цифра подверглась различным сокращениям и в конце концов, в лондонском ультиматуме 1921 г. была фиксирована в размере 132 млрд. золотых марок, не включая сюда однако сделанных до того платежей, т. е. большей части тех 56 млрд. марок, о которых говорит Брентано. Установив однако общую сумму «репараций», союзники не потрудились выработать определенного модуса их ежегодной уплаты. Вплоть до 1924 г. в этой области господствовал полный хаос. К Германии в «ударном порядке» пред'являлись различные требования, и Германия вынуждена была под угрозой союзных штыков их удовлетворять в счет окончательного расчета по репарациям [1].

Последствия описанного выше грабежа Германии хорошо известны. Полное обесценение немецкой валюты, величайшее расстройство промышленного, торгового и финансового аппаратов страны, беспримерное обострение классовых противоречий и, как вывод отсюда, ясно обозначившиеся контуры пролетарской революции на горизонте, — вот к чему сводился итог первой «пятилетки» в репарационном вопросе.

Союзная буржуазия увидала, что продолжать дальше ту же политику значит вести чрезвычайно рискованную игру с огнем. Если грабеж Германии должен был продолжаться и в последующем, необходимо было ввести его в известные берега и придать ему некоторые черты внешней закономерности. Пуще всего необходимо было стабилизовать немецкую валюту и создать большую уверенность в завтрашнем дне. Словом, в порядок дня становилась нормализация грабежа Германии. Борьба между Англией и Францией за влияние на континенте Европы, окрашивавшая собой всю первую послевоенную «пятилетку», способствовала скорейшему вызреванию этих идей, которые и нашли свое внешнее оформление в знаменитом плане Дауэса, выработанном Парижской конфернцией экспертов 1924 г.

В чем же состояла суть этого плана?

План Дауэса проходил мимо вопроса о фиксации общей суммы германских платежей, — тем самым молчаливо считалась остающейся в силе старая цифра 132 млрд. золотых марок. Он не фиксировал также количества лет, в течение которых Германия обязана выплатить пред'являемые к ней требования. В этом отношении будущее попрежнему было покрыто дымкой неизвестности. Но план Дауэса впервые установил твердые нормы ежегодных платежей Германии и притом в следующем размере:

1924/25 г. .	. 1 000	млн.	зол.	марок [2].
1925/26 » .	. 1 220	»	»	»
1926/27 » .	. . 1 200	»	»	»
1927/28 » . .	. 1 750	»	»	»
1928/29 » .	. 2 500	»	»	»

[1] Процентное распределение репараций между отдельными союзниками представляло следующую картину: Франция—54%, Англия—22%, Италия—10%, Бельгия—8%, прочие государства (Япония, Югославия и т. д.)—6%. Это соотношение в основном сохраняется вплоть до настоящего дня, подвергнувшись лишь весьма незначительным изменениям на Парижской конференции экспертов 1929 г.

[2] См. «Германские репарации и доклад комитета экспертов», 1925, изд. Комакадемии, стр. 103.

1928/29 г. должен был считаться первым нормальным годом, и все дальнейшие платежи должны были производиться в размере 2½ млрд. марок в год. Оставалось только неизвестным, в течение какого именно срока.

Этим однако еще не исчерпывались все обязательства Германии. План Дауэса прежде всего предусматривал, что в зависимости от роста благосостояния страны, измеряемого особым индексом, ежегодно платежи Германии в дальнейшем могут быть в том или ином размере повышены. Далее, сверх уплаты денег, Германия обязана была еще производить поставки союзникам натурой (углем, химическими продуктами и т. д.). Как выяснилось на протяжении периода действия плана Дауэса, поставки натурой оценивались приблизительно в 1 миллиард золотых марок в год. Иными словами, реально уплачиваемая Германией сумма ежегодных репараций за вторую «пятилетку» колебалась между 2 и 3½ млрд. золотых марок, причем, начиная с 1928/29 г., она никогда не могла опуститься ниже 3½ млрд. В связи с индексом благосостояния возможно было даже ее увеличение на несколько сот миллионов золотых марок в год.

Откуда должны были браться средства для уплаты репараций?

План Дауэса предусматривал три главных источника: доходы железных дорог, специально для того денационализированных, особые взносы промышленных предприятий и, наконец, государственный бюджет. Таможенные доходы, а также сборы с табака, спирта, пива и сахара являлись специальной гарантией исправности репарационных платежей. Для облегчения первых шагов новой системы союзники предоставили Германии заем в размере 800 млрд. золотых марок.

Но дело на этом не кончалось. Репарационные платежи в Германии производились в марках — союзники же хотели получать их в фунтах и долларах. Отсюда возникала необходимость так называемого «трансфера», т. е. превращения немецких денег в иностранную валюту. Для производства этой операции равно как и для стабилизации марки и получения репарационных платежей, план Дауэса создавал специальный Эмиссионный банк, с капиталом в 400 млрд. марок, генеральный совет которого наполовину состоял из иностранцев. План предусматривал при этом, что гарантию за «трансфер» принимает на себя репарационная комиссия союзников, которая имеет право приостанавливать «трансфер» в тех случаях, когда такая операция угрожает стабилизация германской валюты.

Наконец, план Дауэса создавал должность Генерального агента по репарациям с целой сетью подчиненных ему комиссаров и контрольных комиссий, которые должны были следить за точным выполнением всех пунктов заключенного соглашения. В качестве же реальной гарантии выполнения плана Дауэса Германией Рейнская область должна была попрежнему оставаться оккупированной английскими, французскими и бельгийскими войсками.

План Дауэса был введен в действие 1 сентября 1924 г. и оставался в силе 5 лет. Каковы же результаты его функционирования?

Они оказались для Германии более благоприятными, чем первоначально можно было ожидать. В самом деле, Германия аккуратно выполняла свои обязательства, причем тяжесть государственного бюджета ее в общем и целом не превышала такой же тяжести в Англии и Франции. Одновременно реальная заработная плата рабочих в среднем не понизилась по сравнению с довоенным уровнем, несмотря на то, что у германской буржуазии было, конечно, явственное желание свалить все бремя репарационных платежей на плечи пролетариата. В связи с этим вторая «пятилетка» по сравнению с первой была эпохой значительного ослабления классовой борьбы. В итоге Германия за время действия плана Дауэса сумела не только стабилизировать свою валюту, но и сильно подняться экономически, проведя гигант-

скую рационализацию промышленности, правда, главным образом, за счет рабочих масс.

Чем об'яснялось это странное благополучие? — Оно об'яснялось, конечно, отнюдь не тем, что расчетный баланс Германии давал ей возможность безболезненно уплачивать союзникам миллиарды золотых марок ежегодно. Торговый баланс Германии сейчас сильно пассивен в среднем за последнюю «пятилетку» давая отрицательное сальдо в 2 млрд. марок в год. «Невидимый экспорт» Германии пока еще очень невелик и далеко не покрывает пассивности торгового баланса, не говоря уже о прочих заграничных платежах страны. В результате расчетный баланс Германии тоже носит отрицательный характер. И если тем не менее Германия до сих пор благополучно справлялась с оплатой репарационных обязательств, то это находило свое об'яснение в одном чрезвычайно важном факте — сильнейшем притоке иностранного (главным образом американского) капитала в страну. Для того, чтобы платить репарационные взносы, Германия занимала деньги в других странах. Действительно, например, за период с 1 сентября 1924 г. по 31 августа 1928 г. Германией было уплачено союзникам 4 670 млн. зол. марок деньгами и около 4 млрд. марок продуктами, а всего около 9 миллиардов марок. Между тем, за тот же период Германия получила из-за границы в качестве долгосрочных займов 5 800 млн. марок и в качестве краткосрочных займов около 4 000 млн. марок, а всего около 10 млрд. марок [1]. Как видим, Германия смогла покрыть за счет иностранных займов не только все свои репарационные обязательства, но даже сохранить еще около 1 млрд. марок для других целей. Совершенно правильно поэтому некоторые экономисты подымают вопрос о том, что Германия до сих пор в сущности еще не приступила к предусмотренному планом Дауэса «трансферу». То, что было до сих пор, является не чем иным, как «мнимым трансфером», потому что Германия платила не из доходов своего народного хозяйства, а из занятых денег. Вот почему пока еще трудно судить о реальной тяжести репарационных платежей и о действительном влиянии их на немецкую экономику.

Так Германия прожила в течение 5 лет и в сущности могла бы жить еще несколько лет под эгидой плана Дауэса. План пока функционировал удовлетворительно, и никакой непосредственной опасности ему не угрожало. И все-таки в апреле—мае текущего года в Париже вновь собралась конференция экспертов, которая в результате длительных и довольно бурных дискуссий, в конце концов, решила сдать план Дауэса в пыльную корзину истории.

В чем тут было дело? В основе дело тут было в том, что к 1929 г. империалистический мир вступил в полосу сильнейшего обострения противоречий по двум линиям: по линии СССР — капиталистические державы и по линии Соед. Штаты — Англия. Это обострение противоречий имело свое экономическое и свое политическое выражение.

Экономическое выражение явственнее всего сказывалось в громадном и все растущем обострении конкуренции на мировом рынке, вытекающем из органической болезни послевоенного капитализма: длительной диспропорции между производительными силами мировой индустрии и покупательной способностью мирового рынка. Германия, подгоняемая хлыстом репараций, вынуждена была бешено форсировать свой экспорт, в особенности экспорт готовых фабрикатов. Действительно, за 1925—28 гг. вывоз готовых фабрикатов из Германии увеличился на 28%, в то время как вывоз тех же фабрикатов из Соед. Штатов и Японии поднялся соответственно лишь на

[1] См. «Новый этап в репарационном вопросе». Издание Комакадемии, 1929 г. стр. 11.

23% и 8%, вывоз же из Англии упал на 5%, из Франции—даже на 13% [1]. Кроме нормального экспорта фабрикатов, Германия, как мы знаем, делает союзникам поставки натурой: тем самым емкость мирового рынка для продуктов промышленности еще более сокращается. Выходило, таким образом, что репарации уподобляются бумерангу, который больно бьет как раз страны-победительницы. В первую очередь от этого страдала Англия.

Политическое выражение того же обострения противоречий мы находим, с одной стороны, в усилении борьбы империалистических правительств против «коммунистической опасности» и влияния СССР, а, с другой стороны, в сильном напряжении, окрашивающем за последние 3 года англо-американские отношения. Борьба между Лондоном и Вашингтоном имеет своим последствием попытки создания двух больших концентраций держав, группирующихся около Англии и Соед. Штатов. Отсюда — столь нашумевшее соглашение между Англией и Францией по вопросам разоружения, отсюда заигрывания Англии с Японией, отсюда же—стремление Англии к примирению с Германией, как с страной, которой суждено играть чрезвычайно важную роль как в случае войны между Англией и Соед. Штатами, так и в случае вооруженного конфликта между СССР и капиталистическим миром.

И вот для того, чтобы облегчить вовлечение Германии в орбиту англо-французской ориентации и одновременно способствовать некоторому ослаблению конкуренции на мировом рынке, союзные державы решили ликвидировать план Дауэса.

К чему же сводится пришедший ему на смену план Юнга?

План Юнга впервые устанавливает не только сумму ежегодных платежей Германии, но также и тот срок, в течение которого она должна их вносить, а именно 59 лет (начиная с 1 сентября 1929 г.), причем он распадается на две неравные части: первые 37 лет и вторые 22 года.

В течение первых 37 лет Германия обязана уплачивать в среднем ежегодно 2 050 млн. марок. Впрочем, платежи сильно варьируют по отдельным годам: минимум составляет 1 700, а максимум—2 400 млн. в год. В общей сложности, таким образом, Германия за первые 37 лет должна уплатить 76 миллиардов марок.

Это однако не все. В течение ближайших 10 лет она в дополнение к денежным платежам должна делать еще поставки натурой, правда, во все уменьшающейся прогрессии: начиная с 750 и кончая 300 миллионов марок в год. В сумме поставки за 10 лет оцениваются, примерно, в 6 миллиардов марок.

В течение последних 22 лет Германия выплачивает союзникам ровно столько, сколько они сами выплачивают по своим военным долгам Соед. Штатам. При этом всякая скидка, которую Соед. Штаты могут сделать своим европейским должникам, в размере $^2/_3$ идет на пользу Германии. Часть прибылей Банка международных расчетов, о котором речь будет ниже, также употребляется во второй период на покрытие германских обязательств. Если оставить в стороне возможную «скидку» со стороны Соед. Штатов, то Германия должна будет уплатить на протяжении последних 22 лет в общей сложности около 32 млрд. марок (начиная с 1 700 и кончая 960 миллионов марок в год).

Суммируя все указанные выше обязательства, приходим к выводу, что, по плану Юнга, Германия на протяжении 59 лет должна будет уплатить не меньше 140 млрд. марок, а если принять еще во внимание, что за 5 лет функционирования плана Дауэса Германия уже

---

[1] См. Е. Варга.—«От плана Дауэса до плана Юнга», «Правда» от 28 июня 1929 г.

уплатила деньгами и натурой 13 млрд. марок, окажется, что союзники в сущности даже сейчас продолжают стоять на почве лондонского ультиматума [1].

Как мы знаем, ресурсы для уплаты репараций по плану Дауэса черпались из трех источников: государственного бюджета, железных дорог и промышленности. По плану Юнга, промышленность освобождается от специальных обязательств в отношении репараций, и они целиком покрываются за счет государственного бюджета и доходов железных дорог.

Очень серьезные изменения план Юнга вносит в проблему «трансфера». Раньше ответственность за «трансфер» несла репарационная комиссия союзников, теперь эта ответственность перелагается целиком на Германию. Она должна сама уже изыскивать способы получения иностранной валюты, заботясь в то же время о поддержании нормального курса марки. В виде компенсации Германии делаются две уступки: во-певрых, уничтожается Генеральный агент по репарациям со всеми своими подсобными органами. Во-вторых, ежегодные платежи в течение первых 37 лет подразделяются на две части: «твердые» платежи в размере 660 млн. марок в год, которые Германия обязана уплачивать в срок, и притом в иностранной валюте, при всяких условиях, и «условные» платежи в размере 1 390 мил. марок в год, по которым Германия при наличии достаточных оснований может испрашивать себе мораториум на срок не больше двух лет. Впрочем, эта компенсация едва ли может служить особенным утешением для Германии.

Наконец, еще одной чрезвычайно важной составной частью плана Юнга является так называемый Банк международных расчетов, о котором уже упоминалось выше. Банк этот, приходящий на смену прежнему Репарационному Банку, основывается с капиталом в 100 млн. долларов, причем правление его будет состоять из директоров центральных банков семи заинтересованных стран (Англия, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Япония и Соед. Штаты). Акции банка выпускаются в равных количествах в тех же семи странах, причем в уставе банка предусмотрено, что выпуск акций на сумму 44 млн. долларов может быть по соглашению передан в другие государства.

В высшей степени важно, что новый банк отнюдь не ограничивается в своей деятельности только регулированием репарационных платежей, — наоборот, ему присваиваются все важнейшие черты обычного центрального банка (прием вкладов, операции с ценными бумагами, векселями, золотом и серебром, предоставление займов центральным банкам отдельных государств под соответственное обеспечение, учет векселей центральных банков и т. д.). В параграфе, характеризующем задачи банка, вполне определенно указывается, что он имеет целью не только обеспечивать правильное функционирование репарационного плана, но также «открывать новые возможности для международного обращения капиталов и создавать новые каналы для учрепления и развития международных финансовых отношений» [2]. Коротко говоря, план Юнга предусматривает основание чего-то очень близкого к мировому Центральному банку или «Банку банков», который являлся бы фактическим хозяином международного кредита.

---

[1] Как мы видели, до плана Дауэса Германия в разных формах уплатила союзникам 56 миллиардов марок. Прибавляя эту сумму к тому, что Германией уже было уплачено по плану Дауэса и что она должна уплатить по плану Юнга, получаем, что союзные правительства рассчитывают собрать с побежденного врага никак не меньше 180 миллиардов марок, т. е. около $^2/_3$ всего национального богатства довоенной Германии. Отсюда ясно, что несмотря на почти болезненную любовь вождей английской и французской буржуазии к пацифистским фразам, победители все-таки хотят полностью получить с Германии свой «фунт мяса».

[2] См. «Economist» от 15 июня 1929 г.

Каковы плюсы и минусы плана Юнга с германской точки зрения? — Основным плюсом плана Юнга является точная фиксация сроков платежей и некоторое сокращение их размеров. Действительно, по плану Дауэса, Германия в течение ближайших 10 лет должна была бы уплатить деньгами и натурой не меньше 35 млрд. марок, а по плану Юнга ей придется уплатить только 25 млрд. марок — уменьшение, по крайней мере, на 10 млрд. марок. Далее, стоит отметить, что из плана Юнга совершенно исчезает тот «индекс благосостояния», который вносил некоторую неопределенность в исчисление репарационных платежей по плану Дауэса. К числу плюсов необходимо также отнести уничтожение Генерального агента по репарациям, являвшегося олицетворением мелочного и оскорбительного контроля победителей над каждым шагом побежденного.

Но этим плюсам противостоят два громадных минуса. Первый минус — это непомерная тяжесть фиксируемых планом Юнга репарационных платежей. Во всей своей остроте она скажется тогда, когда Германии придется покрывать свои обязательств не из занятых денег, а из собственных доходов. Второй минус — это перенесение ответственности за «трансфер» на Германию. Данная мера ставит под угрозу как стабильность немецкой валюты, так и нормальное развитие ее народного хозяйства.

План Юнга принят конференцией экспертов в Париже, но он еще не может считаться законом. Около него еще будет итти борьба различных интересов, его еще будут обсуждать, дополнять, изменять различные правительства и конференции. Но все-таки есть много оснований полагать, что в своих основных чертах он будет, в конце концов, одобрен всеми заинтересованными сторонами.

Можно ли однако считать, что план Юнга является настоящим разрешением репарационной проблемы? Можно ли думать, что он в состоянии окончательно вовлечь Германию в орбиту англо-французского империализма? — Ни в коем случае. Устанавливаемые им платежи все-таки являются непосильными для Германии, и потому ни экономически, ни политически не в состоянии дать союзникам желательного эффекта. Трагедия англо-французского империализма состоит в том, что он сейчас не в состоянии предложить немецкой буржуазии столь солидной взятки, которая заставила бы ее окончательно связать с ним свою судьбу, как в борьбе против Соед. Штатов, так и в борьбе против СССР. В одном отношении однако англо-французскому империализму удалось добиться несомненного успеха: так как по плану Юнга $^{2}/_{3}$ всякой «скидки», которую Соед. Штаты могут сделать по военным долгам Европы, идут на пользу Германии, то немецкая буржуазия отныне становится заинтересованной в сокращении долгового бремени союзников. Тем самым создается единый фронт Германии, Англии, и Франции против Америки в вопросе о долгах.

Впрочем, значение этого успеха союзников не следует преувеличивать, так как благодетельные последствия «скидки» могут сказаться не раньше, как через 37 лет.

Особого внимания заслуживает предусматриваемый планом Юнга Банк международных расчетов. Он легко может стать диктатором мирового кредитного рынка и в качестве такового столь же легко может быть использован в качестве острого оружия против СССР.

Опасность финансовой блокады нашей страны в результате создания названного банка значительно увеличится. Но и тут глубокие противоречия, существующие в лагере империалистов, открывают перед СССР возможности, успешного маневрирования в борьбе с англо-французским империализмом, тем более, что, судя по многим данным, главную роль в новом банке будет играть американский капитал.

Суммируя все сказанное выше, мы невольно приходим к следующему выводу: план Юнга пришел на смену плану Дауэса, однако репарационная проблема остается попрежнему неразрешенной.

3. Смена кабинета в Японии

На японской политической сцене очередная смена декораций: сейюкайский кабинет барона Танаки ушел в отставку, и его место занял минсейтовский кабинет Хамагуци.

Каков внутренний смысл этого события?

Формально кабинет Танаки вручил свою отставку императору по причинам двоякого рода. Во-первых, граф Уцида осенью прошлого года подписал в Париже пакт Келлога, вводная часть которого гласила, что подписание это каждым делегатом производится от имени соответственного «народа». Так как по букве японской конституции всякие договоры и соглашения с иностранными державами имеет право заключать только император, то минсейтовская оппозиция обвинила Танаку в нарушении конституции и умалении прав монарха. Такая, по японским понятиям, грубая «ошибка» правительства может быть искуплена только отставкой. Во-вторых, расследование прошлогоднего взрыва поезда Чжан-Цзо-Лина, в котором китайцы открыто обвиняли японские власти в Манчжурии, закончилось наказанием одного японского полковника и отставкой его непосредственного начальника. Военный министр, однако, возражал против этих карательных мер. Между военным министром и Танакой произошел конфликт, в котором вся армия оказалась на стороне военного министра. При таких обстоятельствах в Японии для премьера тоже нет другого выхода, кроме отставки.

Такова внешняя сторона дела.

Но суть, конечно, не в ней. Действительная причина происшедшей смены кабинета состоит в том, что так называемая «позитивная политика» Танаки в Китае потерпела полное банкротство.

Начиная с 1919 г., японский империализм вынужен был постепенно отступать с тех далеко выдвинувшихся позиций, которые ему удалось захватить в Китае в эпоху мировой войны. Отступление это вызвано было, с одной стороны, сильным под'емом китайского национального движения, а, с другой стороны, «возвращением» на Дальний Восток великих империалистических держав, временно «ушедших» оттуда на европейские поля битв. Поражение японской интервенции в Сибири и международная изоляция Японии, явившаяся результатом Вашингтонской конференции 1921—22 гг., только усугубили ее затруднения в Китае. Всякое отступление делает неизбежным умелое и осторожное лавирование. Этим неприятным делом с бóльшим или меньшим успехом приходилось заниматься каждому японскому правительству на протяжении последних 10 лет. Но несомненно наиболее гибким и искусным по части маневрирования в «китайских водах» было кенсекайское правительство Като-Вакацуки (1924—27 гг.), министром иностранных дел которого был барон Сидехара. И справедливость требует сказать, что как раз в эти годы, ознаменовавшиеся мощной волной китайской революции, японский империализм обнаружил большие ловкость и находчивость. Достаточно сказать, что японские военные суда не участвовали в обстреле Нанкина, инсценированном в 1927 г. англичанами и американцами, и что японские промышленники и купцы, прикидываясь друзьями китайского народа, захватили бóльшую часть тех торговых позиций, которые под напором анти-английского бойкота временно потеряла Великобритания.

Однако эта ловкая политика Сидехары вызвала сильную оппозицию внутри Японии. Реакционные круги, тесно связанные с армией и манчжурски-

ми интересами, открыто громили политику Сидехары, как «слабую», вредную, почти изменническую. Эти круги, плохо учитывая совершающиеся в мире перемены, полагали, что сейчас, как и 15 лет назад, с Китаем надо разговаривать лишь при помощи винтовок. Недовольство китайской политикой кенсейкайского правительства со дня на день росло и, в конце концов, в апреле 1927 г., в связи с разыгравшимся в Японии финансовым кризисом, привело к его падению.

На смену Вакацуки-Сидехара пришел лидер сейюкайцев барон Танака, крупный генерал, один из лидеров сибирской интервенции, соединивший в своих руках премьерство с портфелем министра иностранных дел. Танака был ярким представителем тех элементов японской политической жизни, которые мечтали о возрождении «добрых старых времен» — в сфере китайской политики. Он с первых же шагов провозгласил новый курс, курс «позитивной политики» в Китае и сделал энергичную попытку крепко ударить кулаком по столу. Танака дважды — в 1927 и в 1928 гг. — посылал крупные военные экспедиции в Шаньдунь. Он упорно отказывался признать нанкинское правительство и пытался (правда, неудачно) помешать ему занять Пекин. Он саботировал введение тарифной автономии и слышать не хотел об отмене экстерриториальности в Китае. Всегда и везде Танака выступал в качестве открытого врага национального освобождения Китая и при каждом удобном случае охотно бряцал оружием.

А что получилось в результате?

Политика Танаки обошлась Японии в копеечку. Десятки миллионов рублей были выброшены на военные экспедиции, которые, в конце концов, пришлось ликвидировать, не добившись никаких реальных успехов. Еще большие суммы вынуждены были выложить из своих карманов японские промышленники под влиянием широкого бойкота, организованного против них китайцами. Вместе с тем политика Танаки вызвала чрезвычайное обострение отношений между Японией и Китаем, чем весьма ловко воспользовалась Англия, вернувшая себе все те позиции, которые она потеряла в 1925—27 гг. В этих печальных для японского империализма итогах находило свое выражение лишь реальное соотношение сил на Дальнем Востоке, которое сложилось тут в послевоенные годы и которое японские «ура-патриоты» не хотели замечать. Танака пытался было укрепить свои китайские позиции сближением с Англией. Это сближение было тем более вероятно, что Англия, в свою очередь, нуждалась в Японии для борьбы с Соединенными Штатами. Однако исход британских выборов 30-го мая сильно затруднил Танаке реализацию его намерений в ближайшем будущем. Почва под ногами сейюкайского кабинета была, таким образом, окончательно расшатана, и достаточно было уже небольшого толчка для того, чтобы окончательно свалить его с ног.

На смену правительству Танаки пришло правительство Хамагуци. Новый кабинет сформирован партией Минсейто, являющейся продолжительницей прежней Кенсейкай. Но это, конечно, отнюдь не означает, что в политической жизни Японии наступил крутой перелом. Разница между Сейюкай и Минсейто несомненно есть, но она не носит серьезно-принципиального характера, так как обе партии не являются представительницами двух различных классов, а лишь отражают интересы различных групп одного и того же класса — современной японской буржуазии. При этом Сейюкай об'единяет по преимуществу торгово-банковские, аграрные и военные группировки, а Минсейто — промышленно-банковские, морские и интеллигентские элементы. Как та, так и другая партия являются одинаково империалистическими, но только Минсейто обнаруживает больше гибкости, осторожности и ловкости в тактике. Вот почему есть все основания ожидать, что кабинет Хамагуци, министром иностранных дел которого назначен снова Сидехара, опять вер-

нется к политике искусного маневрирования в китайском вопросе, в меру сил стараясь обломать острые углы в отношениях между обоими странами.

Для СССР смена кабинетов в Японии не угрожает непосредственно какими-либо неприятными сюрпризами. Сидехара был как раз тем человеком, который восстановил дипломатические отношения между Токио и Москвой, и он, конечно, достаточно умен и осторожен для того, чтобы в нынешней международной обстановке без надобности создавать осложнение с республикой Советов.

Нам едва ли нужно повторять, что японский империализм попрежнему остается наиболее агрессивным из империализмов наших дней [1], но в процессе подготовки к будущим решающим боям он сейчас вынужден временно взять курс на пацифистскую маскировку. Как долго продлится данная стадия его развития, сказать сейчас очень трудно. В первую очередь, однако, это будет зависеть от хода событий в двух странах — в Китае и в Англии.

---

[1] См. нашу статью «Японский империализм перед большими боями» в майской книжке «Красной нови» за текущий год.

Литературный путь дореволюционного журналиста

Старый журналист

Помещение для прислуги

За границей, в домах, населяемых богатыми представителями буржуазии, весь верхний этаж состоит из крошечных клетушек.. Это—помещение для прислуги всех жильцов дома.

Такое помещение для прислуги существовало в верхнем этаже дома № 19 на улице Жуковского в Петербурге с 1907 года (кажется, даже раньше), вплоть до Октябрьской революции.

Это помещение для прислуги называлось:

Редакция «Современного слова».

Барин жил внизу. В бельэтаже. Занимал целую амфиладу громадных светлых, с окнами на улицу, комнат

Когда нужно было барину, он звонил, и прислуга легкими ногами неслась по лестнице вниз на первый раздавшийся звонок.

Барин был — орган кадетской партии «Речь». «Современное Слово» было органом меньшевиков. Газета была тогда самая дешевая в Петербурге: стоила три копейки. Она была рассчитана на «массы», на рабочий класс.

Издавалось «Современное Слово» на средства «Речи». Жалованье и гонорар сотрудники «Современки» получали одновременно с сотрудниками «Речи» в одной и той же конторе.

На парадных обедах, часто устраиваемых редакцией «Речи» по тому или иному случаю, присутствовали (и тоже в сюртуках и смокингах) сотрудники «Современки».

И те же приблизительно произносились речи.

Но сотрудники «Современки» все-таки были уверены, что они делают свое «социалистическое дело». «Современное слово» было признанным всеми петербургскими меньшевиками «органом меньшевиков».

Постоянными сотрудниками были П. Берлин и Степан Иванович. Последний потом перешел в «социалистический» «День». Теперь он в Париже издает меньшевистский органчик «Заря». Он же, Степан Иванович, является и создателем какой-то меньшевистской группы того же названия. Группа Ивановича считается, кажется, одной из самых непримиримых.

Хроника, фельетоны, критические статьи, библиография и телеграммы подавались «Современке» с господского стола «Речи». Все это одновременно печаталось в обоих органах печати: в кадетской и меньшевистской, без малейших изменений.

Меньшевистский дух в «Современке», главным образом, должен был напускать Степан Иванович, но каждый раз он сталкивался с более густым

кадетским духом, который создавал назначенный туда кадетами редактор М. И. Ганфман.

Ганфман был членом редакционной коллегии «Речи», членом ЦК кадетской партии и вообще человеком влиятельным в кадетских сферах.

Редактировал он «Речь»: чередовался с Гессеном. «Современку» он редактировал ежедневно.

Черкал он немилосердно и в «Речи» часто жаловался над идиотизмом Степана Ивановича, как передовика.

— Побольше, побольше манежьте их,— дружески советовал Гессен:— ведь, идиоты, Максим Ипполитыч?

— Идиоты! Форменные идиоты, Иосиф Владимирович. Маркса ведь и не нюхали. Я говорю об Ивановиче — удивительный невежда!

Сам Ганфман Маркса знал. Он был образованный человек. Но прежде чем ознакомиться с Марксом, он был уже знаком с Баком (богатый подрядчик, основавший «Речь») и с банкиром Каминкой. Ганфман получал 12 тысяч в год.

Вокруг «Современки» группировалась вся петербургская меньшевистская компания. Там бывали Тотомианц, Павел Юшкевич, Клейнборт, Богданов, который после февраля был членом исполнительного комитета и подавлял июльские выступления, и др.

Трудно еще до сих пор определить, в какой степени вели борьбу меньшевики с царским строем, в какой степени пролетариат обязан им своим освобождением от царского ига. Но следующее могу засвидетельствовать, и даже под присягой:

Против строя Ганфмана они были бессильны.

Даже после Февральской революции «Современка» существовала. И существовали в ней меньшевики.

Меньшевистский был орган до закрытия его. Прекратил он свое существавание вместе со своим барином — с «Речью».

Верный был слуга. Во-истину, до «гроба».

«Речь»

Почти вся редакция «Речи» была, как говорили тогда, «министериабельна». Все главари мечтали рано или поздно сделаться министрами. Большинство из них и стали министрами: кто при Временном правительстве, кто у Деникина, Врангеля, Колчака и т. д. «Министериабли» хватали с жадностью портфели, где только могли. Министры-кадеты не брезгали никакой политикой, даже погромной.

Редакторами были: Милюков, Гессен, Ганфман, Набоков.

Членами редакционной коллегии были Шингарев, Родичев, Изгоев.

Считался заведующим всей коммерческой частью газеты сам Петрункевич. Но, очевидно, его функции выходили далеко за конторские пределы. Его панически боялись все не только в конторе, но и в редакции.

«Боязнь», конечно, называлась «уважением» к старому земцу, но это было не так. Именно уважения никакого и не было. Был настоящий страх перед старым помещиком, который еще помнил крепостное право и который шутить не любил.

Выпороть, скажем, Иосифа Гессена, Ст. Ивановича из «Современки» или Харитона (подставного редактора — для отсидки) он, конечно, не мог бы, но страх перед ним был все-таки велик...

Бывало, например, так. В редакции обычная жизнь. Редакторы олимпийствуют в кабинетах. Из комнаты заведующего хроникой в большую общую

комнату врывается ежеминутно крик зава: орет на хроникеров. В то время на хроникеров здорово покрикивали.

В общей комнате,— громадная комната, четыре окна на улицу,— из края до края слышится звон серебра: «тенора» играют в «орла и решку». «Тенорами» Иосиф Гессен называет фельетонистов, театральных рецензентов и думских референтов.

Играют так: набирают полную горсть серебра, серебряных монет, трясут в ладонях обеих рук, потом вываливают под газетный лист и спрашивают:

— Орел или решка?

Угадал — получай денежки. Не угадал — плати столько, сколько под газетным листом. Каждый «удар» был в 3—4 рубля. «Тенора» хорошо зарабатывали.

На двух-трех столах шахматы и шашки. Лучшим шахматистом считался в «Речи» заведующий иностранным отделом. Он каждый день забегал в общую комнату «на пять минут», но застревал там на 3—4 часа.

Орлянка, шахматы и шашки в полном разгаре, и вдруг тревога:

— Петрункевич идет!

В миг со стола исчезают деньги, шахматы, шашки. «Тенора» садятся писать. Заведующий иностранным отделом летит в свою комнату.

Петрункевич входит, опираясь на две тросточки, с обеих сторон: ноги плохо носят старика. С «тенорами» здоровается за руку. Репортерам, корректорам кивает головой...

«Тенора» делают вид, что ни капельки не боятся и что, наоборот, его приходу рады. Петрункевича окружают. Разговор принимает оттенок фамильярности, смешанной с высокой почтительностью. Так обычно либеральные чиновники разговаривали с либеральным начальством.

Петрункевич отвечает «по-отечески» снисходительно, как отвечал обычно либеральный губернатор либеральному правителю канцелярии или чиновнику особых поручений, пользовавшемуся симпатией губернаторши.

Случалось, что он замечал на столе забытую фигуру, и он начинал рассказывать, что сам в молодости увлекался шахматами, но, конечно, не во время работы...

«Тенора» отвечали что-то вроде того, что не всякому ведь дано быть Петрункевичем, что потому-то Петрункевичей так мало, и т. д.

Старик выдавливал на своем лице улыбочку. Он любил «находчивые» ответы.

Шествие свое он производил ежедневно по конторе, редакции и типографии. И везде «старейший земец» сеял страх, который называли «уважением».

Крутой и скупой был старик. Злой был старик. Ехидный и злопамятный. Не тем он будь помянут...

Милюков и Гессен

Друг друга они ненавидели.

Я стал работать в «Речи» в 1907 году. Это был второй год издания газеты, но уже тогда редакция делилась на «милюковцев» и «гессенцев».

Дело было не в идейных разногласиях. Оба, и Милюков, и Гессен, мечтали о той власти, при которой они стали бы министрами. Это, в сущности, и была их программа-максимум.

Гессен вообще ни с какой стоорны не был кадет. Это был типичный русский чиновник вроде Гололобова, моего бывшего редактора в «Екатери-

нославских губернских ведомостях» и будущего сверх-черносотенного губернатора.

Иосиф Гессен был только значительно умнее и образованнее Гололобова и, пожалуй, мог рассчитывать и на большую карьеру, чем Гололобов.

И на лучшем он был пути, чем Гололобов. Гессен начал свою службу чиновником особых поручений у министра юстиции. И у какого министра юстиции! У Щегловитова.

Не прослужил он и десяти лет, как ему была назначена пенсия в 600 рублей. В то время это было неслыхано. Губернаторы, прослужившие 25 лет, получали 1 000 рублей в год пенсии.

Очевидно, было за что, если молодому чиновнику, прослужившему всего десять лет, выдавали какую-то спец-пенсию.

Эти 600 рублей Гессен получал и будучи редактором «Речи», вплоть до Октябрьской революции.

Ненависть у кадетских вождей и редакторов «Речи» выросла скорее всего на почве зависти.

Гессен завидовал Милюкову за его положение в партии. Как вождю партии, Гессен был ему несколько подчинен. Приходилось считаться с директивами Милюкова.

Случалось, что Гессену приходилось иногда переделывать написанную им передовицу по предложению Милюкова. Милюков же был непогрешим.

Со своей стороны Милюков завидовал маленько Гессену за уменье последнего находить в нужную минуту людей с деньгами для газеты.

Гессен втравил в издание «Речи» подрядчика Бака.

Был Бак до «Речи» видный сионист. В его великолепном дворце на Кирочной, в громадном зале, похожем на зал ресторана первого класса, прежде ораторствовал Владимир Жаботинский.

Гессен вскружил голову Баку, открыв перед ним необычайную перспективу: дружбу с предводителями дворянства, с профессорами, с будущими министрами.

Уже мерещились Баку колоссальные подряды, гомерические барыши, миллионы, влияние, чин действительного статского советника и... чем чорт не шутит!— и портфель министра финансов или, по крайней мере, товарища министра. Это стоило Жаботинского и его мифической Палестины.

Бак забросил подряды и стал издателем «Речи». В первый же год он ухлопал на газету несколько сот тысяч. Столько же, пожалуй, он ухлопал на парадные обеды в честь будущих министров.

На Кирочной, в зале, похожем на зал ресторана первого класса, уже не лилась страстная сионистская речь Жаботинского, а гремели речи Милюкова, Набокова, Петрункевича, Родичева и Маклакова.

Бак таял, но еще больше таял его капитал. Не дотянув до года, он повесился при благосклонном участии банкира Каминки, который не пожелал переписать заново векселей Бака.

«Речь» была накануне краха, но спас ее Гессен. Он пошел к тому, кто затянул петлю на шее Баку, к Каминке, и... предложил ему взять «Речь».

Соблазнить Каминку связями с министрами было бесполезно. Каминка был свой человек у Витте. Пост товарища министра его мало прельщал. Товарищи министров обивали пороги Азовско-Донского банка, которого он был хозяином. Он руководил их игрой на бирже. Они зависели от него, а не он от них. Они льстили ему, а не он им.

Обаяния учености тоже было недостаточно, чтобы заставить Каминку тратить деньги. У него племянник был профессор — Август Исаакович Каминка. Дядя устроил его директором в Азовско-Донском банке и приучал своего ученого племянника к коммерческому делу...

На «Речь» Каминка посмотрел просто, как на «дело», как на обычную банковскую операцию.

Азовско-Донской банк в очень широком масштабе скупал хлеб на корню. И умный Каминка подумал:

— Отчего бы не скупить и министерство на корню?

В деревнях, чтобы мужичок «не обманул», у Азовско-Донского банка были верные люди, агенты, служащие, наблюдатели.

Чтобы будущие министры не поднадули, Азовско-Донской банк посадил в «Речь» азовско-донского племянника Августа Каминку.

У Гессена с Каминками были старые «связи», не то биржевые, не то щегловитовские, от того времени, когда Гессен был на особых поручениях у Щегловитова. С переходом «Речи» к Азовско-Донскому банку эти связи еще больше упрочились. Гессен стал одним из хозяев «Речи».

Последнее обстоятельство ставило Милюкова в зависимость от Гессена.

Милюков давил Гессена «партийными директивами». Гессен нажимал на Милюкова Азовско-Донским банком.

Внешние отношения между Милюковым и Гессеном были самые дружеские. Оба сидели в одном кабинете. Гессен принимал статьи, фельетоны, думские отчеты от сотрудников. Милюков писал. Разговор велся деликатно, уступчиво.

И только близко стоящие у кормила редакции знали, как глубоко ненавидят друг друга эти два кадетских лидера.

За границей, куда Октябрь выбросил обоих, и Гессена и Милюкова, и где не было об'единяющего банкира, они сразу разлетелись в разные стороны.

Гессен остался верен Каминке. Милюков нашел другого банкира. У Милюкова «Последние новости» в Париже. У Гессена «Руль» в Берлине.

Газеты сходились лишь в одном: обе с негодными средствами обрушиваются на СССР. И обе, конечно, влачат жалкое, позорное существование. И газеты, и их редакторы. И Гессен и Милюков.

Владимир Набоков

Набоков редко удостаивал «народ» лицезреть себя. Больше всего мы его видали на парадных обедах или на других торжествах, которые устраивала часто «Речь» по тем или иным случаям.

Тогда он председательствовал. С одной стороны у него сидел Милюков, с другой — Гессен. А за ними уже шли остальные. Все по чину: бывшие товарищи министров, бывшие предводители дворянства, ординарные профессора, члены Государственного Совета. И сотрудники. Тоже по чинам, по занимаемому ими положению.

Точь в точь, как у Навроцкого в «Одесском Листке». Во главе стола два генерала. За ними фельетонисты. За фельетонистами заведующие отделами и т. д.

Я много раз имел высокую честь видеть Набокова, но почти что не помню его без смокинга. Лицо у него было румяное, толстое, немножко туповатое. Что-то телячье проглядывало в его глазах.

Считался он в то время блестящим оратором и тонким юристом, но я его много раз слышал в Думе, и мне казалось, что его речи не так уж блестящи, по крайней мере по форме. О темпераменте и говорит нечего. В граммофоне больше темперамента. Его речи напоминали проповеди католических епископов. Каждый жест у него был рассчитан. Изучен, вероятно, перед зеркалом. Каждое повышение или понижение голоса было как бы предвиден-

ное. Все «повышения» и «понижения» были на заранее подготовленных местах.

Его статьи не отличались ни большим умом, ни даже крошечным талантиком. Писал он их деревянно. Читались они с трудом. Однако, Набоков был в «Речи» большая фигура.

Причин тому было много.

Во-первых, он был сын министра. Отец Набокова был министром юстиции. Происхождение в качетской партии играло первенствующую роль.

Во-вторых, Набоков сам был камер-юнкером. Где-то он служил, но на службу никогда не ходил. Жалованье приносил ему на дом курьер из того учреждения, где он числился на службе. Так служили тогда царю и отечеству все дети важных сановников.

Камер-юнкерство от него потом ушло, но взамен он получил всероссийскую известность как трибун и кадетский вождь. Его придворное положение много способствовало тому, что в кадетских кругах к нему относились с огромным уважением. В гессенско-милюковской сфере «придворное» звание ценилось высоко.

В третьих, и это было самое важное, Набоков был очень богат. Не он сам, положим, был богат. Была богата его жена.

Набоковы были родовиты, но их имения давно уже были пропиты и проиграны еще дедами и прадедами.

Владимир Набоков удачно променял свою родовитость и камер-юнкерство на миллионы московского купца Рукавишникова, взяв в жены его дочь.

«Купчиха» принесла камер-юнкеру в приданое миллионов десять.

Набоков жил в собственном особняке на Морской. Жил он большим барином. Стриг купоны и получал арендную плату с жителей Бердичева. Почти весь этот город был построен на земле купцов Рукавишниковых. Наличные деньги и земли приносили в год доходу больше миллиона.

Было за что уважать человека. У кадетов капитал считался лучшим дипломом на уважение.

Редко, очень редко, Набоков давал обед для друзей. Приглашались только виднейшие сотрудники «Речи». Обеды были тонкие, придворные. Повар Набокова славился во всем Петербурге.

Набоков был в партии Милюкова. Гессена он, кажется, не жаловал.

У Милюковской партии насчет Набокова были тайные надежды: надеялись на его миллионы в случае, если бы Каминка вздумал повеситься, как Бак.

Но Набоков к денежным поддержкам склонности не обнаруживал.

Умер Набоков в Париже от белогвардейской пули. Своя своих не познаша...

Родичев

Я познакомился с Родичевым в ночь когда умер Лев Толстой.

Я его знал, конечно, и раньше. Знал его и о нем. Знал, что он был когда-то предводителем дворянства Тверской губернии. Был он присяжный поверенный. Его ораторский талант превозносился до небес всеми думскими референтами.

Кадеты считали его «о, о, каким красным!» Несколько афоризмов из его думских речей облетели всю прессу. Это он сказал с высокой трибуны:

— Мы знали «Муравьевский галстух», теперь будет не менее известен «Столыпинский воротник».

Это означало: Муравьев вешал в 1863 году, Столыпин вешает теперь не меньше.

Правда, в тот же день Родичев принес Столыпину свои извинения. Кадетская партия тоже извинялась. «Речь» тоже извинялась.

И Родичев, и Милюков, и все кадеты считали слова о «столыпинском воротнике» такой же ошибкой, как было когда-то Выборгское воззвание. Но «столыпинский воротник» остался в памяти навсегда.

При Временном правительстве Родичев был назначен генерал-губернатором в Финляндию. Но «о, о, какой красный» Родичев оказался на своем генерал-губернаторском посту весьма белым. По отношению к «некадетским элементам» он тогда уже сам был почти что не прочь применить «столыпинский воротник».

Когда из Астапова, где умирал Толстой, телеграммы становились все тревожнее и тревожнее, в «Речи» было устроено что-то в роде ночного бдения. Дежурили, чтобы не пропустить момента. Лишь только получится телеграмма о смерти Толстого, сейчас за перья и катай некрологи...

Во многих газетах некрологи были заготовлены заранее, но «Речь» не считала приличным писать некрологи о живом.

Среди дежуривших были и мы — «тенора». Но нужно было, чтобы писали и общественные деятели, и государственные мужи, и известные критики. «Речь» хотела «подать» смерть Толстого как следует.

В качестве «государственного мужа» бдил Родичев. Из критиков дежурил Овсянико-Куликовский.

Не помню удалось ли Льву Толстому умереть «во-время», то есть умереть так, чтобы некролог о нем поспел в «завтрашний» номер. Помню только, что Родичев написал некролог, и он был помещен своевременно в «Речи».

«День»

Я обязан «Дню» самым главным, самым важным: благодаря ему, я научился презирать и ненавидеть меньшевиков.

Главную сотрудническую массу в «Дне» составляли меньшевики. Тут были: Ст. Иванович, перешедший в «День» из «Современного Слова», Павел Юшкевич, Клейнборт, Смирнов, Загорский, Михайлович и еще, фамилий которых я не помню. Впоследствии вступил сотрудником в «День» Потресов. И сам Дан не брезговал «Днем». Не помню, писал ли он, но с редакцией связь имел. В редакции я его видел раза два.

Из вышеизложенного не следует, что «День» был меньшевистский орган. Орган он был чисто банковский. Деньги давал Русско-Азиатский банк (сто пятьдесят тысяч). Давали еще какие-то банки. Потом «День» перешел в собственность к банкиру Лесину.

Главной идеологической силой был кадет, даже знаменитый кадет, член центрального комитета кадетской партии — Кедрин. Как всякий кадет, он после «Октября» стал министром не то у Деникина, не то у Врангеля.

По поводу «банковских денег» меньшевики однажды даже сделали запрос...

На одном общем собрании кто-то из меньшевиков, кажется, Смирнов, обладавший громким голосом, грозно спросил:

— Правда ли, что «День» издается на деньги банкиров? Если правда... и т. д.

— Правда! — последовал откровенный ответ: — Чуть ли не ежедневно видите Лесина... Сын Лесина сидит в конторе и деньги выдает. Чего дурака валяете...

Ответ удовлетворил меньшевиков, и сейчас же перешли к очередным делам. Вопрос о банковских деньгах больше не поднимался.

Меньшевики доминировали, но повторяю: «День» не был меньшевистским органом. Это был большой универмаг, «Мюр и Мерилиз» в «идейной промышленности».

Кроме меньшевиков, работали бундовцы: Эрлих, Канторович, Заславский.

Эсеры и трудовики: Керенский, Мстиславский, Водовозов и др.

Представитель буржуазии, публицист Биккерман, имел большой в редакции вес. С ним считались. Его голос часто бывал решающим.

Был даже и свой богослов, профессор духовной академии Титлинов. Он писал статьи на духовно-религиозные темы за подписью «Надеждин».

Девиз «Дня» был девизом больших магазинов в Европе: Лувра в Париже, Виртхейма в Берлине и т. д.

Девиз этот: «От картошки до тончайших кружев». Всякий товар должен быть в магазине.

И всякий товар был в «Дне». Нужен покупателю какой-нибудь веселенький меньшевистский ситчик? Есть:

— Ст. Иванович, вон с той полки. Не с этой, — дурак! Вон, третья снизу...

Ст. Иванович подавал.

— Вам какого? Бундовского с крапинками? Сей минуту-с! Эрлих! Пятая полка снизу! да живее. Зарубите себе на носу: не покупатель для нас, а мы для покупателя...

«День» называл себя: «Орган социалистической мысли». Это печаталось под заголовком. Что сие означало, трудно было понять. Известно было только то, что «социалистическая мысль» ковалась под звон банковского золота.

«Социалистическая мысль» честно отрабатывала свою зарплату и во время войны и после Февральской революции.

Молебствие с водосвятием

Накануне выхода первого номера в редакции и конторе «Дня» настоятелем Знаменского собора, митрофорным протоиереем отцом Митропольским, было отслужено молебствие.

Присутствовали все члены редакции и конторы. Икона была заранее приготовлена и повешена, где надо. Тихо и сладостно мерцал огонек лампады. Было благолепно и торжественно.

Проникновенно, можно сказать, вдохновенно звучал немного надтреснутый голос старого иерея, призывавшего божье благословение на «орган социалистической мысли».

Благоговейно склонились обнаженные головы меньшевиков. Дым от кадильницы благовонием пропитывал воздух редакции.

Как водится, был отслужен молебен «за государя императора».

Потом отец Митропольский долго махал щеточкой из кропильницы. Святая вода обильно стекала со стен и со лбов таивших в себе «социалистическую мысль».

После молебствия была предложена трапеза, которую благословил отец Митропольский, сев во главе стола.

До конца трапезы старый иерей, однако, не досидел. На столе было очень много бутылок, и «митрофорный» малость сдрейфил: не рассчитал своих сил и стал валиться под стол. Мы отвезли его домой, наполнив карманы его рясы конфектами и яблоками.

После его ухода «социалистическая мысль», раньше несколько стесненная авторитетом церкви, теперь стала свободно выливаться в форме речей.

Еще тихо светилась лампада, но пламя речей уже буйствовало над пиршественным столом.

Пахло ладаном, но это было (честное слово!) не от меньшевистского каждения. Меньшевики говорили хорошо и плавно.

Говорили о будущей газете, о ее миссии, о ее будущем. Омары, между прочим, были очень хороши. И бутылки с красным, между прочим, бледнели. Лица же, между прочим, краснели.

Один из присутствовавших под конец заплакал. Ударяя себя в грудь, он восклицал:

— О рабочих ничего никто не сказал. Социалисты мы или не социалисты?

Слезы его были искренние. Он давал рабочую хронику, но вместе с тем давал сведения и охранке. После Февральской революции, когда разобрали архив охранки, он оказался в списке провокаторов.

Плакал он, вероятно, оттого, что никакого достойного внимания материала он не мог собрать для охранки. Искренние, искренние были его слезы.

Фамилия его была Дикий.

На следующий день вышел первый номер. Путь «Дня» был намечен: «С богом за социализм!»

Война

По улицам тянутся патриотические демонстрации к Зимнему дворцу. Высоко подняты над толпой портреты «обожаемого монарха». Трехцветные национальные флаги хлещут воздух.

И тут уже не переодетые городовые,— идет подлинная «святая русская интеллигенция», от кадетов до меньшевиков. Идут демонстрировать перед величайшим в мире тупицей, перед Николаем II, свои верноподданнические чувства.

В редакцию то и дело поступают сведения:

«При выходе царя вся площадь запела гимн. Потом радостно, с криками «ура» и т. д.

«Увидев царя, толпа опустилась на колени. Царь махал платком» и т. д.

Кричала «ура», пела «гимн» и становилась на колени в первые дни «святая русская интеллигенция» беспрерывно.

Хулиганье в это время громило посольство и кафе, содержатели которых были с немецкими фамилиями.

Знаменитый литературный кабак «Вена» переменил название, и специально приставленный у под'езда человек об'яснял всем подозрительным суб'ектам:

— Хозяин — Соколов. Русский. Православный.

В «Дне» радовались «под'ему». Меньшевики вещали:

— Вот, как разобьем немцев, пойдут у нас свободы. Народ покажет, что он стоит этого...

Война не застала «Дня» врасплох, как застала его впоследствии революция.

Не одно было заседание в тревожные дни до официального об'явления войны. Собирались много раз и случайно и неслучайно.

Сначала стоял вопрос: должны ли мы воевать или нет?

И «День» решал: Австрия пред'явила Сербии унизительные требования по поводу убийства австрийского наследного принца, и это оскорбляет честь каждого русского. Честь России оскорблена!..

И вывод: надо показать зазнавшимся австриякам, где раки зимуют. «День» в эти дни излучал патриотизм из всех пор своих.

В тот день, когда была об'явлена война, платформа «Дня» была уже выработана: Даешь Берлин!..

Вместе с первыми залпами пушек загремели патриотические залпы в «Дне»: «Война до победного конца!»

«Улица» громила немецкое посольство и немецкое кафе, а «День» с неменьшим азартом громил немецкий милитаризм и немецкое юнкерство, забыв про российский милитаризм и российское дворянство.

И все последующие статьи, которые печатались потом в «Дне» в течение трех лет войны, были похожи на те камни, которые швыряла «улица» в окна мирных немецких жителей.

Потом эти камни полетели в другую сторону, полетели в окна «пораженцев», в «Кинталь», в «Циммервальд».

Меньшевики особенно старались. В оборонческом деле они перебуржуазили все буржуазные газеты. Было определенное желание показать, что они, меньшевики, не такие, как иные прочие.

Казалось, вот-вот они запоют «Боже, царя храни», чтобы внушить к себе доверие правительства.

Меньшевики мечтали, иногда даже вслух:

— Вот победим, тогда увидят, что народ достоин свобод.

Вся надежда была на будущую милость царя и его министров. Увидит, мол, царь, как народ старался, и скажет:

— Дарую своим верным слугам, рабочим и крестьянам, республиканский строй.

Трудно было верить в наивность меньшевиков из «Дня». Все они были люди неглупые, с образованием. Все знали, как после победы начинал хаметь царизм. Историю все знали.

Мне бы не хотелось повторять избитые слова о банкирских наймитах и т. д. Но когда я начинаю искать причин меньшевистского оборончества в «Дне», мне поневоле приходят на память «Русско-Азиатский банк», «банкирский дом Лесина» и т. д.

Есть украинская пословица:

— На чьем возу собака лежит, в защиту того она и лает.

Меньшевики в данном случае все-таки лежали на возу «банкирского дома Лесина».

Революция

Мы все, сотрудники «Дня», в полном составе сидели в конторе на Невском проспекте (ныне проспект 25 октября). Редакция «Дня» уже помещалась в собственном доме на Ямской.

Мы разместились у окон — их было штук десять, и все они выходили на улицу — и смотрели на толпы, которые с красными флагами шли к Знаменской площади, нынешней Площади Восстания.

Было это в тот день, когда казаки на Знаменской площади зарубили пристава Александро-Невского участка и когда уже стало выясняться, что «усмирение» вряд ли последует.

В памяти моей воскрес 1905 год. Одесса. «Одесский Листок». Мы сотрудники «Одесского Листка», так же «ничем неповинные в революции»,

как и теперь мы, сотрудники «Дня» в столице, смотрели вниз на толпы с красными знаменами.

Разница, конечно, была, но не в пользу «Дня».

Бывший ротмистр и будущий редактор первой на юге черносотенной газеты Дашкевич-Чайковский делал тогда хорошую мину. Злобы не показывал.

А разместившиеся теперь у окон меньшевики, эсеры и трудовики из «Дня» с нескрываемой злобой шипели:

— Провокация!

— Немецкие агенты работают.

Двенадцать лет тому назад в Одессе фельетонист «Одесского Листка» Гермониус, бывший театральный шантажист и будущий сотрудник знаменитого черносотенца и погромщика Крушевана, скрывал свои мысли и даже делал вид, что радуется.

Теперь же меньшевики, эсеры, трудовики и кадеты из «Дня» откровенно обменивались мнениями:

— Изменники!

— Переодетые городовые!

— Слуги кайзера Вильгельма!

— Бунт бессмысленной черни!

Толпы стали гуще. Остановились трамваи. Вагоновожатые забрали ключи и ушли из вагонов.

По рядам у окон пошло:

— Хулиганье! Ключи стянули!

— Ни себе, ни другим. Ведь ключи им не надобны.

— Гвозди в стены ими будут вколачивать.

Когда самодержавие пало, все стало успокаиваться и трамваи пошли, вагоновожатые явились к своим вагонам и принесли ключи. Для того и унесли их с собой, чтобы не пропали.

Среди знамен с надписями при проходе одной демонстрации ярко выделялось знамя с надписью:

— Долой войну!

Кто-то обратил внимание на это знамя, но меньшевики, трудовики, эсеры и кадеты делали вид, что не видят этого знамени.

Демонстрация была уже очень большая. Преобладали рабочие. Было много и солдат. Трудно уже об'яснить это «бунтом», провокацией» и «немецкими агентами». И оборонцам было невыгодно замечать знамена с надписями «долой войну».

Одна конторская барышня пробралась к окну в то время, как проходила одна из демонстраций.

На «барышне» была красная блуза.

Проходящая демонстрация, заметив в окне нечто красное, решила, что ее приветствуют. Демонстрация приостановила шествие и закричала «ура». Замахали шапками.

— Отойдите от окна! Отойдите от окна! — закричали все с испугом.

— Хотите, чтобы жандармы разгромили контору?

— Газету закроют.

— Обысков захотелось.

Бедная «барышня»бросилась от окна, перепуганная на-смерть.

Спустя несколько дней, сотрудники «Дня», Ст. Иванович и Эрлих, стали подкатывать к редакции на автомобиле, реквизированном у кого-то из министров.

Ст. Иванович был членом Совета рабочих депутатов. Эрлих был членом Исполкома.

Они «приняли революцию», как облупленное яичко, которое им положили в рот. «Бунт» кончился благополучно. Можно было теперь принять власть...

Часто стал приезжать в редакцию, тоже на реквизированном автомобиле, один из видных столпов «Речи», Л. Неманов. Он был назначен директором Телеграфного Агентства и редактором «Правительственного Вестника» или «России» — не помню теперь, какой из этих газет.

Между «Днем» и «Речью» вообще стал устанавливаться в то время какой-то контакт.

В «День» стали заходить власть имущие люди, о сотрудничестве в «Дне» Керенского, Потресова и еще каких-то художников пера было об'явлено в особой рамке на самовиднейшем месте.

Однажды к Эрлиху пришел какой-то почтенный старик с не очень умным, но интеллигентным лицом. Одет он был неплохо, но очень грязно. Нечищенный пиджак из хорошего, впроечм, английского материала. Ботинки в грязи. На руках большие черные ногти. Небольшая, но густая борода была полуседая, но казалось как-то, что она покрыта пылью.

Лицо старика мне показалось знакомым.

— Это не Дубнов? — спросил я Эрлиха после ухода старика.

Дубнов был известный еврейский историк. Эрлих был женат на его дочери. Почему-то мне казалось, что историки, имеющие дело с архивной пылью, должны иметь именно такую пыльную внешность.

Эрлих обиделся.

— Извините, — сказал он с достоинством, — Дубнов одевается джентльменом. Он всегда в сюртуке, в цилиндре... Таким «шмаровозом» вы его никогда не увидите.

— Кто же это такой?

— Это? Не знаете? Это Чхеидзе.

Чхеидзе я еще несколько раз видел в редакции. «День» становился влиятельным органом печати...

Последнее собрание

Происходило это в апреле. Присутствовали все группы: меньшевистская, самая большая, бундовская, эсеровская, кадетская, трудовая. Были и беспартийные, конечно.

Собрание было более чем бурное, оно было штормовое. Речей о войне было мало. Старая платформа — «Война до победного конца» осталась. Наоборот, оборончество после Февральской революции усилилось. Появился новый лозунг:

Победить, чтобы укрепить революцию.

Из военных речей запомнились мне только две: Ст. Ивановича и одного блестящего, хорошо известного журналиста и театрального критика. Он ныне уже покойник. До конца своей жизни он честно работал с советской властью. Не будем называть его имени в связи с тогдашней его оборонческой платформой.

Речь Ст. Ивановича была замечательна по своей «демократичности». Он напомнил о том, что есть не только русский народ, но есть еще и народ чемецкий, о котором «мы, социалисты», обязаны также заботиться.

И вывод был такой: в силу этих забот русский народ должен во чтобы то ни стало «набить морду» немецкому народу, чтобы он, немецкий народ, победив нас, не отнял у нас Керенского и не посадил на его место Николая.

Речь второго оратора была не так глубоко «социалистична», но она в ярких красках рисовала черное будущее после нашего поражения.

— Мы не хотим, — заканчивал он свою речь, — чтобы померанские стрелки появились на Невском проспекте.

Почему именно померанские стрелки, а не какие-нибудь иные части германских войск должны были появиться на Невском, оратор об'яснить не нашел нужным.

Я так много наслышался подобных речей в «Дне» за время войны, что они меня больше не «поднимали», а наоборот, навевали сон.

Но речи о войне вскоре прекратились. Шторм сменился ураганом, смерчом: заговорили о врагах революции, о большевиках...

Прошло с тех пор двенадцать лет. Дом, в котором помещалась тогда редакция «Дня», вероятно, уж не раз ремонтировался внутри.

Но я думаю: если бы сбить сейчас новую штукатурку внутри комнаты, в которой происходило описываемое мною собрание, из стен брызнет старая меньшевистская ненависть к большевикам. Ею в этот вечер стены, несомненно, пропитались насквозь.

Поездка в Аравию[1]

Г. Гастов.

II

Так вот он Иемен.

«Счастливая Аравия», страна древних химеритов, царство Савское, сказочный Офир, страна сокровищ, царство роз и ароматов — вот эта страна, которая с борта парохода выглядит унылой, бесплодной пустыней... Вот она — Ходейда, город, полузанесенный песками, с полуразрушенными домами, которые как куча разбросанных костей белеют на безжизненной серой скатерти окрестной степи.

Проходит 15—20 минут. Видим — белый парус отделяется от берега и, лавируя по ветру, движется к нашему кораблю. Через полчаса он — у борта.

Внешне мы держимся твердо, но в душе полной уверенности нет.

Что-то нам скажут: добро пожаловать или — проваливайте...

По трапу поднимается пожилой сгорбившийся облысевший итальянец, агент местной итало-кампании, взявшийся обслуживать наш пароход. С ним голоногий араб, в потрепанном турецком френче, помощник начальника полиции. Узнав, кто мы, зачем приехали, он поспешно отправляется обратно на берег — доложить.

Итальянец, жадно высасывая холодный нарзан, отвечает на наши вопросы о Ходейде, безотрадно помахивая рукой.

— Здесь ничего нет... ничего... ни воды, ни зелени, ни пищи, все надо привозить из-за границы, все... Не разрешит ли мне капитан наполнить пару бутылей холодной водой?

... Новости? — спрашиваем мы. — Чем кончились выборы?

— Мы здесь ни о чем не знаем, — отвечает он, горько усмехаясь и делая рукой тихий безнадежный жест...— Выборы... Мы даже не знаем, что они должны быть.

— А что здесь?

Снова тихий сардонический жест.

— Здесь — сами увидите. Похоже на войну. Ждем аэропланов. У Имама что-то неладно с англичанами.

— Как живете?..

— И не спрашивайте... Плохо. Как в тюрьме или в ссылке, если не хуже.

Видим — из уставших и выдохшихся. Впрочем, возможно, это специальный прием. Запугать нас, расписывая все в самом безотрадном виде.

---

[1] Начало очерка Г. Гастова см. в четвертой книге «Красной нови».

А самбуки — большие парусные лодки — со всех сторон уже облепляют наш корабль, предчувствуя поживу — заработок на выгрузке наших товаров и перевозке их на берег. Голые черные люди прыгают с самбуков в воду, подплывают к бортам «Тобольска», волоча канаты для привязи. Прилепились, впились, вот уже раздвинулись челюсти трюмог, затрещали лебедки, полетели охапки мешков с мукой и сахаром с палубы и из глубины трюмов за борт на емкое дно самбуков.

А солнце, поднявшись, долбит уже потоком лучей палубу, брезентовый навес, голые спины и непокрытые головы получерных людей.

Вот появляется новый большой опрятный самбук с красным флагом на мачте. На флаге — меч в пятизвездном окружении. Символ Иемена. В самбуке — все власти Ходейды, при них охрана — около полутора десятка солдат.

Сановники — в белых бурнусах, опоясаны кинжалами, холщевые шарфы через плечо. На голове у всех — белая чалма, но на ногах — европейские ботинки. Это — единственный признак внедряющейся европеизации.

Солдаты — аскеры — тоже в халатах, но из грубой местной ткани. Что-то в роде юбки с темной кофтой, перехваченных поясом вокруг талии, и пулеметной лентой через плечо. Ноги босые, глаза горящие, дикие, орлиные. Это — горцы, на корабле они — впервые.

Выделяется торжественная фигура губернаторского советника Мухаммеда, носящего титул Эмир-эль-Джеиш, что-то в роде местного главковерха. Возле него вертится переводчик Фуад в европейском костюме и феске. Это египтянин — он единственный из всех знает европейские языки. Называет себя переводчиком губернатора.

Вопросы.— С чем приехали, какой груз, намерены ли ехать в Санаа на свидании с королем?.. Расспрашиваю о здоровье и условиях пути. Отвечая, мы расспрашиваем о положении в стране. Не скрывают, что не все в порядке. Ждут английских аэро-налетов. Но не боятся... Справимся.

Наш буфетчик с ног сбился — вытаскивает батареи нарзана и просто холодной воды — это здесь лучшее угощение.

После угощения Эмир-эль-Джеиш через переводчика произносит торжественное приветствие.

— Мы давно ждали русских. Еще в прошлом году мы рассчитывали видеть вас здесь. Надеемся, что с помощью Аллаха, отношения наши упрочатся и торговля будет развиваться. Приветствуем в вашем лице первых русских, прибывших на Иеменскую землю.

Пока мы обмениваемся приветствиями, все — и солдаты и власти — жадно впиваются взорами в каждую мелкую деталь парохода. Затем все наперебой бросаются его осматривать, заходя во все закоулки. Трап, капитанская будка, руль, компас, бинокль, лазарет — все привлекает дикое, жадное внимание людей, изголодавшихся по технике до того, что даже наш довольно-таки потрепанный от долгого пути пароход кажется им невиданным гигантом. Ведь до сих пор сюда обычно заходили только ветхие, маленькие иностранные пароходики, а все крупные проплывали по главной красноморской дороге, не удостаивая своим заходом скромный иеменский порт.

Осмотр кончен — мы едем на берег.

Мощно подбрасывают волны вместительный самбук, в котором уселось десятка три человек. Вот уже отчетливо и величественно вытянулась цепь причудливых белых зданий, красный флаг колышется над одним из них. Вот уже грядой растянулся город — одним взором его не охватишь — степь, белые здания, длинные ряды соломенно-глиняных хижин, паруса самбуков на волнах и неподвижные корпуса лодок на отмели, четыреугольный каменный мол, выпятившийся вперед, ограждает маленькую лодочную пристань.

Первое впечатление от Ходейды — длинная цепочка пеликанов на молу. Важно и чинно сидят грудастые белые птицы, почесывая клювами крылья. Невозмутимо глядят они на подброшенный волнами к каменному молу самбук. Привязали самбук канатами, и чьи-то руки вытаскивают нас на твердый камень.

Знойная пыль окутывает со всех сторон, полуслепые бредем мы за нашими сопровождающими, входим в какие-то ворота и по длинной внутренней лестнице, минуя дворы, фронтоны, эспланады, вваливаемся, беспомощно садимся в кресла в огромной комнате, через окна которой дует свежий морской ветер. Смотрим на потолок — цветные арабески, круги, спирали, звезды, всевозможные сочетания кривых и прямых, бесконечное множество форм, замечательных тем, что ни одной пары сходных среди них нет. А цвета — тоже различные и в самых разнообразных сочетаниях. Осматриваем обстановку. Полуевропейское, причудливое смешение старо-арабского с европейской безвкусицей — большое потертое раскидное кресло, ломберный столик в углу, несколько стульев. На стенах — пара английских военных олеографий в память о пребывании англичан в оккупированной после войны Ходейде. Умывальная комната — каменный пол, кадка, переделанная в умывальник. Мне говорят, что воды много, можно обливаться и мыться, в то время как мы под впечатлением слов итальянца боимся даже руки помыть, думая, что здешняя вода — ни весть какая драгоценность. Нас успокаивают, воды в Ходейде много, правда, она с привкусом, но для мытья вполне пригодная.

Начинаем чувствовать, что не так страшен чорт, как его малюют. Жадно обливаемся кружками воды и меняем костюмы, пропарившиеся от пота.

Из окна — мы на высоте четвертого этажа — широко разворачивается морская гладь, чайки, прауса, и далеко на горизонте чернеет силуэт нашего корабля. Внизу по улице тянутся вереницы получерных и полуголых людей, перетаскивающих мешки в таможенные склады, открытые вовнутрь двора.

Таможенная процедура здесь не сложна. Пошлины взыскиваются по числу мест и не свыше 5% стоимости товара. Йеменской промышленности еще нет, она иностранной конкуренции не боится, импортируются главным образом предметы первой необходимости — мука, сахар, керосин, ткани, мыло, спички, и поэтому экономическая политика здесь не вышла из рамок примитивного фритредерства. Тут нет своей промышленности, нет ни банков, ни акционерных обществ, и политика протекционизма еще впереди. Лишь этим, а отнюдь не запретом Корана, как наивно думают некоторые, об'ясняется низкий уровень пошлин в Иемене. Правительство здесь не связано неравными договорами и формально могло бы эти пошлины повысить. «Иемен — это не какие-нибудь Китай или Индия» — горделиво скажет вам местный патриот. Иемен может повысить свои пошлины, но просто не находит нужным это делать.

Нас сажают за круглый стол, покрытый десятком тарелок с различными кушаньями. Тут кусочки баранины, курицы, зелень, яичница, рис, шербет в стаканах (вода, приправленная какой-то фруктовой настойкой). Все берут пищу с блюд пальцами и едят с общей тарелки. По-арабски принято есть руками, арабы находят, что пища, которую берешь вилкой или ножом, теряет во вкусе — приобретает привкус металла, и чтобы хорошенько распробовать, надо брать ее пальцами. Позже — мы привыкаем к этому и начинаем разделять арабскую привычку.

Кончена еда, выпит шербет и маленькие чашечки кофе. Угощавшие нас сановники откланиваются и оставляют нас для послеобеденного отдыха. Мы в изнеможении валимся на расставленные походные кровати.

Проходит послеобеденная пауза, час-другой, черные люди внизу продолжают таскать мешки, а напротив окон недвижно дремлют, как застывшие, несколько полуголых часовых, охраняющих наше здание.

Приходит секретарь губернатора, сообщает, что принц готов принять нас через 1—2 часа, когда мы захотим. Расспрашивает, можно ли рассчитывать на то, что советские товары будут прибывать в Иемен, нельзя ли прислать сюда инженеров, агрономов и сельскохоз. машины. Задает политические вопросы и неожиданно огорашивает меня просьбой раз'яснить ему суть наших внутрипартийных разногласий. Оказывается, он уже где-то, что-то читал о троцкизме, внутрипартийной дискуссии, и все это преломилось у него в какие-то смутные представления, которые он хочет оформить в разговоре со мной.

Жалуется на англичан — они требуют ухода войск Имама из областей, прилегающих к Адену, но Имам на это не соглашается. Возможны осложнения. Сидевший до сих пор в Санаа английский полковник Джекоб неделю назад ни с чем возвратился в Аден. Итальянцы — выходят из моды. Два года тому назад с ними был заключен договор в Санаа, и тогда все надеялись, что из Италии прибудут хорошие товары, что итальянцы защитят Иемен от Англии. Эти надежды потускнели. Больше иллюзий нет.

Вскоре нам сообщили, что принц Мухаммед (сын короля, губернатор) ожидает нас во дворце.

Мы вскарабкиваемся на подведенных к воротам мулов. Животные топчутся на месте, не понимая нашей команды, и лишь недоуменно поводят ушами. Аскеры приходят нам на помощь, берут мулов за уздечки и ведут их. Поворачиваем за угол, там нас почему-то пересаживают на лошадей. Очевидно, это некоторое повышение в ранге. Но лошади оказываются не более приспособленными для небывалых седоков и тоже идут, лишь повинуясь держащим их за узду аскерам.

По пыли затемненных глинобитными зданиями улиц медленно подвигаемся вперед, пронизываемые любопытными взорами полуголых, чалмоносных горожан, для которых наш приезд — событие. Нас учтиво приветствуют какие-то два европейца в касках. Узнаем, что это сотрудники местных итальянских фирм. Проезжаем мимо чайной, где под тенью плетеного навеса парятся, сидя на плетеных койках, десятка два человек, потягивающих табачный дым через длинные канатообразные трубки, соединенные с причудливым стеклянным сосудом, внутри которого бурлит вода. Это — куренье кальяна, наргиле.

Кончаются послеобеденные часы. Часы ката. Кат — небольшое симпатичное деревцо, зеленые листики которого, содержащие какую-то разновидность опия, являются главным источником наслаждения для всего населения от мала до велика, без различия классов и возраста. В послеобеденные часы все, кто имеет хоть несколько медяшек в кармане, возлежат на ковре, на плетеной койке или просто на уличной пыли, пожевывая зеленые листики ката, бережливо запасенные заранее в виде связанного букета. В этот час люди приходят в тупоумиленное состояние, искусственно стряхивая с своих нервов опийным раствором ката усталость пережитого полудня...

Проскользнув между темными навесами городской стены, выезжаем за пределы городской черты, минуем кладбище — пространный пустырь, усеянный камнями вместо надгробных памятников. По левую руку — полукруглые глиняные хижинки с приземистыми соломенными куполами. Здесь чувствуется африканский стиль. Вдали, переливаясь в волнах струящегося воздуха, колышатся уже контуры большого здания, окруженного стеной. Пальмы по сторонам, полуголые часовые у ворот.

Обалдевшие от одуряющих лучей солнца, прокоптев от огненной пыли, мы беспомощно скатываемся с подведенных к крыльцу лошадей и в полусне поднимаемся по лестницам, попадая в комнату принца.

Это — не деловой кабинет, а комната отдыха. На длинных диванах, уставленных подушками, полулежат несколько человек, сладко затягиваясь дымчатыми волнами наргиле и мерно пожевывая зеленые листья. При нашем входе один из них в зеленой чалме, раскидистом белом халате — встает и по европейски приветствует нас, протягивая руку. Это — наместник приморской полосы, второй сын короля, принц Мухаммед. Окружающие его — уже приветствовали нас на пароходе.

Наместник — среднего роста брюнет с волнистыми черными бачками и реденькой бородкой. Тонкие черты лица, задумчивый взор и тихий полузадушевный тембр голоса. Все приветливо улыбаются нам, мерно помахивая веерами. Принц приглашает нас сесть, нам подают шербет и турецкое кофе. Он начинает говорить. К сожалению, выслушивая его через переводчика, я не могу уловить всего своеобразия его торжественной речи и должен довольствоваться ее содержанием.

— Мы знаем о Советской России, знаем, что благодаря ей Турция одержала успех в борьбе за независимость, знаем, что у вас заботятся о хороших отношениях с народами Востока...

Мы внимательно смотрим друг на друга. Он — сын главы духовно-феодальной власти Иемена, отпрыск одной из старейших мировых династий, претендующей на происхождение от пророка Магомета. На нем чалма и шелковые ткани. Он говорит размеренной, плавной речью Корана, пересыпанной упоминанием бога и цитатами из священных книг. Мы — только сегодня попавшие на эту землю выходцы из далекой северной, социалистической страны, посланцы рабоче-крестьянской власти. Впервые встречаются лицом к лицу русские большевики и древние иеменские аристократы. Пока принц говорит, мы и наши собеседники смотрим друг другу в глаза, как будто у всех в мозгу сверлит одна и та же мысль о причудливых путях, какими столкнулись лицом к лицу представители двух столь далеких миров.

Поговорив о торговле, пообещав свое содействие в деле реализации наших товаров, принц принимается подробно расспрашивать нас о международном положении, перебирая страну за страной, внимательно просматривая привезенные нами фотоснимки. Интересуется также положением в нашей стране, заставляя вновь пересказать ему и нашу точку зрения на события в Китае и суть разногласий с троцкистами (слова этого он, конечно, не знает и догадываться о сути его мысли удается лишь после долгого раз'яснения). Спрашивает даже о шахтинском процессе и о судьбе германских инженеров.

В конце беседы Сейф-Уль-Ислам («Меч Ислама») — это официальный титул принца — делает рискованную попытку проложить мостик между нашими мировоззрениями и установить родство Ислама с большевизмом, Корана с программой ВКП.

— Ведь наш пророк также проповедывал необходимость равенства и общего пользования землей. Он запрещал ростовщичество и жил, как бедняк...

Еще небольшой обмен мнениями, и беседа окончена. Нам сказано, что от'езд в Санаа зависит лишь от нашего желания, мы должны наметить день от'езда, и нам будут предоставлены все средства передвижения, охрана и проводники.

Мы возвращаемся и, еле добравшись до дома, снова в изнеможении сваливаемся на кресла и койки. День кажется исключительно длинным от

изобилия впечатлений. При тусклом свете керосиновой лампочки — в Европе она называется кухонной — мы садимся ужинать.

...Все бы хорошо, но этот несносный переводчик, египтянин Фуад, неотвязчиво сидит с нами, не отходит даже во время ужина, приставая с вопросами и стараясь понять, о чем мы разговариваем. Мы стараемся не замечать его, не разговариваем с ним, но он сидит упорно, настойчиво, пока мы не начинаем укладываться спать.

На другой день взволнованный приходит Эмир-Эль-Гейш. Он передает нам совет принца ни с кем, кроме него самого, о серьезных делах не говорить. Ходейда кишит подозрительными людьми, в частности Фуад вовсе не переводчик губернатора, а просто сотрудник таможни с какими-то темными связями.

Через несколько дней узнаем, что он уже уволен со службы и выслан на остров Камаран.

Готовимся к от'езду в Санаа.

Бродим по улицам Ходейды, стараясь уловить ритм незнакомого города.

Узкие улицы, темно, душно, сыро. Под плетеными и досчатыми навесами базара, близ мешков и лукошек сидят полуголые люди в чалмах, в изнеможении обмахиваясь какими-то подобиями вееров. В мешках картофель, лук, заплесневелые сухие финики, кофейная шелуха, просо и кукурузные зерна. Финики привозят сюда из Месопотамии, все остальное — продукты местного земледелия.

В мануфактурных рядах — пышные ткани индийской выделки, парчевые, шитые серебром и унизанные цветными камешками. Наряду с ними дрянная, дешевая японская бязь шанхайской выделки и всевозможные ассортименты легких тканей индийского, германо-австрийского, итальянского и манчестерского производства. Есть, впрочем, и чисто йеменские — это грубые холстяные паласы, белые с красной каймой или сплошь красноватые. Они выделываются из местного хлопка и окрашиваются местными растительными красками.

Из иностранных продуктов бросаются в глаза — белая индийская мука, из которой делается хлеб, похожий на крахмальную лепешку, безвкусный, черствеющий в несколько часов; сахар явайский и чехословацкий, керосин всех мировых фирм — Стандарт-Ойль, Шелль и даже итальянский из Фиуме. Все они конкурируют друг с другом в тесноте ходейдинских закоулков. Итальянский керосин собственно говоря — наш, батумский, но разбавленный и потому никуда негодный.

Купцы — зеленщики, бакалейщики и др. мелочные торговцы местными продуктами — все здешние арабы. Тканями же и вообще иностранными товарами орудуют преимущественно индусы. Здешние индусы — их около сотни — почти все уроженцы Сурата, первой местности в Индии, куда проникли европейцы и где развилась индийская национальная промышленность. Они — мусульмане, агенты бомбейских фирм, связаны с ними через филиалы в Адене. Окладистые бороды, черные баки, ермолка на голове делают их похожими на евреев. В Ходейде внешняя торговля Иемена сосредоточена в руках индусов, еврейские же купцы играют аналогичную роль в Санаа. Все это, если хотите, коммерческие агенты, компрадоры иностранных фирм. Индусы, внешне наиболе культурный элемент Ходейды, чисто одеты, начитаны, выписывают индийские газеты, имеют что-то в роде клуба, не прочь поговорить о политике, полиберальничать, поругивая английскую политику в Индии. Помимо торговли, их главное занятие — ростовщичество. Банка в Ходейде нет, формально запрещается давать деньги в долг под проценты (запрет Корана!). Однако, не возбраняется получать проценты каким-либо

замаскированным способом, положим, под видом отчисления в пользу кредитора части прибыли должника, полученной им благодаря займу. Можно, наконец, вознаградить заимодавца путем расчета в другой денежной единице с соответствующей льготой. Индусы держатся в стороне от арабов, слегка презирают их, группами совещаются, сидя в полутьме своих конторок. Дома имеют настольные библиотечки английской литературы, спят не на кроватях, а на подвешенных к потолку дощатых колыбелях (во избежание змей). Всякий приезжий должен сразу связаться с ними, хотя бы для того, чтобы разменять иностранную валюту на местные талеры.

Кстати, о талерах. В 1928 г. вы видите в аравийской глуши круглую серебряную монету с портретом полногрудой Марии-Терезии и датой 1794 г. (год Конвента, год разгара французской революции).

Но не думайте, что эта монета действительно уцелела от тех времен. Этот талер, или реал как его называют иногда арабы, чеканится непрерывно и ввозится сюда из Европы. До своей чеканки йеменцы еще не додумались и валюту импортируют себе из-за границы в обмен на товар,—и живет Мария-Терезия в глуши йеменских гор, пустынь и ущелий. Лишь мелкие медяшки чеканятся во дворце Имама — в Санаа.

Базар — место крупных сделок и мелкой торговли. Сюда стекаются товары из-заграницы и местные продукты с гор Тихамы. Здесь все это скупается, распределяется, перепродается и растекается по всем уголкам страны. Внутренняя торговля находится в руках арабских купцов, это они скупают товар, организуют верблюжий и ослиный транспорт. Роль индусов — перехватить товар от иностранных импортеров и перепродать его туземным купцам.

В Ходейде есть и промышленность. Три-четыре больших дома — кофейные фабрики. Здесь десятки женщин очищают кофейное зерно от шелухи, растирая его камнями. Затем это зерно идет на веялки и сортировки, раскладывается по мешкам, упаковывается и перевозится на иностранные пароходы. Эта кипучая работа составляет, пожалуй, основной пульс экономики Ходейды.

Кожевники, делающие сандалии из местной кожи, портные, швейные машины которых неумолчно стучат в тени базарных навесов. Кузнецов — мало. Ковать вьючный скот здесь не принято. Лошади, ослы, мулы, верблюды некованные идут по каменистым горам и песку пустынь. Ковать их боятся. Раз подкуешь — и животное избаловано, будет постоянно требовать ковки, которая является здесь слишком нерентабельным делом. Поэтому даже по каменистым горам лошади скачут некованные.

С утра до вечера шумит базар, свистят бичи, ревут ослы, нищие, воздев руки, требуют милостыни, временами сумасшедшие выкрикивают невнятные фразы, стучат швейные машины, шелестит кофе на ситах и веялках, черные грузчики, обливаясь потом, таскают мешки из складов на берег, грузят его на самбуки и перевозят на борты кораблей.

Вечером под тесными сводами базарных навесов зажигаются керосиновые лампочки, причудливее и заманчивее начинают выглядеть узоры индийских тканей и даже убогие мешки кофейной шелухи и длинные пласты засушенных табачных листьев, разостланных на грязных прилавках. Часа два сумерек — и наступает сплошная темнота, захлопываются лавки, со скрипом сдвигаются ветхие скрепы главных базарных ворот, а в кофейнях, на грязных плетеных стульях, до поздней ночи сидят купцы, солдаты, чиновники, потягивая кальян и запивая его настойкой из кофейной шелухи или просто холодной, пропитанной ладаном водой.

К северу и востоку от базара, за его стенами, отделенный широкой полосой не то улицей, не то пустырем, раскинулся «промышленный» квар

тал, называемый «индийским базаром» — Сук-эль-Хинд. Он замечателен тем, что в нем нет ни одного индуса, как в нашем Китай-городе редко встретишь китайца. Тут небольшой базар с такими же, но еще более невзрачными лавочками: но наиболее интересное здесь — это небольшие соломенные глинобитные хижины, огороженные плтеными заборами, за которыми ютится зачаточная йеменская индустрия в образе примитивных прядильных мастеров.

За заборами, в тени этих хижин нет ни струйки дыма, здесь не слышен стук веретен, но можно увидеть двух полуголых людей, сидящих на земле и перебрасывающих попеременно друг другу деревянный челнок сквозь ряд натянутых нитей. Постепенно формируется грубая ткань, которая неподалеку в красильных ручным способом окрашивается в красные и синие цвета, разглаживается тут же тяжелыми ударами грубых, неоструганных деревянных колотушек и сушится на солнце. Таких хижин наберется в южной части Ходейды до двух десятков. Это — зародыш легкой индустрии Иемена.

А вот и тяжелая. В приморской части загородного квартала — две-три хижины. На полу — горят в жаровне несколько угольков, на которые дуют мехами через две трубки. И сидящий на корточках человек пытается с помощью этих нехитрых приспособлений исправлять старые гвозди, винты и чинить металлические вещи. Такова здешняя металлургия.

И еще — кораблестроение. На морской отмели стоит остов недостроенной рыбацкой лодки, возле него копошатся несколько человек, забивая клепки, прилаживая руль. Неподалеку — балки и доски — лесоматериалы. Пять-шесть лодок колышется здесь же на морских волнах, возле них десяток рыбаков тащат невод. Голый старик, сидя на песку, чинит старую сеть. Это местное кораблестроение и рыбопромышленность.

Набережная, где находится и наш дом,— это лучшая часть города, обвеваемая морским ветром. Здесь находятся лучшие дома, с видом на море, здесь почти сплошь иностранные фирмы — две-три итальянских, одна греческая, одна египетская и одна старая французская фирма в лице уцелевшего сирийца, по инерции сохранившего старую вывеску французской пароходной кампании. Деятельность этих фирм сводится, главным образом, к закупкам местного кофе и вывозу его за границу и к обслуживанию иностранных пароходов, заходящих в порт. Тут же на пристани — небольшое барачное здание с чайной возле него. Это — Управление местного порта, тут же база деятельности местного начальника полиции, творящего на месте суд и расправу. Тут он допрашивает виновника и наказывает его ударами плети или кулака.

А по обе стороны Ходейды, с севера и юга, небольшие крепости с башнями и гарнизонами, охрана от окрестных племен. Военный стиль Ходейды сглаживется оживлением бзарного бизнеса — днем; но ночью, когда утихает базар и дозоры выходят на улицы и становятся к воротам, карауля все входы и выходы города, тогда власть военщины чувствуется во всей полноте. Зазевавшиеся прохожие, под окриком аскера, поспешно возвращаются домой; в'езд в город возможен лишь после долгих переговоров и раз'яснений. И днем военные напоминают о себе, устраивая по праздникам маршировку на площади после молебствия в мечети (подражание стамбульским селямлыкам); да ежедневно, по окончании часов ката и после захода солнца, духовой оркестр оглашает резкими, пронизывающими звуками турецких военных маршей полусонную тишину закоулков.

И лишь на рассвете, когда несколько голых фигур — купальщики — ныряют в морские волны, да бочка верблюда водовоза заскрипит у соседних ворот, — дозоры стушевываются, и закипает обычная жизнь.

... Нас снаряжают. Вещи уложены на верблюда, который отправляется на полдня раньше. Верблюд идет медленнее мулов, но равномернее и, в конечном счете, догоняет их. Мы собираемся ехать на мулах. По распоряжению принца, нам дана охрана, что-то около двенадцати человек аскеров, под командой унтер-офицера — чауша. Под вечер мы выезжаем в окружении пеших солдат, идущих с винтовками на перевес. Вереница провожающих выходит с нами за городскую черту. Солдаты вытягиваются гуськом, провожающие откланиваются, иные получают бакшиш, и вот уже мулы, равномерно семеня нековаными ногами, уносят нас в потемневшую гладь. Отодвигаются вглубь белые фронтоны зданий, утихает плеск моря, мелькают мечети, сторожевые посты, загородные хижины, несколько пальм; душная испарина сырой степи, охватывает нас. Впереди ни зги, лишь неясные силуэты песчаных бугров, поросших колючками, видны по бокам; вперед тянется еле заметная прядь теряющейся в песках дороги, да вдалеке слышен глухой лай сторожевых бедуинских собак.

Аскеры затягивают протяжную походную песнь, слов которой никто не знает — да и есть ли они — неизвестно. Лишь слово «аллах» можно разобрать в неясном сумбуре гортанных тонов. Пустыня сдавленно молчит, зажимая нас в свои знойно удушливые тиски. На небе, близ южного горизонта, четыре звездочки, брошенные правильной крестообразной фигурой— созвездие Южного Креста — напоминают о том, что мы недалеко от экватора, за несколько тысяч верст, за четверть меридиана от нашей страны. Мы не только первые большевики, мы первые русские, идущие вглубь неизведанной, но приветливо встречающей нас, страны.

Лай бедуинских собак понемногу стихает, облаками заволакивается Южный Крест, а понемногу и все небо, и в этой тьме, где слышится стук сердца и чувствуется напряжение лобовых жил, с особенной остротой осознаем себя маленькими искрами мировой революции, залетевшими в даль южно-арабских пустынь.

Так движемся час, другой, третий. В темноте виднеются, очертания водоема, огромной ямы с глиняными краями. Аскеры наполняют походные фляжки, жадно пьют воду и протягивают фляжки нам. Руки невольно тянутся к соблазнительной жестянке, но мысль о том, что, быть может, на дне водоема лежит верблюжий скелет, а такие случаи нередки, удерживает запекшиеся губы от грязной, хотя и соблазнительной жестянки, с мутносоленой водой.

Движемся... Тропинка сузилась и как-будто вовсе исчезла. Мулы шагают по голому песку, пробираясь сквозь колючий кустарник. Мы начинаем опасаться — не сбились ли с пути. Но разве можно подозревать «сынов пустыни» в незнании избитейшей дороги Ходейда-Санаа. Вспоминаем рассказы об их умении ориентироваться по травам, звездам, по дуновению ветерка и следам копыт. Они обещают нам привал через два-три часа в маленькой бедуинской деревушке Танама, стоящей на «полпути» между Ходейдой и первым крупным пунктом — Ваджилем. В Танама есть плетеные кровати, вода, горячая настойка кофейной шелухи. Действительно, вскоре вдали показываются огоньки. Мулы ускоряют шаг, порой переходя на рысь. Солдаты об'ясняют, что впереди видна Танама. Мы стискиваем зубы, чтобы подавить неизмеримую усталость от тряски, жары, жажды, духоты, пота. Огни все ярче, и вот уже снопами света горят они. Мы недоумеваем, откуда такое яркое освещение в глухой бедуинской деревушке, не занесенной ни на одну из европейских карт.

А огни все ярче и ярче. Осталось пути не больше как на полчаса, вдруг аскеры дают знак остановиться — передохнуть. Растягиваемся на неостывшей от солнечного зноя земле, мечтая о том, как вскоре уснем на

плетеных койках, а под утро уже будем в Баджиле, за которым прохладные горы и вожделенная Санаа.

Аскеры оживленно совещаются о чем-то. Мой спутник подходит к ним и ему говорят:

— Впереди — Ходейда... Возвращаться ли нам туда или ехать обратно в степь.

Выясняется, мы с пути действительно сбились, так как аскеры в поисках сокращенного пути запутались, и мы, проделав кривую в пустыне, вернулись обратно, очутившись почти близ стен Ходейды, откуда выехали четыре-пять часов тому назад, проплутав бесплодно в томительном удушье Тихамы.

Спрашивать об'яснений у аскеров излишне, впрочем они сами дали их в обезоруживающей форме: «Так было богу угодно».

Истерзанные и растрепанные, медленно в'езжаем в пустынные улицы Ходейды. Полусонные патрули окликают нас, недоуменно выслушивая разъяснения наших аскеров. Мы под'езжаем к дому, вваливаемся в наши комнаты и выпиваем по 7—8 бутылок нарзана, после чего в изнеможении засыпаем.

На утро, часов около десяти, на причудливой автотелеге, мы вновь выезжаем, пробегая пустыню под утренним солнцем в течение 7—8 часов.

Авто-телега — грузовик с приделанным навесом и прибитыми внутри досчатыми сидениями — заставлена бидонами воды, которой через каждые 15—20 минут приходится поливать накаляющийся мотор. Шофер — суданец, как и большинство технических сил Геджаса и Иемена. Не раз приходится вылезать из машины и общими усилиями подталкивать ее, вытаскивая из раскаленного песка.

Дорога идет сначала близ берега моря — очертания полуострова и далеких пальм вдали. От полуострова — Рас-Эль-Кятиб—французы до войны собирались проводить железную дорогу на Санаа; память о дороге сохранилась в Ходейде в виде разбросанных там и сям заржавленных вагонных буферов. Через полчаса пути сворачиваем прямо на восток, нацеливаясь к далеким силуэтам гор, виднеющимися на горизонте, и врезываемся вглубь Тихамы, оставив влево дорогу на север Иемена к соляным копям Салифа, к портам Лохойя и Миди.

Тихама — так называется приморская половина Иемена, тянущаяся от северной до южной его границы. Противоположность ей — Джебель (горная часть), охватывающая центральную, основную часть, страны. Третья — загорная часть Иемена, переходящая в пустыни, — редко заселена, и значение ее второстепенно.

Тихама, в части непосредственно прилегающей к морю, представляет собой сплошную солончаковую равнину, выпаренное морское дно с застывшими, как волны, буторками и редкими зарослями саксаула наверху бугров. Лишь изредка безжизненность ее прерывается небольшим водоемом или оазисом из нескольких бесплодных пальм, близ которых пасутся стада овец и верблюдов. Навстречу попадаются одиночные путники на мулах и осликах, да караваны из десятка-двух верблюдов, груженых мешками кофе, мерно движутся по направлению к Ходейде. Изредка мелькает стройный силуэт газели, да заяц промелькнет. Так проезжаем Танаму, которая оказывается поселком из 4—5 плетеных хижин, сгруппировавшихся вокруг небольшого колодца.

После Танамы местность понемногу начинает оживляться. Горы становятся все более отчетливыми, не чувствуется уже душной приморской сырости, появляются большие селения в 40—50 и более хижин. Маленькие черные ребятишки толпами окружают наш автомобиль, останавливающийся

для поливки мотора. Видны поля и дурры и маиса, начинают попадаться деревья сначала одиночные, а потом — многочисленные, разбросанные по степи, кривые стволы, как солдаты врассыпную. Попадаются пересохшие каменистые русла, по которым во время дождей пробегает шумный поток, через несколько часов высыхающий. Вот совсем близко придвинулись горы и, об'ехав первую пару каменистых массивов, мы под'езжаем к Баджилю.

Самая тяжелая и унылая часть Тихамы осталась позади.

Но даже беглых впечатлений автомобильного проезда достаточно для того, чтобы убедиться в неизмеримом превосходстве йеменских степей над безжизненными песками Геджаса. В Иемене мы все же видим земледелие, оседлое население, здесь не чувствуется кочевого быта, и виден производительный труд. Предгорная же ее полоса, начиная с долины вокруг Баджиля, представляет собою пеструю картину засеяных полей, постепенно улучшающихся по качеству почвы и состоянию посевов по мере приближения гор. Тахама — лишь три года тому назад перешла под знамя иеменского правительства. Первые годы после войны она была занята англичанами, а затем ассирийским царьком Идриси. Англичане умело пользовались религиозными рзаногласиями между тихамцами (суннитами) и горцами, которые в большинстве принадлежат к полушиитской секте Зейди. Воссоединение Тихамы с Иеменом произошло при помощи вооруженной силы иеменского короля лишь в 1925 году.

В'езжаем в Баджиль. Направо над городом доминирует высокая гора, на вершине которой чернеют зубцы крепости. Селение состоит из множества конусообразных, покрытых соломой и огороженных плетнями, хижин.

Новые волны пыли окутывают нас, едва мы в'езжаем в тесные безветренные проулки. Мелькают плетни, куры, мальчишки, верблюды, навьюченные ослы; женщины спешно прячутся за двери хижин. В'езжаем на главную площадь, останавливаясь перед воротами массивного конака — тип крепости с башнями по углам. Во дворе виден колодец и отдыхающие верблюды. Это резиденция местного амиля (начальника уезда). Наскоро выслушав приветствие маститого, седобородого старца амиля, мы переходим из комнаты в комнату, попадая в столовую, где нас усаживают за общий стол. Мы что-то едим, но от жары, усталости и безсонности ночи пища в рот не идет. Еле дождавшись конца обеда, мы прощаемся с хозяевами, которые удаляются есть кат. Нас отводят в помещение рядом с домом амиля, где мы можем отдыхать пока не придет отставший от нас верблюд с багажем.

Мы размещаемся на плоской крыше, часть которой прикрыта плетеным навесом и переделана в комнату. Кровати сделаны как прокрустово ложе — все одной длины, примерно на четверть короче нашего роста, и приходится лежать скрючившись, либо свесив ступни. Засыпаем тяжелым, свинцовым сном.

Просыпаемся через два-три часа. В окно веет убывающийся зной уходящего дня. Слышим над головой писк — в бревенчатых перекладинах потолка копошатся летучие мыши. Птенцы ползают по бревнам беспомощные в свете неугасшего дня. Иные пищат, не выползая из гнезда. Разбуженная нашими голосами мать-наседка в ужасе срывается с бревна и мечется по комнате.

Что-то шумит за окном. По широкой пыльной улице, на фоне отдаленной мечети и конусных плетеных хижин, движется толпа взрослых и подростков, под охраной нескольких аскеров с ружьями на перевес. Толпа нестройно шумит, лица оживленные, привлекательные, впечатления преступников они не производят, тем более, что и одеты люди сносно. Относительная беззаботность говорит о том, что это положение поднадзорных для них привычное, почти нормальное, состояние. Нам об'ясняют, что это заложники

окрестных племен — сыновья и родственники влиятельнейших, но ненадежных шейхов Тихамы. Они взяты правительством в залог того, что их племена и роды не станут бунтовать против имама,— иначе с заложников слетит голова. Этот институт заложничества (так называемое «рахина») является одним из краеугольных камней той системы, при помощи которой центральная власть держит в повиновении не вполне покорившиеся ей степные племена. Это — своеобразная форма террора, который проводит молодая феодальная государственность Иемена, борясь за свое упрочение против сепаратистских путчей и постоянно занесенного меча иностранной интервенции.

Нестройная толпа заложников с пением и криками, как стадо в хлев, загоняется в раскрытые ворота конака на ночлег.

Слышим пронзительные звуки рожка, нестройное пение многоголосой толпы, взбираемся на крышу и видим:

Седобородный амиль в чалме восседает на стройном коне, а вокруг него отряд солдат волнистыми тонами распевает какую-то религиозную песнь, восхваляя бога, его пророка и имама. Через несколько минут пение кончается, и амиль торжественно движется вперед в окружении пестрой толпы. Он едет ночевать на гору, в крепость, там прохладнее и безопаснее. Нам предлагают тоже переехать на ночевку туда, но мы собираемся немедленно после прихода нашего верблюда двигаться дальше и потому отказываемся.

Снова наступает глухая ночь, затихают протяжные, словно человечьи, крики ослов, и тупое мычание верблюдов, и блеяние загнанных в хлевы овец и коз. Силуэты гор чернеют со всех сторон.

Мы разговариваем с двумя-тремя офицерами, которые встречали нас вместе с амилем. Они расспрашивают о русских товарах, о качестве их, о сроке прибытия новых партий. Просят образцы. Потом переходим на политические темы, узнаем, что накануне из Ходейды проехал в Санаа итальянский врач, фактически являющийся представителем Италии в этой стране. Он, очевидно, опередит нас, так как проехал на автомобиле, в то время как мы от Баджиля поедем на мулах. Затем наши собеседники вспоминают:

— В этом доме, девять лет тому назад, мы держали в плену английскую миссию Джекоба.

Джекоб — это английский спец по Иемену. На каждую роль в аравийской драме у Англии имеется специальный актер, которому разрешается закатывать какие угодно монологи, вплоть до выступлений против своего правительства, лишь бы не терять контакта с той арабской страной, которую он обслуживает. При всех аравийских королях были такие английские спецы: при короле Гуссейне геджасском — был Лоуренс, при Ибн-Сауде — сидел Фильби, вокруг Иемена вертелся Джекоб. Выдвижение Гуссейна во время мировой войны создало мировую славу Лоуренсу. Выброшен Гуссейн, и не у дел оказался Лоуренс. Победил Ибн-Сауд, и деятельный, знающий Фильби почивает на лаврах своей упрочившейся репутации. Только Джекоб до сих пор не может найти себе пристанища. В 1919 г. в качестве главы английской миссии он ехал в Санаа для переговоров с имамом, но здесь, в Баджиле, оказался беспомощным пленником непокорных племен. В этом самом доме, где теперь мы мирно беседуем с теми же арабскими офицерами, которые караулили его, он просидел несколько месяцев. На крыше-экспланаде, как звери в клетке, бродили сыны сильнейшего в мире государства; из Лондона и Аден сыпались грозные телеграммы; Аден нажимал на Ходейду и Санаа, настаивая, чтобы имам воздействовал на непокорные племена; арабские газеты Египта пестрели карикатурами на «пойманных птичек», как прозвали захваченных англичан. Над Баджилем показывались английские аэропланы, но тогда к Джекобу и его сотрудникам приставляли людей

с винтовками, и был отдан приказ — в случае, если аэропланы бросят бомбы, — пленников расстрелять. Но бомбы сброшены не были. После долгой волокиты Джекоба, наконец, освободили, и, неудачный, униженный, он ни с чем вернулся в Аден.

Годы шли Иемен вырастал и креп. Из Ходейды ушли английские войска, убедившись, что держать кусок Тихамы, получая безпрерывные булавочные уколы наседающих окрестных племен, им не по силам. Они ушли, отдав Тихаму соседнему ассирийскому царьку Идриси.

Но царек подвел. Под натиском горцев, имама, он был вынужден очистить сначала Баджиль, потом Ходейду. Тихаму захлестнул мощный поток пробудившейся энергии иеменского нагорья. Ободранные горцы, истомленные беспросветным сидением в горах, в тисках блокады, рванулись к морским берегам и к связи с миром через полуразрушенную Ходейду, ставшую чем-то в роде окна в Европу. Власть ассирийского царька бесславно рухнула, и он вынужден был поспешно укрыться близ границ Геджаса в рамках своего маленького буферного княжества.

И вот теперь, в 1928 г., в новый, окрепший Иемен приехал незадолго до нас тот же Джекоб, на этот раз в скромной неофициальной роли с единственным секретарем-переводчиком. Просидев в Санаа пару месяцев, он, ни до чего не договорившись, проехал обратно лишь несколько дней тому назад. И еще в то время, когда он сидел в Санаа, бойкотируемый и полузабытый,— налетчики из Адена начали бросать бомбы над пограничными селениями Иемена, стремясь подкрепить авторитет своего посланца разрывами бомб. И снова это не помогло. И снова Джекобу пришлось уехать ни с чем, под улюлюкание несносных санааских мальчишек.

Но об этом мы узнали позже. А теперь, полулежа на плетеных койках и прихлебывая чай, мы слушаем ровную, спокойную речь наших собеседников, жадно вслушиваясь в ночную тишь, откуда ждем нашего отставшего верблюда.

Вот он пришел. И в глухой предрассветной тьме мы спешим двинуться дальше, пользуясь ночной прохладой. Свет качающихся фонарей, наперебой тянущиеся за бакшишем руки,— и мы от'езжаем навстречу темным силуэтам гор, оставляя позади конусы баджильских хижин. Едем во тьме, среди которой маячат одинокие стволы тамарисков, разбросанные среди кукурузных полей, да мощные горные массивы, все еще одиночные, разорванные, начинают понемногу сближаться над широким лоном равнины.

...Дорога сворачивает в широкое ущелье, и мулы, ускоряя шаг, мерно топают по направлению к белеющим вдали очертаниям новой деревушки. Поля зеленеют сочной свежестью, стебли кукурузы и проса становятся мощнее и раскидистее, мы движемся вперед, обгоняя одиночных верблюдов и раз'езжаясь с быстро пробегающими, встречными вереницами мулов и ослов. Горы со всех сторон. Горный Иемен надвигается.

В Норвегии

Эм. Миндлин

1. Фиорды

Я ехал в Осло, в переименованную столицу, через знакомый ранее Берген. Ставангер был позади — город сардин и роз, идиллических палисадников и людей, насквозь пропахших прованским маслом.

Всю ночь пассажирский бело-зеленый «Сандиес», — точь-в-точь некое перепончатокрылое, строй легких перепончатых палуб, вместилище миниатюрных кают с постельным бельем, накрахмаленным до состояния ломкой белейшей тверди,— скользил по стылой малахитовой воде южных фиордов. Он был похож на скучную квакершу в белоснежных воротничках и чепчиках; чистейшая в мире страна — Норвегия!

Три или четыре раза быстроходный, перепончатопалубный, выкрашенный в зелень и белизну, пароходик останавливался у пристаней. Пристани каждый раз возникали вдруг. Деревянные сваи рождались в гнезде фиорда, словно только что выплыли из малахитовой глубины на поверхность, вспененную пароходом. Но за сваями пристаней дыбились островерхие кровли с вывесками консервных складов или фабрики маргарина. За складами вились цветные вымытые улички. Кровли домов были сложены из черепицы, либо покрыты толем. Окна домов были слепы, ибо в фиордах клубилась ночь и люди под высокими кровлями спали. Пароход брал трех-четырех пассажиров, гудел и бежал дальше.

Грузы не поджидали его на сваях игрушечных пристаней, и палуба, предназначенная для грузов, могла продолжить не слишком широкий променаддек пассажирского «Сандиеса»: от Ставангера она оставалась пустой и огорчающей капитана. Ворота складов не открывались уже много недель, и безработные бродили скопом и в одиночку, слонялись по пристаням, раздавливая решетчатыми подметками золото апельсинных корок.

Если бы эта мелкая капризная рыбешка не изменила обыкновевнию и не прошла мимо Ставангера,— беда вовсе не посетила бы город. Безработица продолжала бы оставаться в Осло, Бергене, Тронгейме, Гюнефоссе, в любом месте Норвегии, но Ставангер-Сардинополис жил бы своей сардиной. Все дело в мелкой рыбешке, из которой шестьдесят семь превосходных консервных фабрик Ставангера приготовляют классические норвежские сардины Сардинополис! Все для сардины! Здесь вырабатываются всевозможные упаковочные материалы для них, жестяные коробки, ящики для экспорта рыбы. Огромные литографические предприятия заняты изготовлением красочных этикетов для сардинных коробок.

Весной наступает сезон ловли мелкой рыбешки, приходящей в фиорды миллиардами. Весной газеты Ставангера на первых страницах сообщают о ходе лова, как о важнейшем изо всего на свете, что прежде всего волнует про-

пахших маслом обитателей города. Улов может быть слабым. Улова может не быть никакого. Рыбешка, обрекаемая ставангерцами на судьбу вкусной сардины, может закапризничать и пройти дальше на север. Тогда наступает то, что было в последнее лето. «Сырье» прошло мимо фиордов, в которых его подстерегали ставангерские рыболовы. Рыба не заглянула в фиорды южной Норвегии. И сразу кладбищенская тишина одела шестьдесят семь консервных фабрик сардинного города. Люди, «работавшие на сардине» — десятки тысяч таких людей, — получили расчет на следующий день после того, как последняя надежда на возвращение заветной рыбы прошла. Нет сырья, чтобы перерабатывать его на лучшие в мире консервы! Производство жестяных коробок для сардин прекращается за ненадобностью. Нет спроса на красочные этикетки для сардинных коробок и, значит, литографы могут вешать замки на двери собственных предприятий, поджидая времен лучших, нежели те, что посланы на Ставангер ныне. Иностранным судам нечего делать в порту Ставангера. Портовые рабочие могут, засунув руки в карманы, сумрачно прогуливать навязанную свободу, не решая, что делать с этим проклятым даром.

Восемь столетий стоит в Скандинавии прекрасный город. В городе — большой, древний потрескавшийся собор мышиного цвета; в пруду посредине городского бульвара попарно плавают лебеди, и у пруда лебединым выводком, обнявшись, гуляют по вечерам голубоглазые, желтоволосые девушки, воспитанные на гамсуновской «Виктории». И вот в старом, восемь столетий дышащем городе Скандинавии, славным своим собором, розами в палисадниках, лебедями в пруду, девушками, гуляющими близ лебедей, — метет метель безработицы, нужды, нищенства, горя...

В такую пору — какие же грузы у пароходиков, бегающих по темной зелени лабиринта фиордов между Сардинополисом и старым ганзейским Бергеном!.. «Станднес» не задерживался у пристаней. По малахиту фиорда, как крошево толченого мрамора, разбрызгивались и в малахит уходила пена. В чернильно-темных расселинах ночи то там, то здесь тоненькой свечкой мигал маяк. Было похоже, что крупные светляки ползают по высоким каменным стенам фиордов. И маленький «Санднес», оберегаемый светляками, уверенно вторгался в гранитную ночь Норвегии, смоченную и обласканную Гольфстремом...

2. Горбы Скандинавии

Утром пароход вошел в Вооген, в превосходную и знаменитую гавань Бергена.

Открылся готический кровельный строй Тискебригтена. Ганзейское купечество запечатлело себя в веках, заложив Тискебригтен — квартал романтического лавочничества, опоэтизированной коммерции, сберегающей в букетах своих гроссбухов дурманящие запахи далеких стран и морских перепутий. Здесь история обучала потомков викингов ловкому ремеслу торговли. Соленый ветер Норвежского моря смешивался со зву́ками подсчитываемых прибылей мирного морехода. Недаром по расчету на душу населения Норвегия имеет самый большой торговый флот. Ганзейское наследство не выпускается из рук: страна, три четверти которой бесплодны, которой сельскохозяйственная площадь не больше чем три процента от площади всей страны, — не могла не стать страной мореплавателей: под боком во все стороны мира открытый, удобный, изведанный норвежскими моряками океан!

Тискебригген — немецкая гавань. На берегу готическим строем теснятся неотличимые один от другого старые, острокрышие дома. На их карнизах — даты основания, давно отмерших ганзейских фирм. Почти у входов в дома, почти у оконных рам останавливаются пароходы с флагами

всех стран, выгружая автомобили и апельсины, английские сукна и ямайские бананы и забирая взамен тонны консервных банок, груды бумаги — то, что вывозит торгующая Норвегия...

Поезд отходит через тридцать минут после того, как пароход доставляет ставангерских пассажиров в Берген. Сквозь всемирную суету Тискембриггена, мимо рыбного рынка и готичесокго строя домов, с пристани — в стеклянные, праздничные сферы вокзала! По соседству с полотном железной дороги, в палисадниках, грядки с душистым горошком и розовый куст, брачущийся с пчелой. Как дачные, отвозящие москвичей на Клязьму, «дневные» вагоны дороги «Берген» — Осло» не имеют внутренних перегородок, не разделены внутри на купе. Похоже на просторный трамвай. Но окна огромны. Их нельзя, к сожалению, открывать.

— Здесь слишком частые водопады! Остерегайтесь воды!

Ни на какой другой дороге в мире не услышишь от проводника вагона предупреждения, подобного этому. Дорога проложена в узких, часто искусственных, ущельях, вырубленных в твердых горных породах. С высоты стен ущелий срываются светло-зеленые потоки воды. Моментами, разлетающиеся брызги бьются об окна проносящихся мимо вагонов. Спускаясь в долины, поезд летит по укрепленной гранитом насыпи, которую омывает зеленый, ворочающий встречными камнями, поток. Слетая водопадами сверху, горная вода превращается в долинах в шумливые, быстробегущие реки.

Поезд останавливается на крошечных станциях в горах. Пассажиры выходят на две минуты поразмять ноги на площадке, посыпанной канареечно-желтым песком. На недоумевающего новичка наваливается глухой, набухающий гул. Надо повысить голос, чтобы собеседник услышал обращенное к нему слово.

В двух шагах от цветного, точно оклеенного раскрашенными бумажками, здания станции — изумрудная чаша горного озера, образованного потоками, сбегающими с гор. Горы стенами чаши обступили озеро. Кирпичные стены шумящей гидро-электро-станции молодо краснют в зеленом царстве гор и воды. Чересчур много электричества — вот самое сильное впечатление от скандинавского мира.

Скандинавия горбата, как верблюжий хребет. Скандинавские реки не знают медленного течения в покойных руслах. Две пятых всех водопадов Европы собраны в скандинавском море. Пятьдесят миллионов лошадиных сил таит в себе энергия всех водопадов материка, и двадцать миллионов из них — скандинавское достояние. Двадцать миллионов лошадиных сил — в водопадах, слетающих с горбов прекрасного полуострова! Правда, большая часть энергии гибнет, не присвоенная и не утилизированная человеком. Во всей Европе утилизируется немногим больше десяти миллионов лошадиных сил «энергии вод», но треть этой цифры относится к скандинавской сокровищнице. Неиссякаемые, неисчислимые запасы энергии, залежи превосходного белого угля, созданы здесь природой.

Норвегия единственное место на земном шаре, где существует кризис сбыта электрической энергии. Электрических станций настроено больше того, что требуется для потребления в данный момент. Слишком много электричества и слишком дешево оно! Более двух тысяч киловат-часов электрической энергии исчисляется на каждого норвежца в год. Даже в Канаде, идущей вслед за Норвегией, на душу населения не приходится больше чем тысяча двести киловатных часов в год.

Норвегия потребляет столько же электрической энергии, сколько, во много раз превосходящая ее по величине, Англия. По потреблению электрической энергии из расчета на душу, Норвегия в три раза превзошла электрифицированный Нью-Йорк. В Нью-Йорке живет в три раза больше людей,

чем во всей Норвегии, но Норвегия и Нью-Иорк потребляют одинаковые количества электрических благ.

Норвежцы вложили чуть не большую часть государственных и местных бюджетов, в гидравлические сооружения. Гидравлическая энергия — ставка против привозного английского угля. Эмансипация от английского угля — сегодняшняя забота норвежцев.

В Бергене по соседству с вокзалом, в бережно возделанных палисадниках цветочные грядки излучали лето. От Бергена поезд поднимался выше и выше. Рельсовый путь подбирался к облакам, к зиме, спеленутой наверху облаками горного перевала Финсе.

Финсе был в облаках, в серых мохнатых дымах. И в облаках шел поезд.

Через несколько часов после Бергена возникла зима. Склоны гор развернулись простынями снега. В ложбинах стеклянел лед. Деревянные щиты,— во всем мире одинаковые стандарты дорог, — оберегали рельсовый путь от снега. За окнами вагона клубилась жидкая вата облаков, и когда редела облачная масса, тогда российским однообразием, тоской русской оснеженной степи повторялись в норвежских горах решетчатые, сбитые из ровных стандартных досок, щиты, защищающие от наступа снежной лавины железнодорожное полотно.

На вершине горного перевала одиночествовала синяя станция Финсе. Дышалось зимой, стужей, крепким морозным снегом. Человек на лыжах шел в горы.

Поезд стоял минуту или две. Потом снова шел в облаках, пересекая зиму, залегшую на большой высоте. Но зима оставалась наверху, а рельсовый путь от Финсе спускался книзу, туда, где краснели и золотели розы. И опять со стен горных ущелий слетали светлозеленые потоки воды и открывались поминутно широкие чаши озер, переполненные изумрудом и бирюзой, а у краев их крепко стоял красный кирпич шумно дышащих гидроэлектростанций.

3. Столица

Широкий, щедро электрифицированный, весело увитый цепью бульваров, от королевского дворца до вокзала протянут красавец Карл-Иоган, Карл-Иоган-гатен. Между дворцом и вокзалом — вот, собственно, вся столица: от опереточных часовых в невероятных шляпах у дворцовых под'ездов до чистильщика сапог у ступеней вокзального царства, — и прогулка по Карлу-Иогану совершена.

Но полно, впервые ли человеку моего положения, родившемуся и выросшему в России, совершать эту прогулку? Карл-Иоган — улица юности нашей. В гимназическом багаже, стиснутый между учебником алгебры и грамматикой немецкого языка, — зачитанный томик Гамсуна угадывался по плотной синей бумаге, в которую прятали его корешок от возможных взоров учителя.

Теплое течение, всемирный и вседуховный Гольфстрем разветляется у берегов обласканной им Скандинавии. Две его широчайшие ветви двинулись на восток и на юг — в Россию предвоенных годов — Ибсен и Гамсун. Юность моего поколения согрета дыханием Гольфстрема, пришедшего от берегов Скандинавии. Русскими писателями, образователями духовного склада поздних людей, как я, родившихся вместе с веком, — на многие годы были Ибсен и Гамсун. До людей моего возраста дошло лишь волнующее эхо славы Комиссаржевской, и мы опоздали на ибсеновские представления Художественного театра. Наследство было получено уже из рук старших братьев, а в некоторых случаях даже отцов. Но разве мы не успели все же принять и заучить русские имена русской литературы: Норы и Гедды Габлер, Глана и Пера Гюнта, Джон Габриель Боркмана и строителя Сольнеса?

Пусть позже мы штудировали классических популяризаторов марксизма и рассовывали революционные брошюры по карманам гимназических брюк. Что из того! Уже забытые или вовсе незнаемые юношеством сегодня, пухлые томики альманахов «Фиорды» не залеживались тогда на библиотечных полках...

Так, в лето тысяча девятьсот двадцатого года была прогулка моя по Карл-Иогану, по городу Гамсуна, возвращением в юность моего поколения.

Узнал ли улицу своей юности мой сверстник, вновь совершая по ней на этот раз не только воображаемые прогулки? Нет, мой сверстник представлял себе город иным. Он другим оставил его, еще не сойдя с гимназической парты. Осло не существует в литературе, подобно тому как существует в ней гамсуновская Христиания. Имя словно не живет еще исторической жизнью, несмотря на то, что те, кто наново окрестили им город, производят имя от названия древней священной рощи. Христиания — напоминание о Христиане, короле датском, а владычество Дании не оставило благодарных воспоминаний. Обзаведшись собственным, в отличие от других, «выбранным» королем, обитатели западной Скандинавии извлекают из эпического архива небытия утраченные национальные имена взамен нелюбимых датских.

Что касается национальных имен, то они вовсе не хуже чужих, но вывески с производными от «Христиания» все же без спешки заменяются новыми. Похоже, что двойное имя так и останется у этого города, самого большого в стране и не большего чем, скажем, русский Днепропетровск.

Здесь живет не свыше четверти миллиона людей, столько же, сколько и в губернском русском городе, но это никак не определяет столицы. Она умело носит нарядное европейское обличье, отнюдь не как провинциал, принарядившийся в берлинском универмаге.

Осло — подлинно европейский город, свободный от пресловутой подражательности, бедного перенимательства. Он не торопясь поддается нивеллировке стиля. Он еще сохраняет собственный стиль и цвет, я бы сказал запах и вкус, ибо вкусы и запахи, как и звуки, отличают разные города. Это стиль высоких и горделиво поднятых кровель, стиль радужной облицовки не слишком многоэтажных зданий, — своеобразный конгломерат идиллического палисадника и лоска европейских усовершенствований. Необходимые признаки европейской столицы соблюдены здесь совсем, как у «настоящих, у взрослых».

Автоматическим телефоном, подобным здешнему, блеснет далеко не каждая даже из перворазрядных столиц. Но, наверное, электрическая подземная дорога в Осло — самая короткая из всех существующих. Тем не менее, — все же собственный метрополитен. Какой другой город в Европе, насчитывающий всего двести пятьдесят тысяч жителей, имеет «собственную» подземку?

Короче говоря, в малых масштабах полностью соблюден набор неот'емлемых аксессуаров «большой» Европы вплоть до великой нужды в жилищах. Квартирная плата, соседствуя с неумеренными налогами, поедает отнюдь нещедрый бюджет рабочих и даже служащих средней интеллигенции. Налоги, вообще, неизменный предмет дебатов, не исчезающий со страниц органов политических партий.

Хозяйка моей квартиры на улице Парквейен 53 каждое утро начинает читать газету со словами: «А что нового о налогах?» Но хозяйка моя — только прообраз сотен тысяч норвежских домоводок, каждое утро произносящих те же слова, что и владелица пансиона на улице Парквейен 53. Мелкая буржуазия, символизированная моей хозяйкой, соглашается верить, что иного выхода в условиях норвежской действительности не найти. В чаянии времен, когда осуществится «Скандинавский дом мира», она только

вздыхает, нехотя терпит и, на всякий случай, делит свои голоса между социал-демократами и либералами.

Рабочие, убеждаемые безработицей и налогами, отнюдь не разделяют мнения насчет неизбежности господствующей налоговой системы. Естественно, предпочитают они разрешения больной проблемы путем осуществления лозунгов, более решительных чем те, которые предлагаются им социалдемократами.

Норвегия капитализируется всерьез. Раз так, то стране потребна «всамделишная» столица. Малы масштабы, но пропорции могут не измениться.

Автомобильное движение в Осло не уступает перворазрядным столицам мира. В городе с четвертью миллиона жителей — тринадцать тысяч автомобилей. Один автомобиль на каждые двадцать жителей. Пусть это меньше чем в непревзойденном Нью-Иорке, но пропорция не пасует перед Берлином.

Существует ли гамсуновская Норвегия? Или, быть может, гамсуновская Норвегия только литературный образ, подобно литературным образам Венеции, Миргорода, Санкт-Петербурга, Парижа, Кавказа и Константинополя?

Нет, Христиания не та, не та — с ее метро, автомобилями, замечательными отелями, «Мулен-Ружем» — дань гегемону Парижу — и добрым десятком больших газет. Литературный образ, запечатленный в книге, останется как и был. А книга в ряду «бесплатных приложений к журналу «Нива» на тысячу девятьсот десятый год» будет удивлять юного пионера невиданной буквой «ять».

Итак, я отправляюсь гулять по новой и незнакомой и никогда неизвестной мне улице со странным глухим названьем — Карл-Иоган-гатен.

На Карл-Иоган-гатене — роща национальных флагов перед колоннами Университета. Университет, стортинг, театр — символический треугольник столичного бытия. Неуклюжее здание стортинга — здесь же на Карл-Иоган-гатене, в соседстве с флагами Университета и сквериком Национального театра, статуей Ибсена и Бьернсона — как охранители подступов к главному театральному входу. Но статуи корифеев не помогают, и Национальный Драматический театр давно не примечателен ничем.

Здесь еще помнят глухой сюртук автора «Росмерсхольма». Памятник создан при его жизни. Каждое утро проходил мимо памятника похожий на пастора человек в черном, каменном сюртуке, с лицом, в котором удивляла крепко поджатая нижняя губа и бакенбарды отставного сановника. Пастор или сановник стаскивал шляпу и кланялся памятнику, изображавшему его самого.

Национальный театр, раз навсегда потрясенный мощью ибсеновской трубы, не знает исканий иной театральности, нежели та, что дозволяется диктаторством литературы на театре. Другими словами, он остался литературным театром — местом для драматического разыгрывания проблемных и психологических пьес.

Оперного театра не существует. Опера слишком дорога и не по средствам этой столице. А между тем, норвежцы — верные братья Грига. И не случайно названия лодок и яхт постоянно повторяют имена Грига и Оле Буля. Музыка необходима в будничном обиходе норвежской национальной души... Здесь живут между двумя приездами Рахманинова, как между двумя праздниками, к которым готовятся круглый год...

4. Эпические экскурсы

Скандинавский спорт эпичен, как Эдда. Искусство быть здоровым не отделено от повседневной работы. У норвежца не может быть отговорки в роде той, что ему некогда заниматься спортом. Спорт — вовсе не специаль-

ное занятие вне строя будничной жизни. Спорт — это специально созданный сам строй всей будничной жизни.

В деловом кабинете знаменитого исследователя Шпицбергена, наиболее уважаемого в стране человека — ученого и общественного деятеля, полвека прожившего на белом свете, — доцента Адольфа Гуля, поджидал я хозяина кабинета и удивлялся трапеции, подвешенной к потолку. Карты Шпицбергена, книги и рукописи, горка, только что полученных из десятка различных стран, писем от Академий и важных научных обществ — и тут же трапеция, как необходимый аксессуар в кабинете большого ученого и старого человека!

Гуль — директор Института по изучению Шпицбергена и Медвежьего Острова. Хорн и Брестад — ученики и сотрудники Гуля. В обществе этих людей жарким августовским днем я отправился на Холмн-Кол, в лыжный город.

В августе — лыжи? Что интересного? Тем более — для меня, не умеющего даже стоять на лыжах!

Очевидно, Брестад прочел мысли мои в глазах. Он сказал:

— Меня удивляло всегда, что в вашей стране так слабо развито занятие лыжным спортом. России это необходимо даже гораздо больше, чем нам. При ваших просторах! При неизученности вашей страны! Знаете ли вы, сколько разновидностей лыж существует в Норвегии?

— Я совершенно не разбираюсь в лыжах. Разве разновидностей их так много?

— На Холмн-Коле вы увидите до двух тысяч разновидностей лыж. Семьсот родов лыж принадлежит Норвегии!

Туннель, в котором мы поджидали электрический поезд подземки, был вызолочен сиянием ламп. Здесь на перроне широкой стеной стояли, рядом выстроенные автоматические весы, — и не одни из них не оставались без дела. Маленькие отверстия выбрасывали ярлычки с обозначением веса.

И я не помню здесь обрюзгших, расплывшихся, некрепких на вид людей.

— Не забывайте, — говорил Брестад, — что каждая шестая женщина в Осло состоит членом какого-нибудь спортивного клуба. Что касается мужчин, то едва ли не все они в той или иной мере являются спортсменами.

Гербы спортивных организаций цветут знаками от королевской короны до профсоюзных эмблем.

Рабочие спортивные клубы не уступают лучшим клубам различнейших буржуазных организаций. Эти клубы имеют собственную печать, журналы, газеты, пропагандирующие в высококультурной рабочей среде искусство быть крепким и здоровым человеческим существом.

Норвегия убеждена, что она строит прочный «дом мира». Она сама хочет стать таким домом.

Выстроят ли норвежцы их вожделенный «дом»? Ведь чем больше строят они, чем серьезнее капитализируется Норвегия, тем глубже возникают противоречия, и тем невозможнее становится мир в «доме мира». В самом процессе возведения стен гипотетического «дома» заложена его гибельная судьба...

Электрический поезд увозил нас на Холмн-Кол, к городу лыж на высоком холме на возвышенности, царствующей над Осло. Поезд покинул площадь «Виктории». За стеклами, золотыми от электричества, холодно чернели голые стены туннеля.

Я смотрел в этот час на норвежцев, сидевших в вагоне подземного электрического поезда, и думал о странном и мудром биологическом законе. Странный и мудрый биологический закон предписывает муравью не подозревать о возможной опасности, угрожающей его муравьиной стройке.

Существует такой закон, — чтобы хорошо строить дома, надо не понимать, что когда-нибудь дом этот разрушится и будет снесен.

В час, когда электрический поезд подземной железной дороги, самой короткой в мире, отвозил нас на Холмн-Кол, я припомнил верные слова Ницше: «Для процветания индивидуума и общества равно необходимы, как историческое сознание, так и историческое забвение».

Я смотрел на моих здоровых и мирно-трудолюбивых соседей и думал: вот люди страны, озабоченной миром и подчиненной биологическому закону исторического забвения. Они могут всерьез строить стены своего «дома мира», ибо биологический закон оберегает их от сознания того, что, чем больше будут строить они, тем менее возможен мир. Но, что можно сказать об органически распускающемся растении? Только то, что оно послушно действующим законам.

Вдруг опустели зеркальные стекла вагона, золото выплеснулось из них, как вода из опрокинутого сосуда. Электрические вагоны вылетели из-под земли, и горячее золото ламп сменилось бумажной белесоватостью дня. И вот ринулась через зеркальные стекла — в вагон, в глаза — веселая зелень садов и лужаек, с взлетающими на воздух, мячами. В ворохе детской разноголосицы и смеха, в садовых кущах возникал поселок, расцвели улички необыкновенных домов, — красных, синих, лиловых, розовых, голубых и белых, выступавших из-за ветвей, из-за кустарников, из-за щедрых цветочных клумб. Тогда я понял почему лучшее, что узнаешь в Норвегии, — дети, самые здоровые дети Европы.

Дорога на Холмн-Кол шла через школьный поселок, через сады школ для детей города Осло.

Норвежцы не мыслят правильной школы, которая находилась бы внутри городского круга, среди малозеленых улиц и нездоровой сутолоки жилых, городских кварталов. Школы должны помещаться среди парков или садов, вблизи лужаек и по соседству с лесом...

Брестад был гидом. Он пояснял:

— Обучение в наших школах всеобще и обязательно. Кроме того, оно бесплатно. Вы спрашиваете, в чьем ведении находятся эти школы-сады? Конечно, коммун. Большинство их содержится на коммунальный счет. Вы, может быть, знаете, что вообще управление у нас достаточно децентрализовано. С каждым годом государство перекладывает на плечи коммун все большее количество разных социальных задач. Больницы, школы, электростанции, наконец, шоссе и средства сообщения оказываются предметом забот коммун и провинций. Однако, государство не имеет возможности сколько-нибудь помогать коммунам в денежном отношении. Наш больной вопрос,— это налоги. Ведь кроме общегосударственных, у нас существуют и местные. К сожалению, приходится признать, что коммунальные наши налоги самые высокие в мире. У рабочих в некоторых коммунах налог снимает до двадцати процентов дохода. Норвегия больна «инфлуэнцой налоговой системы»,— усмехнулся Брестад. — Как ни странно, но инфлуэнца эта смущает врачей и сильно нервирует больного. Мы приехали. Холмн-Кол! Вставайте!

Холмн-Кол — Акрополь физкультуры. Акрополем на высоком и огромном холме разросся город спортивных клубов.

С высот спортивного Акрополя виден Осло. Внизу распластался перламутр Ослофиорда, чернеют горбинки шхер. Фиорд словно наперчен: весь в точках лодок и яхт.

Лес, подступающий к вершине Холмн-Кол и километров на шестьдесят разросшийся от нее на север, — исчерчен геометрией лыжных аллей.. Холмн-Кол — место традиционных лыжных соревнований, всемирный Акрополь лыж. На вершине его с маленькими поместьями соседствуют бревенча-

тые здания клубов. Следы романтики национального духа на убранстве каждого клуба, будь то рабочий или буржуазный, на радостной театральности, с которой обставляется пребывание здесь клубных членов.

Самый значительный из всех этих клубов об'единяет десятую часть жителей Осло — в нем двадцать пять тысяч членов. Среди них недавно еще находился Роальд Амундсен и находится Нансен.

Первый в мире лыжный музей — в центре спортивного городка. Непосвященный, неподготовленный человек сознается, что никогда в жизни не предполагал, что возможно подобное разнообразие лыж. Лыжи для хождения по глубокому снегу. Лыжи для охоты. Для больших расстояний. Лыжи финские, шведские, лопарские, канадские. Лыжи с Аляски. Лыжи для состязаний. Лыжи каких-то невиданных и невообразимых форм. Две тысячи различных родов! И семь сотен из них — норвежских!

В лыжном музее — «святая святых». Двери открываются медленно, и сюда не приглашают войти, но приобщают к «святая святых». В углу грязная палатка «самого» Амундсена. Вот так стояла она на девяностом градусе южной широты, в заветной точке Антарктики. Рядом с палаткой — большое чучело длинношерстой собаки, спутницы Амундсена во время пути к Южному Полюсу. Посреди комнаты две, из лыж и кожи неуклюже сделанные лодки, — два каяка, на которых Нансен и Свердруп творили историческую легенду.

Сюда приводят удивляться краснощеких школьников в вязаных шерстяных чулках и в коротких штанах и здоровых голубоглазых девушек, обученных искусству лыжного бега.

Я покинул святая святых «пространством и временем полный»...

Вероятно, если бы в Норвегии отыскался человек не знакомый с лыжным искусством, то его показывали бы в качестве любопытного экспоната в одной из норвежских кунсткамер.

Зимнее увлечение лыжами может сравниться лишь с летней привязанностью к парусным гонкам.

В одно из воскресений мы отправились на прогулку в моторной лодке по Осло-фиорду. Было похоже, что тысячи громадных, слепительно белых чаек опустились на перламутровую воду фиорда. Каждая чайка слила свои крылья в одно и, под'яв его парусом кверху, стала покорной течению воздуха и воды. Мы проходили сквозь строй стрельчатых, скользивших по воде парусов.

— В фиорде больше нет места, — шутил лодочник-моторист, краснолицое, несгибающееся существо.

День был бумажно-белым. Тысячи парусов стаей чаек облепили воду и жаждали ветерка. Но не было ветерка, и строй парусов оставался недвижным. Винт лодки взрыхливал перламутр воды, в которой запрокинутыми повторялись птичьи крылья парусных лодок и разжижались утонувшие облака.

Иногда раздвигался дремучий лес парусов и открывал лазурные скалы ненастоящих, игрушечных островков — зелень и камни миниатюрного архипелага. На шхерах, на игрушечных островках треугольничками белели палатки и копошились полуголые люди в купальных костюмах, в трусиках — мужчины, дети и женщины, переселившиеся на воду в воскресный день.

Моторная лодка свернула в узкий рукав фиорда. Все так же томились и жаждали неприходившего ветерка под'ятые крыльями, но еще бессильные паруса. Едва, едва скользили они по перламутровой с радужным переливом воде.

Вот глянул на берегу фиорда сквозь зеленую заросль белый дом, блеснули оконные стекла террасы, обросшей то ли змейками плюща, то ли

дикого винограда. На скупом кусочке земли вскормлен был сад. Малинник спускался к самой воде. Легчайший трепет пробежал вдруг по ожившему перламутру фиорда. Перламутровая вода поросла серебряной чешуей. Невидимое дыхание тронуло проснувшиеся кусты малины. В тишайший воздух влилась прохлада.

Моторист посмотрел на встрепенувшийся, дремучий лес парусов, готовый двинуться подобно Бирнамским кущам, попробовал воздух на-ощупь — пальцами — и сказал:

— Вот ветер.

Лодка поровнялась с белым домом, выступавшим из-за малинника на берегу. Лодочник изменился в лице. Какая-то искорка засветилась в его серых, пепельного цвета глазах. Он поднялся с места преображенным, незнаемым мной человеком, стащил шляпу, прикрывавшую его совсем желтые, сбившиеся в мочалку волосы, вытянулся и застыл.

Потом в необыкновенном молчании он снова опустился на место, надвинул на лоб шляпу и, насупившись, завозился с мотором. Нескоро посмел я нарушить странное молчание лодочника и спросить о таинственном белом доме.

— Это дом старика Роальда [1], — сказал норвежец.

6. Неосуществленный дом

Будущее принадлежит маленьким странам. Опыт истории уже показал, что устроение огромной страны — неосуществимо: небольшое хозяйство легче оберегать, нежели мастодонта. Историческая миссия Скандинавии состоит в сохранении того, что может быть названо принципами мирного труда человека. Скандинавия всегда будет стоять в стороне от омерзительной европейской свалки. Мир (здесь при переводе на русский язык потребно напоминание об«и» десятеричном) — мир находит свое последнее пристанище за стенами Скандинавского Дома...

Вот в нескольких словах изложение кредо сегодняшнего среднего скандинавца, противопоставляющего себя остальной Европе.

— Слышали ли вы что-нибудь о союзе, который называется Norden?

— Никогда.

— Вы не знакомы с идеей панскандинавизма?

— К сожалению, абсолютно.

Для меня готова была открыться незнаемая скандинавская Америка. Как! К пресловутым панславизму, панамериканизму, панисламизму прибавляется еще доморощенная идея панскандинавизма?

Но почему бы и нет! Ветер, налетающий на неповинное дерево и угрожающий существованию его, встречает сопротивление его организма. Одинокая Скандинавия, спасая свой нетронутый ствол и корни, противостоит ветрам, дующим из середины всполошенного материка. Сторонясь всеевропейской свалки, пытается выстроить и защитить свое воображаемое вместилище мира окраинная Скандинавия.

Воля к миру вскормлена хозяйственными, культурными потребностями, интересами норвежцев и шведов. Воля к миру возводит стены домашнего мира, которые рухнут при первом дуновении великодержавных ветров.

Из панскандинавской идеи выпадает финляндский момент. Скандинавия? Финоскандия? Но осуществлению Финоскандии препятствует даже не «Алландское разногласие» между Швецией и Финляндией, даже не то, что присоединение Финляндии к скандинавской семье нарушило бы единство

[1] Так называют норвежцы Амундсена.

скандинавского мира. Нет. Обитатели мирного полуострова остерегаются вступить в слишком тесный союз с ненадежной Финляндией.

Разве не значило бы это поставить под угрозу «мирные стены»? Для носителей идеи панскандинавизма отнюдь не вопрос только простого самолюбия то обстоятельство, что в свое время Финляндия поддерживала польского кандидата в Совет Лиги Наций против скандинавского. Чувством самосохранения движимы эти маленькие северные страны, обдумывающие все больше и больше план устроения панскандинавского дома.

Но позвольте, позвольте! Панскандинавия? Да что ж нового в этом слове? Полно, верно ли, что мы открываем Америку, не открытую уже много раз? Разве не было Кальмарской унии, соединявшей три королевства в течение ста двадцати пяти лет? Разве не существовала норвежско-датская уния до 1814 года, и разве не в 1905 году лишь прекратилось действие шведско-норвежской унии? Идеи носятся в воздухе истории. Разве во время датско-немецкой войны в 1864 году симпатии Норвегии и Швеции не были всецело на стороне родственной Дании?

Конечно! Но как далеко все это от сегодняшней идеи оборонительного панскандинавизма и противопоставления его воинствующей Европе! На деле экономическая связь трех государств непонятно мала. Торговые обороты каждой скандинавской страны со своим (скандинавским) соседом составляют максимум десять-двенадцать процентов всей ее внешней торговли. Есть области, в которых Швеция конкурирует со своей западной ближайшей соседкой. А норвежцы, уничтожая память о «датском периоде» страны, заменяют датские имена норвежскими: столице, названной некогда в честь датского короля Христиана, вернули ее древнее национальное имя.

И тем не менее, идейный панскандинавизм? О, да! Тем не менее! Война заставила жаться друг к другу три государства, удержавшихся в стороне от всемирной свалки. В разгаре ее заключили члены скандинавской семьи соглашение: ни в коем случае не воевать друг с другом, даже если бы ход войны заставил их стать на противоположные стороны.

Романтика «мирного дома» Панскандинавии держится на реальных экономических сваях. Норвежская буржуазия еще не сильна, нерешительна,— она еще только как бы становится на ноги. Ей еще полностью свойствен мелкобуржуазный либерализм.

Подобно молодой домоводке, обзаводится она самостоятельным хозяйством и больше всего боится, что хозяйствованию, домоводству ее помешают. А к тому же хватает и внутренних беспокойств: недовольство налоговой системой, безработица, неулов рыбы и потому — закрытие фабрик.

«Дом мира» — взлелеянная область, над входом в которую разыгравшееся воображение уже подвесило вывеску неосуществленной Панскандинавии.

— Вы ничего не знаете о союзе Norden,—спрашивал убежденный панскандинавец.—Словом Norden мы заменяем непринятое у нас—Скандинавия. Nordländer — житель Скандинавии или Norden. Этим же именем у нас назван союз, пропагандирующий идею панскандинавизма. Можно не сомневаться: если мировая война начнется снова, панскандинавизм осуществится в ее первые дни!

Но кто может быть уверен, что ветер мировой войны не разметет романтические надежды, не сдунет стены скандинавского пристанища мира, как бы добросовестно ни возводились они людьми, населяющими полуостров?

Но пусть, пусть они возводят их, озабоченные неосуществимым миром! Ветер разнесет возведенные стены, но камни останутся для новой кладки. Разве ими пренебрегут потом?

211

„Тихий Дон" Мих. Шолохова

С. Динамов

I

Времена, отягощенные большими историческими событиями, места, сотрясавшиеся тяжелым бегом трудных годов и дней, люди, взявшие на себя посильное и непосильное бремя войны и революции, — все это вмещает в себя «Тихий Дон». Разнолики времена, события, люди — различны меры любви и ненависти, которые отдает им художник. Одному — осторожное внимание, другому — только быстрый — в сторону — взгляд. Одно — обтянуто сетью подробнейших изображений, другое — едва оконтурено небрежной рукой. Об одном — плавная, насыщенная красками речь, о другом — беглая скороговорка, россыпь тусклых слов. В этих различиях и раскрывается художник, в этих разных мерах обнаруживается самое сокровенное в нем...

Ломок и неровен художественный строй «Тихого Дона», различны в нем — хотя и одним узлом завязаны — начала и концы, но есть в его кипящем многообразии и некое единство. Это — отношение Шолохова к привольной и сытой казацкой жизни, не разворошенной еще войной и революцией. Полной — до краев — мерой отмерена им бережливая любовь к этой обильной жизни. Все здесь кажется ему важным и значительным, все вбирает он в свое творческое сознание, мелочи вырастают в крупное, достойное внимания, детали обретают свою ценность.

«Тем часом Петро расхлебенил ворота. Григорий разобрал пахучие ременные вожжи, вскочил на козлы. Пантелей Прокофьевич с Ильиничной — в заду брички рядком, ни дать ни взять — молодые.

— Кнута им ввали, — крикнул Петро, выпуская из рук поводья.

— Играй, чорт! — Гришка куснул губу и — кнутом коня, перебиравшего ушами.

Лошади натянули постромки, резво взяли с места... Свешиваясь на бок, Григорий горячил конем игравшего в упряжи петрова строевика»... (I, 76).

«Пришел из церкви Пантелей Прокофьевич. Просфорку с вынутой частицей разломил на девять частей — по числу членов семьи, роздал за столом. Сели завтракать... Ели, как и всегда по праздникам, сытно и много. Щи с бараниной сменила лапша, потом вареная баранина, курятина, холодец из бараньих ножек, жареная картошка, пшенная с коровьим маслом каша, кулага, блинцы с каймаком, соленый арбуз. Григорий, огрузившийся едой, встал тяжело, пьяно перекрестился, отдуваясь, прилег на кровать. Пантелей Прокофьевич еще управлялся с кашей: плотно приголочив ее ложкой, он сделал посреди углубление (так называемый колодезь), налил в него янтарное масло и аккуратно черпал ложкой пропитанную маслом кашу». (II, 334).

Так наслаиваются подробнейшие описания казачьего быта — несложного, но крепко слаженного, надежно скрепленного семьей, родством, традицией, дисциплиной.

Нераздумчивы казаки в первых двух частях романа Шолохова, их отношение к действительности — простое, не осложненное раз'едающими сомнениями, их формула: да-да, нет-нет. Шолохов не обращается к предельным глубинам их психологии, роман густо обрастает, так сказать, горизонтальными изображениями, его рост — вширь, а не вглубь, в него притянуто все, чем заполняется обиход зажиточного казачества. У Шолохова, как у домовитого хозяина, полны закромы всякого рода бытовым материалом, он не скупится на подробные описания казачьего порядливого уклада. Три стержня высятся в этом укладе, три основных начала пересекаются в нем, из трех линий складывается бытовой ряд. Это — воинская служба, пища и пол. Умеет Шолохов передать казака на пересечении этих трех линий, умеет он показать казака в его заботах о коне, о хорошем воинском снаряжении, — казак на службе вылеплен Шолоховым мастерски. Не минует Шолохов и казака на гуляньи, на свадьбе, за столом — хорошо и со вкусом едят казаки «Тихого Дона».

Но особенно пристально вглядывается Шолохов в сексуальное. Это дало повод Ядв. Сехерской («Революция и Культура», № 9—10) обвинить его в том, что он видит в женщинах лишь самок. Без основания бросила это обвинение Ядв. Сехерская, забыла она, очевидно, образ коммунистки Анны. И правильно, думается, дал Шолохов свой ответ еще до этого обвинения (на конференции читателей «Роман-Газеты»), что других женщин — не самок — он не видел. Нельзя спорить с Шолоховым, когда он столь большое внимание уделяет сексуальному. Ибо для поставленной им в центре первой книги группы казачества характерно простое, до примитива, до животности, отношение к действительности, пол и жратва с выпивкой — для них основные стимулы существования. Не об этом нужно спорить с Шолоховым, не в этом нужно его обвинять. Суть не в том, что Шолохов преувеличил животное начало в своих героях из зажиточного казачества, а наоборот в том, что он не обрушил на этот быт всю тяжкую силу классово-пролетарского отрицания, что оказался покоренным этим гиблым бытом, что он идеализировал этот глубоко-реакционный быт, что он не только не противопоставил, но и ничего не поставил рядом с ним.

Бытие казачества поглощается у Шолохова бытом зажиточной его части, этот быт покоряет Шолохова, оттягивает его от тех сторон действительности, на которых испытывается пролетарский писатель. У Шолохова — резок напор отрицания в отношении тех, кто стоит н а д его героями, он несколькими ударами вычеканивает образы этих людей, сгущая до черноты отрицательное в них, густо подмешивая к своим краскам иронию и едкую насмешку. Таковы образы купца Мохова и его семьи — золотушного Володи и многоопытной в любви Елизаветы, таков образ компаниона Мохова — Цацы. Понятно и классово закономерно это отношение Шолохова к представителям буржуазии. Но непонятна, — если Шолохов пролетарский писатель, — его трактовка образа революционера Штокмана. В Штокмане должна была бы быть кульминация мастерства пролетарского писателя, образ его должен бы быть в романе наиболее крепко сбитым, наиболее туго завязанным художественно, ибо он — антитеза звериному в своих основах, устремленному в простейшую материальность (вещи, пища, пол), сплошному быту зажиточного казачества. Этой антитезы не получилось. Обильный родник образов внезапно высыхает, пышная вязь описаний обрывается, ярчайшая тональность изображений блекнет, уверенная рука подлинного мастера как бы устает, растратив силу на изображение свадеб да попоек, скачек и рыбных

ловель, драк и любовных связей. Не вышел Штокман у Шолохова! А казалось бы, что раскрытие этого образа имело гораздо больше художественной (а следовательно, и социальной) значимости, чем подробное изображение того, как ловил Григорий с отцом сазана, как продавал затем этого сазана, как собирался Петро в лагерь, как сватали Григория и Наталью, как пили — ели на их свадьбе. Вот сумел Шолохов это и многое другое показать со всей внимательностью, ни одной капли не расплескал, ни одной лучинки этого быта не выронил, но оказался бессильным как раз тогда, когда нужно было опрокинуть этот заплесневелый, до ужаса кряжистый, непоколебимый и неколеблемый уклад. Сереньким, вышел Штокман, одноцветным и незначительным. Образ социал-демократа Штокмана, металлом упавшего на застойную станицу, Шолохов не построил. Ибо сознание диктовало ему ввод революционера в роман, ибо понимал он, очевидно, что слишком завяз в привольном, сытом и пьяном быту зажиточного казачества, но не мог Шолохов понять и почувствовать революционера, не мог так создать его образ, чтобы были в нем кровь и мускулы, чтобы встал он, как неизбежность, как неотвратимое будущее, как символ революции, перед плотной стеной казачества. Не нашел Шолохов необходимых слов, не оказалось у него нужных красок.

Не только Штокмана потерял Шолохов в своем неудержимом бытописательстве, пробежал он и мимо большого в росте большевизма на Тихом Дону — мимо казачьей бедноты, мимо батраков, мимо тех прошел Шолохов, чья жизнь не была обильно сдобрена богатыми урожаями и атаманским почетом, чьи жены думали не о нарядах да о любовниках, а бились с каждодневной нуждой. Не встает Штокман живым со страниц книги, заслоняют его рослые, такие полнокровно-художественные казаки Григории и Петры, Пантелеи Прокофьевичи и Степаны Астаховы.

Когда пишет Шолохов об этих своих героях, то умеет так рубануть словом, что в нескольких строках — а то и словах — отольет кованый образ или непередаваемо кратко и отточенно через какую-нибудь деталь, мелочь передаст большое, насыщенное явление. Прикрепит Шолохов к дому казака пару жестяных петухов — и властно сделает их метким символом всего уклада: «Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал и з о б р е з к о в пару жестяных петухов, укрепил на крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая ему вид самодовольный и зажиточный». (I, 9). Или вот сгусток казацкой, с развальцей, психологии: отец провожает сына в лагеря, тот уже уехал, а «Пантелей Прокофьевич, качая подгнивший столб у ворот, глянул на Григория. — Ворота возьмись поправь, да стоянок на углу врой. — Подумав, добавил, как новость сообщил: — Уехал Петро». (I, 27). То, что Шолохов в этом отрывке сумел потрясенность выразить такой простой, казалось бы незначительной, по своему бессмысленной, фразой (ибо, что за смысл просто констатировать факт от'езда Петра, когда все это видели и без этого?) свидетельствует о большой зоркости и такте художника: сказал бы Пантелей Прокофьевич еще слово, или если бы не скрыл он своего волнения хозяйственным обращением к Григорию, а затем, не удержавшись, не обнаружил бы его фразой об от'езде — не получилось бы такого глубокого эффекта. Нельзя не привести целиком абзаца, в котором Шолохов мастерски вычерчивает подвыпившего казака, выдающего замуж дочь, со всеми, вытекающими из сего события тревогами и расходами.

«Мирон Григорьевич, снизив голову, глядел на залитую водкой и огуречным рассолом клеенку. Прочитал вверху завитую затейливым рисунком надпись: «Самодержцы Российские». Повел глазами пониже: «Его императорское величество государь император Николай»... Дальше легла картофель-

ная кожура. Всмотрелся в рисунок: лица государя не видно, стоит на нем опорожненная бутылка. Мирон Григорьевич, благоговейно моргая, пытался разглядеть форму богатого, под белым поясом мундира, но мундир был густо заплеван огуречными скользкими семечками. Из круга бесцветно одинаковых дочерей самодовольно глядела императрица в широкополой шляпе. Стало Мирону Григорьевичу обидно до слез. Подумал: «Глядишь зараз дюже гордо, как гусыня из кошелки, а вот придется дочерю выдавать замуж — тогда я по-гля-жу... небось, тогда запрядаешь». (I. 99).

Умеет Шолохов выбрать для портрета наиболее резкие и примечательные, плотно сросшиеся с характером героя, черты: «Старший, уже женатый сын его Петро напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый, а младший Григорий в отца попер: на полголовы выше Петра, на шесть лет младше, такой же, как у бати, вислый, коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой, румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое». (I, 10).

II

«К вечеру собралась гроза. Над хутором стояла бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За левадами палила небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по Дону, с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидающе молчала. По хутору хлопали закрываемые ставни, от вечерни, крестясь, спешили старухи, на плацу колыхался серый столбище пыли, и отягощенную вешней жарою землю уже засевали первые зерна дождя». (I, 28).

Таких образов природы в «Тихом Доне» — множество. И жаркость лета, и багрянец осени, и суровость степной метельной зимы, и дни весенние, — все это близко и понятно Шолохову, всему этому отдает он свои лучшие страницы, все это он умеет видеть и почувствовать.

Природу передает Шолохов в теснейшей слитности с человеком, природа сама по себе не живет на его страницах, нет у ней своей особой жизни, соткана она целиком из мотивов человеческих переживаний и настроений. Близок этим Шолохов к лучшим художникам природы и человека, ибо художник чистой, «неочеловеченной» природы есть одновременно и художник, выброшенный из общества, замкнувший свое мировосприятие живым лишь для себя, но мертвым для человека миром природы. Такие художники — обречены, их удел — небытие, безнаказанно нельзя отрезать себя от жизни.

Это не означает, конечно, что художник, щедрый на образа природы, слитной с человеческими переживаниями, есть художник восходящего класса. Дж. Конрад — редкий мастер пейзажа, природа у него — пышная рама эмоций. А носители этих эмоций — белые колонизаторы, охотящиеся за туземцами, и вся пышность природы нужна Конраду — писателю мелкобуржуазного упадка — для того лишь, чтобы расцветить своих надломленных страдающих героев яркими красками тропиков, чтобы их, таких маленьких и расщепленных, окружить грозами морей и океанов и тем самым как бы «означителить», приподнять над их серенькой сущностью.

А вот Джемс Уэлш, рабочий писатель, в двух своих романах обнаруживший чуткое понимание природы Шотландии, делает ее стимулом борьбы пролетариата: его отношение к ней — подчеркнуто классовое: пролетариат должен бороться за то, чтобы вся жизнь была так же прекрасна, как степи с душистым вереском, чтобы уродливые шахты перестали вздыматься на

рабочих костях, — вот что говорит Уэлш своими многочисленными антитезами — тяжкий капиталистический труд — светлая радостная природа.

Каково же качественно отношение к природе Шолохова? Он близок к Конраду. Неглубоки его герои из среды зажиточного казачества, но введением образов природы Шолохов также их приподнимает над их неприглядной сущностью, сливая их переживания с явлениями природы, скрепляя их с нею, он тем самым делает незначительное значительным, малое — большим.

«В ночь под пасху небо затянуло черногрудыми тучами, накрапывал дождь. Отсыревшая темнота давила хутор. На Дону, уже в сумерках, с протяжным, перекатистым стоном хряпнул лед, и первая с шорохом вылезла из воды сжатая массивом поломанного льда крыга. Лед разом взломало на протяжении четырех верст, до первого от хутора колена. Пошел стор... На Дону, сотрясая берега, крушились, сталкиваясь, ледяные поля... Гул и скрежет налезающих крыг доносило до хутора». (I, 223).

А через одну страницу:

«На паперти Митька, грудью прижимаясь к отцову плечу, сказал: «Наталья помирает». (I, 225).

Или другой образ:

«Всходит остролистая зеленая пшеница, растет; через полтора месяца грач хоронится в ней с головой, и не видно; сосет из земли соки, выколосится, набухнет зерно пахучим и сладким молоком; потом зацветет, золотая пыль кроет колос. Выйдет хозяин в степь — глядит, не нарадуется. Откуда ни возьмись, забрел в хлеба табун скота: ископытили, в пахоть затолчили грузные колосья. Там, где валялись круговины примятого хлеба... Дико и горько глядеть. Так и с Аксиньей: на вызревшее в золотом цветеньи чувство наступил Гришка тяжелым сыромятным чирком». (I, 109).

Точеные образы, меткие характеристики, яркие слова, сочные сравнения, пышную полихромию пейзажей — все это использовал Шолохов для изображения зажиточного казачества. И создал ряд сверкающих описаний, показал свое мастерство в его предельности. А вот что осталось для революционера Штокмана: «Штокман с присущей ему яркостью, сжато, в твердых, словно заученных (заученное не бывает ярким, тов. Шолохов, ярко лишь усвоенное и внутренне переработанное!), фразах обрисовал борьбу капиталистических государств за рынки и колонии» (I, 221). «Переживания» Штокмана при аресте: «Он глянул на следователя и входивших за ним чинов, придавливая ладонью палку, закусил нижнюю губу, вобратую внутрь». (I, 279). И все.

Рабочие Давыдка и Валет, сторонники Штокмана, представлены не менее бескровными: какие-то тени теней, а не будущие сторонники большевиков.

В первой своей книге — а ее можно назвать книгой исхода, ибо в ней завязываются все основные противоречия, в ней — скрытое накопление дальнейшего — Шолохов только мимоходом, в сторону бросил взгляд на эти казацкие слои. Только тогда обратился к ним Шолохов, когда они уже стали красными казаками: результат, а не начало и первоначальное развитие процесса увидел он.

III

С третьей части «Тихий Дон» резко меняет свое плавное течение, попав на пороги империалистической войны. Медлительный строй романа обрывается, Шолохов перестает долго и пристально разглядывать окружаю-

щее, он теряет обостренный интерес к долгим дням и малым делам сытого станичного казачества. Война отбрасывает его от сочного бытописательства и по-иному подходит он к изображению действительности. Темп романа убыстряется, события догоняют одно другое, суматошливо и беспорядочно проносится кипящая жизнь. Шолохов хочет передать малое и большое в войне и то перервет бурунное течение событий, задержит его на переживаниях казака-интеллигента (дневник Тимофея), на отношении Григория к убийству «врага», который внезапно оказывается человеком, а то опять перейдет на скороговорку, на хроникальную, так сказать пространственную передачу событий того крутого времени: «Раз'езд вброд переехал речушку», «сотник в'ехал на впалую вершину холма»... «Казаки в'езжали на выжженную солнцем вершину, всматривались», «на юго-западном фронте в районе Шевеля командование армии решило грандиозной кавалерийской атакой прорвать фронт противников», «211-й стрелковый полк получил распоряжение переброситься на левый фланг»... «Командир 30-го армейского корпуса Особой армии, генерал-лейтенант Гаврилов получил из штабарма приказ перебросить в район Свинюхи две дивизии. Ночью были сняты с позиций 320-й Чембарский, 319-й Бугульминский и 318-й Черноярский полки 80-й дивизии» — немногое о многом, малое о большом, немногословное о значительном.

И уже не отходит Шолохов до конца второй книги (третьей еще нет) от этого суховатого стиля внешних описаний, стиля перечисления событий — ибо так их много и бег их так стремителен, что перехлестывают они через художника, не успевает он даже посторониться от них. Слишком близко еще все это, чтобы уложиться в спокойные и глубокие формы «Войны и Мира»: есть такой закон искусства — о большом большое создается только тогда, когда годы спрессуют минувшее, и отпадет все случайное, наносное. Чехов, между прочим, мог хорошо описывать лето лишь зимою, а зиму лишь летом.

Померкли радостные краски природы, темная тень войны пала на них — уже не обращается Шолохов к ласковости весенних дней, к жаркой томности лета. Иные образы природы лепит он, иные краски находит, иное подмечает в ней, ибо стала природа рамой не жизни привольной и сытой, а смерти и разрушения.

«К исходу клонится август. В садах жарко желтел лист, от черенка наливался предсмертным багрянцем, и издали похоже было, что деревья — в рваных ранах и кровоточат рудой древесной кровью» (I, 348). Нарушена былая гармония природы, ибо взрыта плугом войны плодородная почва Тихого Дона, опустели и в немом ужасе застыли обезлюдевшие станицы: «По-вдовьему усмехалось обескровленное солнце, строгая девственная синева неба была отталкивающе чиста, горделива. За Доном, тронутый желтизной горюнился лес, блекло отсвечивал тополь, дуб ронял узорчато-резные листья, лишь ольха крикливо зеленела, радовала живучестью своей стремительный сорочий глаз». ((I, 406).

Жестяные петушки на крыше Пантелея Прокофьевича художественно были более живы, чем революционер Штокман. Но, вступив в эпоху войны, Шолохов создал более живой образ большевика Бунчука, дослужившегося до офицера, изучившего военное дело и с пользой для революции эти знания потом, в гражданской войне, использовавшего.

Распаду реакционности в казачестве Шолохов посвящает ряд страниц — появление Бунчука поэтому вполне закономерно, он естественное

завершение процесса рождения нового казачества, чему помогла война, ибо стало при ее кровавом свете явным многое, что было ранее скрыто под спудом традиций и косности. Казаки стали понимать, что они — пушечное мясо и царская плеть для усмирения революции, казаки иначе стали относиться к офицерству, изрешетила война их незыблемую некогда веру в авторитет командира и старика.

«Ты не думай, как и што, — поучает рубака Чубатый поколебавшегося Григория. — Ты — казак, твое дело рубить не спрашивая. В бою убить врага — дело святое. За каждова убитова скащивает тебе бог один грех, тоже как и за змею». (I, 376).

Но эти Чубатые зверюги становятся все реже и реже, война неуклонно вытравляет в казачестве монархические настроения, пока притиснутое февралем 1917 г., оно окончательно не сливается с остальной массой солдат...

Вылепил Шолохов Бунчука почти живым и полнокровным, но не смог все же показать целиком большевистское в нем: не показан этот большевик в солдатских окопах, не показан путь его вместе с солдатами к февралю, дал его Шолохов агитатором в среде офицерства, а агитацию эту и сам Бунчук в шутку делал, знал, что не в офицерстве дело...

Мировая война породила на Западе численно огромную художественную литературу. Этого нельзя сказать о России, ибо переход войны империалистической в гражданскую не дал возможности обратиться к изображению первой, внимание художников круто было повернуто ко второй — противоречия были взрезаны ею сильнее, кипение борьбы было яростнее, действительность взрыта глубже.

Страницы «Тихого Дона», посвященные мировой войне, войдут поэтому в нашу литературу, ибо лик войны нашел в них свое, иногда мастерское (дневник Тимофея, образ Чубатого, первая встреча Григория с «врагом»), отражение.

IV

Во второй книге «Тихого Дона» вступает в роман революция. Верен остается Шолохов и здесь своей суховатой протокольной манере, возвращается он к сочным изображениям лишь при описании станичного быта.

Хочет он обглядеть все притоки и истоки, все встречные и поперечные течения бурного в те дни Тихого Дона — попрежнему растет роман не вглубь, а вширь — Петроград и Москва, Новочеркасск и Ростов, фронт и тыл, и станицы, в которых уже кровью вскипают первые столкновения красногвардейцев с казачеством, — все это хочет охватить Шолохов.

Стремителен ход событий. Быстро перемещаются, перетекают и сталкиваются явления. Кружатся их водоворотом люди, и трудно уловимы их облики. Лишь изредка затихает это кипение, оставляет Шолохов вздрагивающие клокочущие верхние пласты почвы революционных лет и всматривается спокойно и внимательно вглубь действительности. Это — тогда, когда вступает в ход событий Григорий; больше других близок Шолохову и глубже других показан этот кавалер четырех Георгиев, толкнувшийся к большевикам и оттолкнувшийся обратно в свой сытый угол.

Огромны противоречия революционной эпохи. Круты спуски и под'емы людей буревого времени. Высоки неизмеримо взмахи суровых годов революции. Остро отточены грани утверждения и отрицания. Одинаково смертельны и любовь и ненависть. И трудно встать на берегу и спокойно взглянуть на водоворот борьбы класса с классом.

А вот Шолохов пытается это сделать. Шолохов находит этот берег

бесстрастного об'ективизма, он хочет спокойно и чуть-чуть равнодушно посмотреть на обе стороны.

В летописях революции записаны необычайные по дикости своей зверства белых, и говорят они о том, что движение белых было внутренне-опустошенное, что сознание своей обреченности и бессилия толкало их к этим зверствам, и что человеческое надломилось в них и уступило место беспредельной, нерассуждающей и ненасытной дикой ярости. Мимо этого художнику гражданской войны пройти нельзя, ибо в этом — сплетение классовых отношений, без этого не будет полным изображение белого движения. Но очевидно и другое — что преувеличенным будет представление людей контрреволюции только как звероподобных существ, жаждущих большевистской крови: в действительности дело обстояло гораздо более сложно. Изображение этой сложности и должно являться серьезнейшей задачей художника, берущегося за описание белого движения.

Шолохов не обратился к «зверскому» стандарту. Он явно хотел показать белых без каких бы то ни было преувеличений. Но получилось так, что в преувеличение Шолохов впал. До самого конца второй книги у Шолохова нет ни одного белого, качественно отличного от героев «Дней Турбиных». Говорит Шолохов — се лев, а не собака, подчеркивает, что Корнилов плетет сети черного заговора, но не показано все это с необходимой, разящей ненавистью, не хватает у Шолохова накалки, классового противопоставления; в его образах врагов революции не вскипает отрицание их. Со всем сознанием ответственности этих слов приходится их высказывать, со всем опасением за дальнейший путь Шолохова приходится это утверждать.

Белые для Шолохова враги, но герои. Красные — друзья, но отнюдь не могут итти в сравнение с белыми. Оказывается, по Шолохову, что не белые зверствовали, а красные; не удосужился Шолохов показать с этой стороны белых, а вот красных — «разложившихся под влиянием уголовных элементов» (II, 387) — показал. Хватило у Шолохова терпения выписывать фигуры Корнилова и Алексеева, — но ни одной равной им по своей роли фигуры красных нет в романе: белые — столбы, а красные — простые столбики. Не сумел Шолохов передать и энтузиазма рабочего класса и крестьянства. Странное равнодушие сквозит в его описании борьбы с контр-революцией. Единственный развернутый образ большевика, а значит и единственное противопоставление огероиченным белым — Бунчук — снижен Шолоховым, показан сломавшимся и в горе своем по убитой жене — отвратительным. «Он, как слепой, грудью ударился в ворота, глухо вскрикнул и, гонимый призрачным зовом, пополз на четвереньках, все убыстряя движения, почти касаясь лицом земли. С запененных губ его срывались невнятные слова. Он полз вдоль забора, как недобитый зверь, натужно, но шибко; за ним выжидающе наблюдали трое оставшихся во дворе красногвардейцев. Они молча переглядывались, пораженные столь отвратительным, оголенным проявлением людского горя» — II, 431. (Чтобы не множить цитат, сошлюсь на те места, в которых в еще более тяжелые моменты, но по иному, даются Корнилов, Алексеев, Каледин, его жена, Богаевский — II, 204, 205, 344, 346).

Второй, противостоящий белым образ — это председатель Донского Совнаркома, Подтелков. Он по борьбе на Дону — антипод Каледина: тот на одном полюсе, Подтелков — на другом, с большевиками. Но снижен Шолоховым образ и этого полубольшевика — сцена дикой расправы с пленными офицерами (II, 315) является оправданием уже «законной», по суду выборных от станиц, казни самого Подтелкова и его сторонников (II, 471).

Так замыкается круг — от неудачного образа Штокмана — к неудавшимся образам Бунчука и Подтелкова.

Историзм подкосил Шолохова. Он, несомненно, изучил необходимые материалы, введены они и в текст романа; он, конечно, может доказать, что те или иные слова и поступки Корнилова и Каледина, Подтелкова и разнузданных красногвардейцев Второй Социалистической армии имели место. Но это ничего не решает. История для художника, а не наоборот. И другое — история художественная, влитая в образ, всегда не история, — Шекспир не стал от того менее значительным, что его исторические хроники — ложноисторические, и что не было в Дании принца Гамлета из «Гамлета». Художник «извращает» историю, но, творчески преображая ее, он возвращает ей щедрой рукой взятое у нее — ибо художественная история не менее ценна и поучительна, в практике человека есть у ней свое место, но особое, не там, где находится история-наука.

Взяты Шолоховым факты точные, но не характерные, взяты люди, сверенные с историей, но показано не типичное для того, что их двигало и ими двигалось в пределах минувшего. Живы — и в то же время мертвы — многие герои «Тихого Дона», ибо в бликах случайного прошлое не живет.

Эптон Синклер, как художник—и притом художник большого жанра—полнее всего раскрывается в своих романах об аристократии: «Мэнасса», «Сильвия», «Испытания любви». Но он порывает с этой распадающейся группой, он вступает на революционный путь, он создает «Джунгли», «Джимми Хиггинса», «Нефть». Труден разрыв с своим классом — и это внутреннее борение художника получает свое выражение в его творчестве, эта внутренняя ломка получает свое выражение в ломкости образов. Поэтому — «Джунгли» в абсолютном смысле ниже «Сильвии» — но относительно они неизмеримо ценнее, ибо с них начинается в Америке новая литература, ибо они — ростки литературы будущего.

Путь Шолохова — это путь Синклера, Барбюса, Истрати. Он — не художник пролетариата. Но хочет им быть. Это трудно. Испепелить в себе ставшее чужеродным, а бывшее родным, — трудно, перебороть и победить самого себя — мучительно. И потому еще трудно это борение, что тысяча глаз смотрят на эту борьбу, что отливается она в об'ективные произведения, которых ничем и никогда не изменишь.

Шолохов — сознает или не сознает он это — расщеплен этими тягостными противоречиями.

V

Образ казака Григория — центральный для «Тихого Дона» и наиболее близкий самому автору. Эта последняя глава должна быть по праву посвящена ему, ибо в нем узел всех основных противоречий романа, в нем завязаны концы и начала многих дел и событий эпохи войны и революции, ибо сгустились в нем огромные пласты казачества Тихого Дона, ибо сжаты в нем думы и чувства казачества, прошедшего недолгий годами, но долгий испытаниями путь к Советскому Дону. Ему должна быть посвящена эта последняя и основная глава. Написана она будет, когда придет «Тихий Дон» к своему и теперь уже прозрачно-ясному концу.

Курт Клебер

Ив. Анисимов

I

Искусству Клебера присуща большая строгость. Оно имеет жесткие сухие очертания, в нем нет ничего, что казалось бы мягкотелым, расплывчатым. Это искусство чрезвычайно энергичное, в каждом атоме своем устремленное,— искусство борьбы, а не спокойного созерцания.

Это — искусство революционного художника, возникающее во враждебном окружении капиталистической культуры,— оно должно быть боевым, если хочет утвердить себя.

Творчество Клебера может быть противопоставлено буржуазному искусству, как нечто новое, своеобразное, возникающее на совершенно иной основе. За художником стоит класс, отрицающий капиталистический порядок, являющийся пионером новой цивилизации,— вот, что делает искусство Клебера столь отличным от всего, что давали художники буржуазии, столь активным, жизненным, устремленным. Оно не только утверждает новую форму художественного представления, оно еще самим существованием своим разрушает установившуюся традицию буржуазного искусства. Перед нами — искусство революционное в своей сущности.

Клебер охвачен живым, непосредственным ощущением действительности. Он всегда обращается к конкретному, он видит мир во всем многообразии, во всем богатстве его красок — восприятие не отягощено косной традиционностью и чрезвычайно интенсивно. Искусство Клебера по-своему жадно и цепко — действительность представляется здесь в очень полных, живых, глубоких, напряженных очертаниях.

К чему Клебер относится с откровенным презрением, что он справедливо ненавидит, как основную особенность мещанского искусства, это — психологическую слякоть, слюнтяйство, копание в крошечных индивидуалистических трагедиях, гиперболизацией которых живет мещанское искусство. Так возникает необычайно заостренная, аскетически простая, энергичная повествовательная манера, являющаяся отрицанием традиций буржуазного психологического искусства.

Клебер остро видит, в нем постоянно чувствуется сарказм, готовность разоблачать, обнажить действительность от всякого внешнего налета, вывернуть нутро. Никакая поза не является терпимой — художник охвачен стремлением к предельной естественности. Он хочет быть максимально правдивым и не терпит никакой лжи.

В романе Клебера «Пассажиры третьего класса» этот своеобразный нигилизм художника нашел отчетливое выражение. Характерно, что Клебер назвал свой роман «записью фактов, приближающейся к стенографической». Историю о том, что шестнадцать пассажиров-рабочих узнали друг друга

во время морского переезда из Америки в Европу, историю, как мы видим, обнаженно-правдивую, этот своеобразный бытовой и психологический документ Клебер превращает в великолепную демонстрацию нового стиля.

В романе ничего не случается. Клебер смело опрокидывает священную традицию сюжета. Он хочет рассматривать жизнь не в искусственных границах литературной схемы, а в ее непосредственном живом течении. Нужна была изумляющая зоркость творческого зрения для того, чтобы создать этот «стенографический» роман. В этом смысле книга Клебера имеет значение новаторского произведения. Но еще более интересны внутренние тенденции романа.

Прежде всего находит здесь свое выражение борьба художника с косной, консервативной бытовой стихией. Клебер хочет опрокинуть консервативность быта, хочет раз'ять и убить в бытовой традиции все, что мешает человеку свободно двигаться. Он развенчивает совершенно безжалостно бытовую «оседлость».

Новый человек, представитель революционного авангарда рабочего класса, прежде всего активен. Его стихия — действие, борьба. Вот почему революционный художник занимается развенчиванием быта. Бытовая традиция в рабочем классе очень часто является традицией мещанской. Клебер убедительно показывает, как каждый из пассажиров-рабочих приносит на своих подошвах мещанскую грязь. С беспощадным сарказмом бытовое болото разоблачается.

Так возникает первый план романа. Участники «стенографического» представления взяты в очень характерном разрезе: с них совлекаются мещанские предрассудки.

Негативная задача выдвигается в первую очередь. Отсюда ироническая окрашенность повествования, совершенно откровенный цинизм изобразительной манеры. Здесь художник выступает, как сухой, злобный аналитик, перед которым внешняя оболочка распадается, чтобы обнажить существо явления, как бы оно неприглядно ни было. Обыкновения мещанского быта разоблачаются Клебером, как пошлость, тупая ограниченность, ханжество. Художник хочет убить всякую попытку сентиментального — перед его холодной разящей иронией это священное мещанское качество разлагается без остатка.

Но не только этой негативной, сатирической задачей живет роман Клебера. Художник не ограничивается разоблачением и уничтожающей критикой мещанских наслоений в рабочем быту. На такую одностороннюю постановку вопроса он органически не способен. Голое отрицание это не его область — рабочий писатель слишком полон глубоким, волнующим содержанием, чтобы поступать так.

Негативный план романа является введением в интереснейшую проблему. Мы видим, как возникает среди разрозненных, случайным совпадением об'единенных представителей рабочего класса, тесное единство. Несмотря на коросту мещанских предрассудков, тяготеющих над каждым из них, несмотря на национальную, политическую и бытовую разобщенность, вспыхивает среди рабочих, загнанных в дешевые каморки океанского парохода, сознание их классового единства.

Так выявляется основное направление романа. От сонного покоя мещанских обыкновений — к движению, от ограниченного и тупого индивидуализма, от замкнутости — к классовому единству.

Для революционного рабочего писателя эта программа является выражением его классового мировосприятия..

Роман получает характерное и своеобразное строение. С одной стороны, лежит раз'ятый на комические детали мещанский быт, беспощадно

разоблаченный. Здесь художник пользуется нарочито раздробленной композицией, он хочет обнажать уродливость мещанской бытовой традиции в ее хаотической непосредственности. Он выбрасывает пестрый фейерверк эпизодов. Из этих эпизодов-деталей, пред'явленных во множестве, возникает очень цельная, выпуклая картина разоблаченного мещанства в рабочем быту. Таков первый план романа. Он чисто негативный и имеет обнаженную разоблачительную тенденцию.

Ему противостоит второй план романа, не менее яркий и насыщенный. Он также возникает из множественной пестроты отдельных образов, сюжетных комплексов, по форме разрозненных, но складывающихся в конечном итоге в очень крепкое, неразрывное единство. Здесь становится понятной подчеркнутая дробность построения, отличающая роман. Мы видим, как разрозненные и разнокачественные личности, вначале представляющие пеструю и разношерстную массу, оказываются сплоченными в очень тесный, неразрывный комплекс. Комплекс этот — классовый: разделенные многими перегородками бытового, национального и прочего свойства, пассажиры оказываются крепким единством потому, что все они представляют рабочий класс. Эта двойная, антитетическая композиция романа обнажает его основную тенденцию, которая является, как мы видим, революционно-пролетарской тенденцией.

Основным качеством романа надо считать его интенсивную, во всем проявляющуюся целеустремленность. Это — ни в коем случае не «вещь для себя». Спокойное созерцание не является добродетелью нашего художника. Его вещь оплодотворена активным стремлением: она должна действовать, как боевое оружие. Клебер очень далек от живописного крохоборства — он меньше всего художник спокойствия. В его искусстве нет ничего вегетарианского.

«Пассажиры третьего класса» называются «стенографическим» романом, но в гораздо большей степени это роман — агитационный. В каждом своем выражении он направлен к одной цели: воспитывать революционное мировосприятие, бороться с властью косного мещанского быта.

Искусство Клебера живет очень полной жизнью, оно насыщено животрепещущим содержанием, для него не существует высоких и низких материй, оно оформляет в своих выражениях насущные проблемы своего класса, поднимающегося в борьбе,— и здесь все кажется значимым и волнующим. В «Пассажирах третьего класса» система романа подчиняется определенному агитационному намерению. Роман осуществился, как образная конкретизация агитационного тезиса. Он создан в борьбе за нового человека, за революционного рабочего, освободившегося от мещанских предрассудков. Эта цель определяет все течение романа. Именно здесь лежит основа его великолепной энергичности. Обнаженная, подчеркнутая целеустремленность характеризует роман. Но это содержится в самой изобразительной сущности произведения. К этому приводит необходимость его образного развития: к тем заключениям, перед которыми ставит нас роман, мы приходим неизбежно. Революционное стремление охватывает самую сущность вещи — вот почему «Пассажиры» нисколько не схематичны.

И еще одно характерно: роман Клебера становится патетическим оттого, что он своеобразно тенденциозен. Здоровая бодрость революционного искусства сказывается в том, что самое простое, будничное, обыкновенное, если оно связано с насущными интересами класса, получает смысл чего-то большого, существенного, значимого. Искусство Клебера в этом отношении чрезвычайно выразительно — его энтузиазм, его живая активность восходят к самому простому.

II.

Очень характерно отношение художника к индивидуальному. На первый взгляд произведения Клебера имеют обычное, так сказать, традиционное течение. В них выступают индивидуальные герои, развитие определяется тем, что человеческие индивидуальности вступают в взаимодействие. Но Клебер своеобразно представляет себе эти отношения.

Личность не стирается здесь. Она продолжает существовать во всей своей жизненной полноте, но она рассматривается уже не в индивидуальном, а в общественном освещении. Он ставит индивидуальность на ее место, разрушая этим традицию буржуазного искусства, постоянно обращавшегося к гиперболизации личного. Можно сказать, что индивидуальность живет в произведениях Клебера особо полной и насыщенной жизнью, потому что она рассматривается здесь конкретно, т. е. в тесном единстве со своим общественным целым.

«Баррикады на Руре» и «Революционеры» — эти замечательные собрания новелл Клебера с огромной выразительностью раскрывают связь одного со всеми, связь отдельной индивидуальности с бытием класса. Ощущение своеобразной комплексности насыщает каждую из его стремительных, энергичных новелл. Это не какая-нибудь условная тенденция,— это властвующая необходимость. Быть иначе не может. В «Баррикадах» пролетарии, защищающие позиции рурского восстания, погибают очень просто, без всякой позы, без всякого крика. И это нисколько не похоже на пассивную примиренность восточного человека, верующего в нирвану. Это вытекает из глубочайшей связанности интересов отдельной личности с интересами ее класса.

Вот почему многочисленные смерти, показанные Клебером, имеют столь необычный характер. В этих изображениях нет пессимизма. Они насквозь пропитаны энергией. Смертью ничего не кончается. Класс не отступает в борьбе, когда отдельные его представители падают сраженные. Характерное своеобразие в разработке мотива смерти у Клебера является глубоко оправданным. Оно не случайно. Здесь находит свое выражение мироощущение пролетарского художника.

Превосходный оптимизм этих картин, при всей их суровой, жестокой трагичности, показывает нам, насколько оригинальными путями идет творчество художника, выражающего новый революционный класс. Традиции буржуазного искусства опрокидываются здесь, как видим, очень смело.

Человек у Клебера является выражением общественного, он включен в коллективное целое, поведение его детерминировано этим обстоятельством. Так найдена очень целостная гибкая и глубокая форма раскрытия, позволяющая видеть индивидуальное не только во всем многообразии его выражений, но и в конкретной общественной перспективе. Искусство революционного художника, разрушающее традицию буржуазного индивидуализма, оказывается гораздо более совершенным и глубоким средством познания. Оно выше по своему уровню.

В произведениях Клебера выступает много действующих лиц. Но эта чисто арифметическая множественность раскрываемых художником образов получает очень характерное устремление. В сущности, Клебер дает всегда один только образ, который мы назвали бы образом «органического революционера». Вся масса созданных художником фигур, несмотря на свое кажущееся индивидуальное разнообразие, является лишь углубленной разработкой этого единого образа.

Человек Клебера всегда является носителем революционной стихии: среди серых будней быта и на баррикадах Рура он одинаково просто и

спокойно делает то дело, которое в данный момент является его долгом. Большая органичность отличает этого революционного героя. Он не «прозревает» в один счастливый момент. С ним не происходит никакого чуда. Просто и необычайно естественно понимает он революционную необходимость.

Клебер не имеет обыкновения показывать развитие своих героев, он их дает уже сложившимися в том смысле, что для них задача борьбы с капиталистическим режимом уже ясна. Движение его новелл определяется не тем, что человек приходит к революционной «правде», а тем, что он борется против классового врага. Это представляется само собой разумеющимся. Образы, раскрываемые Клебером, относятся к той полосе революционного развития рабочего класса, когда необходимость борьбы с капиталистической действительностью уже понята. Перед нами — художник революционного авангарда рабочего класса. Он выражает идеологию передовых слоев пролетариата, для которых борьба с капиталистической системой является глубоко осознанной исторической ролью класса. Этим ощущением насквозь пропитан основной образ художника. Отсюда необычайная цельность его, полнота и глубокая ясность.

Мы уже говорили о том, что Клебер воспринимает индивидуальность, как выражение общественного целого. Образ «органического революционера» является наиболее цельным и глубоким осуществлением этого подхода. Каждый раз мы видим, как устанавливается тесное единство между человеком и его классом. Органический революционер Клебера неотделим от своего класса. Он живет его жизнью. В этом и заключается поразительная цельность людей Клебера. В них никогда нет внутренней раздвоенности, колеблемости, они не охвачены сомнениями. В сущности, это очень гармоничные люди. Между намерением и осуществлением никогда здесь не возникает разлада. Перед нами мощные, не сгибающиеся характеры, которым чужда всякая противоречивость.

Ощущение неразрывного единства индивидуальности и класса, своеобразная коллективизация личности — вот что определяет этих людей. «Органический революционер» Клебера и есть новый человек, характерный для революционного рабочего авангарда, это — образ тех, кто должен вынести на своих плечах социальную революцию. Искусство Клебера, как видим, имеет здесь большую актуальность. Основной образ новелл Клебера определен насущнейшим стремлением рабочего класса.

Художник отвечает на вопрос о кадрах революционного пролетариата. «Органический революционер» есть образ не только глубочайшей конкретности, жизненной полноты — это еще известная стратегическая схема. Этот образ не только отражает взаимодействия сил в рабочем классе, не только констатирует наличие определенного классового типа, но и намечает перспективу его развития.

Очень интересно ставится Клебером проблема взаимоотношения между массой и вождем. Мы знаем, как разрешают эту проблему мещанские революционеры, — какой-нибудь Толлер, в данном случае фигура совершенно типичная, занимается вечным брюзжанием на то, что косная масса «не понимает» своего вождя, весь смысл его изображений сводится к тому, что существует «вечное» противоречие между массой и возвышающимся над ней вождем. Мещанин рассматривает это взаимоотношение очень специфически: вождь властвует — масса подчиняется.

Люди Клебера существуют в неразрывном единстве со своим классом. Масса здесь представляется достаточно компактной величиной. Это вовсе не распыленная, аморфная туманность. Масса у Клебера — это класс, имеющий отчетливую стратегию и ясное представление о целях своего развития. Масса

Клебера является целеустремленной. Это — не стадо, а крепкое целостное единство. Индивидуальность, существующая в массе, представляет не безликое серое нечто, а конкретную частицу коллектива, живущую своей богатой индивидуальной жизнью и вместе с тем совпадающую с устремлениями социального целого. Взаимоотношение между вождем и массой принимает закономерный характер. В каждый момент, когда в том есть необходимость, рабочая масса находит своего вождя. Это не бутафорский герой, каким он выступает в мещанском представлении, — это тот рядовой рабочий, который быстрее других и глубже оценил сущность положения. Он становится вождем и возглавляет движение массы, не отрываясь от нее, — он не командует с какого-то возвышения, — он делает необходимое и простое дело.

«Органический революционер» Клебера характерен своей устремленностью. Он полон энергии, воли к активному созиданию. Этому образу свойственна напряженная динамичность. Он раскрывается в действии. Созерцательный психологизм здесь не может иметь места: пассивность, спокойствие, инертность противоречат характеру этой человеческой индивидуальности. Не углубление в психологию действующего лица является теперь средством раскрытия образа, — художник ставит акцент на деятельности, поступке, стремлении. Через это характеризуется человек Клебера. В этой подчеркнутой динамичности основного образа находят свою конкретизацию особенности классовой природы нашего художника, выражающего идеологию пролетарского авангарда,— сознательное, активное стремление определяет здесь сущность классового типа.

III

Новелла типична для Клебера. Постоянно он возвращается к этой жанровой форме. Его единственный роман «Пассажиры третьего класса» является в сущности собранием многих новелл, об'единенных общей тенденцией. Это своеобразное пристрастие имеет свои основания.

Оно восходит не только к актуальности искусства Клебера, но и к тому, что оно первично. Мы имеем дело с художником революционного пролетарского авангарда: в его произведениях оформляются злободневные, насущные вопросы момента. Здесь нужна большая гибкость, броскость, легкость, своеобразная портативность литературной формы. Искусство Клебера, очень глубокое в своем содержании, имеет простую, четкую, легко намечающуюся целеустремленность. Оно всегда имеет боевой, активистский, ударный оттенок. У него всегда — близкий, легко различимый прицел. Оно очень далеко от того, чтобы стремиться к монументальному. Здесь не поднимаются массивные пласты, не осмысливаются большие философские проблемы — перед искусством Клебера стоят жизненные и важные, но гораздо более близкие задачи. Оно отвечает данному моменту революционной борьбы. Недаром Клебер в своей литературной работе близок, как и все революционные немецкие писатели, к газете. Новелла Клебера всегда может быть материалом газетного листа — так высока ее актуальность, заостренность, злободневность. Художник приходит к действенной, энергичной форме короткого рассказа потому, что его искусство имеет животрепещущий, актуальный смысл.

Для художника революционного рабочего авангарда новелла оказывается первичной формой. Его искусство развертывается в обстановке ожесточенной борьбы утверждающего себя класса. Здесь еще нет почвы для романа. Роман есть нечто итоговое. Это — результат широкого, спокойного видения. Искусство Клебера возникает в более раннюю пору. Это — искусство борьбы, обыденного революционного делания. Оно по-своему чрезвы-

чайно узко и конкретно. Оно еще не восходит к большим обобщениям. Оно живет очень интенсивной жизнью и замкнуто в кругу насущных, четко поставленных задач. В произведениях Клебера мы имеем первые выражения искусства революционного пролетарского авангарда; это — очень полная, глубокая и действенная форма революционного искусства, в которой потенциально содержится все огромное содержание пролетарского искусства в его последующем развитии. Но на данном этапе оно еще не является развернутым и ограничено самым насущным и актуальным. Тяготение Клебера к жанру новеллы есть выражение первичности его искусства.

Короткий рассказ Клебера достаточно специфичен. Прежде всего, здесь ничто не напоминает любовную новеллу, как мы знаем, совершенно типичную для буржуазной практики. Новелла Клебера перестает быть той формой индивидуалистического искусства, какой она является со времен Чосера и Бокаччио. Она больше не сводится к тому, что в ней разрешаются индивидуальные судьбы. От гиперболизации личного новелла Клебера совершенно свободна. И если буржуазная новелла всегда была жанром комнатным, служила малой формой раскрытия традиционных событий, если в ее уютные камерные масштабы умещалась все та же мещанская любовно-психологическая драма, то у Клебера новеллы становятся живым отрезком социальной действительности. Она, так сказать, выведена на улицу и лишена своего интимного индивидуалистического облика.

Буржуазная новелла являлась всегда строго централизованной системой — в ней не только всегда содержалась какая-то личная драма, она еще стремилась стать внутренне замкнутой, обособленной, самодовлеющей. В малых масштабах жанра выражалось типичное содержание буржуазного искусства. Новелла имела своим центром героя, судьба которого и определяла направление вещи. Герой поднимался или падал, побеждал или оказывался побежденным — причудливая игра индивидуальной судьбы всегда была тканью новеллы.

Вместе с тем, как было разрушено Клебером представление об индивидуальном, как о чем-то самодовлеющем, замкнутом, оказалась устраненной и специфическая индивидуалистичность новеллы. Она стала вмещать в себя совершенно иное содержание.

Люди попрежнему действуют в новелле. Но они уже воспринимаются иначе. Это — не одиночки, а люди, связанные в неразрывное единство с общественным целым. Так, их судьба становится судьбой социальной. Новелла Клебера уже не имеет индивидуалистического облика, она предстает перед нами, как выражение определенного момента в социальном бытии.

Художник рассматривает действительность не как что-то застывшее, покоящееся, недвижимое, — этот мещанский фетишизм решительно отбрасывается. Действительность предстает уже как делящийся, непрерывно протекающий процесс. Она понимается диалектически.

В произведениях Клебера мы находим очень полно реализованное представление о действительности, как о процессе. Это видоизменяет жанр новеллы в самой ее основе. Короткий рассказ Клебера стремится к тому, чтобы стать непрерывным. В нем нет начала и конца, которые были бы абсолютными его границами. Художник дает всегда отрезок действительности, пределы которого стерты. Он не замыкает этот отрезок действия, так что всегда мыслимо продолжение рассказа, равно как и предразвитие его всегда подсказано. Здесь новелла Клебера крайне своеобразна. Ее отличает большая текучесть, изменчивость, гибкость. Она — диалектична.

Буржуазную новеллу отличает характерное свойство: она стремится к внутренней замкнутости; отсюда сложный и очень изощренный аппарат ее пространственного и временного ограничения. Можно сказать, что техно-

логия новеллы сводится в основе к построению завязки и концовки. В этом смысле новелла являлась очень последовательным выражением буржуазного индивидуализма. Буржуа мыслил мир, как замкнутую, строго регламентированную, стабильную систему, которая находится в состоянии покоя. Буржуазное искусство является выражением этого мировосприятия — новелла в особенности.

Клебер производит революцию в искусстве новеллы, снимая все признаки ее традиционной ограниченности. Он создает своеобразную форму активной новеллы, пропитанной социальной динамикой.

В «Баррикадах» это нашло особенно полное раскрытие. Эпизоды рурского разгрома представляются не в виде обособленных изображений, а непосредственно переходят друг в друга, сливаясь в общем потоке. Каждая из данных здесь новелл имеет свой особый смысл, существует, как самостоятельная система,— имеет свой облик. Но вместе с этим она не изолирована от общего и естественно с ним соединяется. Как правило, новелла Клебера не имеет Vorgeschichte и начинается без всякого вступления, сразу вводя в суть дела. Концовка Клебера также не является чем-то изолирующим новеллу от процесса живой действительности, скорее, эта концовка предполагает обращение к новому явлению. Так, новелла становится не замкнутой системой, а звеном длящегося процесса. Она всегда имеет свое продолжение, внутренняя динамика вещи, ее устремленность — таковы, что произведение как бы переплескивается за свои пределы.

Новелла Клебера отличается очень скупой расстановкой своих компонентов. Художник, тяготеющий к предельно простым, совершенно обнаженным построениям, не терпит ничего, что отяжеляло бы его композиции — его повествовательная манера чрезвычайно строга и сдержанна. Художник постоянно борется за свежесть своего зрения, за наиболее лаконичную и сжатую систему характеристики, он стремится представить действительность в самых простых и отчетливых выражениях.

В этом есть своеобразный аскетизм. Мы не найдем у Клебера красочной пестроты, и, можно сказать, что его изображения сделаны в черном и белом. Их выразительность специфическая, они впечатляют не потому, что они живописны,—они воздействуют своей энергичностью, своей социальной активностью. Аскетизм, суровость революционного стиля Клебера имеют свою патетику. Это — искусство очень строгих очертаний, здесь не допустима никакая размагниченность, здесь все очень подтянуто, все насыщено энергией. Это — искусство борьбы, а не созерцания.

В «Пассажирах третьего класса» Клебер давал изображения, разлагающие косную традицию мещанского быта. Роман поэтому имеет негативное, сатирическое направление.

Новелла Клебера уже не обращена к быту. Ее характеризует сосредоточенная динамичность, внестабильность изображения. Здесь все находится в непрекращающемся движении, все становится. Происходит постоянное перемещение элементов. В новелле Клебера нет быта так же, как нет здесь положений статичных, — быт статичен в самой своей сущности, новелла же Клебера стремится. Нет необходимости останавливаться на рассматривании подробностей бытового уклада, когда все внимание сосредоточено на развертывающемся историческом столкновении классов. Совершенно другая взята перспектива.

Устремленное к своей революционной цели, глубоко активное искусство Клебера отстраняет бытовую традицию. В «Пассажирах» она беспощадно разоблачалась; в новелле Клебера быт уже вовсе не существует. Здесь мы имеем дело с новой формацией людей, перед нами представители той части рабочего класса, для которых борьба с капиталистическим режимом является

глубоко осознанной исторической задачей. Здесь все сосредоточено на революционном стремлении. Действие, активное выявление доминируют над всем. Изображается не бытовой уклад рабочей семьи, не внутренние бытовые взаимоотношения, не семейная, любовная или какая-нибудь другая драма,— все это в данном контексте кажется второстепенным. Люди рассматриваются в их общественном выявлении, они выступают как носители революционной энергии.

Вот почему нет быта в новелле Клебера. Искусство этого художника имеет перед собой более насущную актуальную задачу. Для положительных изображений быта на данном этапе нет места. Такова диалектика положения. Внестабильность, внебытовость новелл Клебера совершенно закономерны.

**
*

Проблема Клебера, конечно, гораздо более широка, чем проблема его творческой индивидуальности. Клебер — не только крупнейший революционный рабочий художник Германии, он еще — типичное явление.

Пролетарское искусство, развивающееся в обстановке буржуазного господства, преодолевает ряд значительных трудностей на своем пути. Рабочий класс находит своих художников не сразу и не просто.

Можно было бы назвать множество примеров, когда писатели, вышедшие из среды рабочего класса, изменяли революционному направлению, омещанивались. Здесь мы имеем не только рабочих писателей, которых немецкая социал-демократия воспитывает в духе реформизма и покорного приятия капиталистической действительности, но и многих достаточно мощных творческих индивидуальностей, связанных с рабочим классом, но оступившихся в буржуазное болото.

Нужна большая выдержанность для художника революционного авангарда. И прежде всего тесная, глубочайшая связь с передовыми революционными слоями рабочего класса.

Клебер является замечательным примером такого художника. Как мы видели, его творчество противостоит буржуазному искусству не менее решительно, чем его класс противостоит капиталистическому порядку. Искусство Клебера имеет поэтому очень энергичный, актуальный, боевой смысл.

Только таким может быть на данном этапе искусство революционного рабочего художника. Оно живет в неразрывном единстве с революционным развитием класса. В этом его сила и его будущее.

Пролетарское искусство возникает на почве отрицания буржуазного порядка. Оно тем полнее и интенсивнее развертывается, чем более глубоким оказывается это отрицание. Там, где буржуазный порядок уже поколеблен в своих основаниях и революционное развитие рабочего класса поднимается достаточно высоко, — возникает почва для интенсивного роста пролетарского искусства. Именно такую обстановку мы имеем в современной Германии после ряда мощных революционных взрывов. Именно в Германии возможно такое явление, как Клебер, творчество которого является столь полным и развернутым выражением пролетарского искусства. Именно в Германии мы имеем сейчас становящееся все более мощным массовое движение пролетарской литературы.

За Клебером, который еще молод, но уже стал патриархом, следуют Грюнберг, Лорбер, Абуш, Глоза. За ними последуют другие. В этом есть много пафоса.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Кочин. Девки. Роман. Изд. «Федерация». 1929, стр. 211, ц. 1 р. 50 к.

Роман Кочина развертывает бытовую действительность современной деревни. Восприятие художника отличается большой непосредственностью, роман необычайно свеж, сочен, его изображениям присуща конкретная полнота. В Кочине мы встречаемся не с посторонним свидетелем, видящим деревню из некоего далека,— художник неразрывно связан с изображаемым им бытием. Все это придает свидетельствам автора «Девок» особый интерес. В нашу деревенскую литературу книга Кочина вносит нечто новое, заслуживающее особого внимания.

Тем с большей серьезностью должны мы отнестись к этому произведению. Оно имеет достаточно характерное и четко выраженное направление. Прежде всего Кочин видит деревню страшную, коснеющую в вековых собственнических традициях, темную деревню, которая подстать Бунину. У него находятся замечательные по выразительности слова для того, чтобы показать эту зверскую, мрачную деревню. Можно сказать, что роман в основе своей движется представлениями именно этого характера.

Интересно, что художник дает здесь изображение, не стремящееся сомкнуться в какие-то немногие образы, а чрезвычайно широко растекающееся. Много действующих лиц является воплощением этой косной варварской стихии. Много положений и эпизодов служит к тому чтобы раскрыть ее, но все они не становятся самостоятельными. Только через раздробленность распыленных изображений возникает один образ кулацкой деревни. Все множество отдельных черт этого образа, данных в отдельных людях и отдельных положениях, стремится стать единством лишь в этом обобщающем смысле.

У Кочина мы не найдем изолированных и внутренне завершенных образов кулацкого склада,— все они являются лишь ответвлениями, частными раскрытиями общего плана. Так, ни один кулак в романе не складывается в самодовлеющую фигуру, которую можно было бы считать центральной для романа. Вся композиция этого плана дана у Кочина так, что только через большую дробность, множественность отдельных изображений, отдельных фигур поднимаемся мы к какому-то конретному обобщению.

На первый взгляд вся эта система представляется центробежной — мы стоим перед многообразием изолированных характеристик, и кажется, что частное все время торжествует, что перед нами очень аморфное образование, но потом оказывается, что пестрота отдельных картин является лишь формой раскрытия одного образа. Он взят широко, это — образ кулацкой варварской деревни. Он дается убедительно, свежо, впечатляюще, непосредственно, именно через откровенную раздробленность, распыленность своих частных выражений.

Надо ответить на вопрос о том, почему образ кулацкой стихии именно так дается у Кочина. Почему, например, он не конкретизируется в каком-нибудь определенном, человеческом образе, а разложен на множество дробящихся, отталкивающихся друг от друга характеристик. Мы думаем, что здесь сказывается то отношение, в котором художник стоит к этой кулацкой деревне. С одной стороны, он от нее отталкивается потому, что она есть для него классово враждебная действитель-

ность; с другой,—у него не находится достаточной энергии для окончательного преодоления этой косной действительности.

Кочина характеризует внутренняя половинчатость, противоречивость.

Это находит свое выражение в трактовке образа кулацкой стихии, предлагаемой художником. Он поднялся до известного разложения элементов этой действительности, он постигает их уже аналитически, подходит к ним как критик, но он еще недостаточно последователен в своей интерпретации.

Роман называется «Девки» не случайно — его сюжетным стержнем служит проблема половой жизни деревенской молодежи. Из всего нами сказанного уже видно, что это стержень несколько искусственный: настоящее содержание романа идет в глубь социальных отношений современной деревни. Но автор уделяет этому стержню очень много внимания. Он стремится найти в нем иллюзию единства своего произведения.

Образ кулацкой стихии интерпретируется, как мы видели, чрезвычайно раздробленно в «Девках» — стержень должен служить связывающим началом. И мы видим, как автор занимается открытой гиперболизацией мотивов, с ним связанных. Сексуальная тема получает в романе очень широкое распространение. Можно сказать, что она стремится поглотить все остальное.

Здесь происходит любопытная трансформация. Сексуальный мотив начинает служить отражением образа варварской кулацкой стихии, который лежит в основе романа. Перед нами — изображения, в которых сущность консервативной собственнической деревни очень ярко показана. Но подчинение стержня основному направлению романа не является полным — в очень значительной своей части этот стержень живет, существует как беспредметная сексуальная экзотика (именно здесь Кочин дает больше всего повторений, ничем неоправданных длиннот); в этом сказывается характерная противоречивость книги Кочина.

Если в основе романа лежит столь своеобразно, полно, выразительно интерпретированный образ кулацкой деревни, как видим, в значительной мере подчиняющей себе даже эротичность вещи, то он вовсе не является единственным, все определяющим.

Роман Кочина есть более сложная и диференцированная система. Образу кулацкой деревни художник стремится нечто противопоставить.

В «Девках» есть два очень близких друг к другу, можно сказать взаимно повторяющихся, образа,—Парунька и Федька. Это и есть антитеза кулацкой деревни.

Парунька — затравленная ханжеской, варварской деревней девушка-батрачка.

Федька — деревенский активист, сраженный кулацкой рукой.

Мы намеренно подчеркиваем трагическую обреченность этих фигур. И Федька, и Парунька приходят к своей гибели. Это характерно. Кочин чрезвычайно мягко, проникновенно характеризует этих искателей нового, этих пионеров деревенского переворота. Несомненно, его глубочайшее сочувствие этим скромным, но героическим личностям.

Он хотел бы их возвеличить, и все-таки приводит их к гибели. В этом— основной узел социальной детерминированности творчества Кочина.

Вспомним, как характерно давался им образ кулацкой деревни: несмотря на свою раздробленность, разорванность, многоликость свою, он все же получил как бы помимо воли самого автора грузную устойчивость, массивность, давящую силу, весомость. В образах второго плана, как видим, есть большая цельность — они возникают, как какие-то очень четкие и ясные построения и, несмотря на это, имеют трагический исход.

Так же, как половинчато, противоречиво было отношение Кочина к кулацкой стихии, так же по-свему противоречиво и его отношение к новой деревне. Та незрелость, которая проявлялась в оценке кулацкой стихии, проявляется и здесь. Там Кочин был недостаточно критичен — здесь он недостаточно активен. Перед нами художник таких средних групп современного

крестьянства, которые отталкиваются от кулацкого влияния, но еще не вступают со всей решительностью на путь революционной бедноты. Половинчатость, внутренняя противоречивость автора «Девок» обусловлены этой классовой ситуацией.

Путь Паруньки и Федьки одинаков. Сквозь толщу варварских традиций, зверских обыкновений темной собственнической деревни эти люди стремятся к тому, чтобы стать новыми, чтобы стряхнуть с себя пыль старой деревни. Неизбежно они встречаются в своем развитии с сопротивлением враждебных и косных сил. Развитие конфликта протекает все время так, что сила сопротивления кажется более мощной, чем натиск. Энергия традиции всегда преобладает в изображении Кочина над энергией революционного наступления, представителями которого являются Федька и Парунька. Обреченность их все время подсказывается.

Особенно полно это выражено в образе Паруньки. Она больше мечтательница, чем активистка, ее облик страдальческий — трагическая горечь этого образа содержит в себе очень мало революционной упругости.

Роман строится так, что в двух первых частях его дается живое развитие событий, а в третьей—менее живой синтез. В первых двух частях все в сущности успевает завершиться: становится конкретным образ варварской кулацкой стихии (замечательный деревенский пожар служит здесь выразительной кульминацией), приходят к своему трагическому завершению судьбы Паруньки и Федьки. Все казалось бы кончено.

Но в третьей части все начинается снова. Здесь Кочин хотел показать, как на развалинах сгоревшей деревни возникает новый мир. Это должно быть победой первых, сраженных активистов. Но странное дело, эта часть, столь благими намерениями отмеченная, менее других четка, конкретна, выразительна. В ней очертания становятся расплывчатыми — можно только догадываться, чего хочет наш автор. В образной системе, в живых словах, которыми он располагал раньше, ему не удается этого сказать. Да он и не мог этого сделать — это значило бы, что человек перепрыгнул через самого себя. Искусственность синтеза, его феерический характер—закономерны в данном соотношении.

Кочин может двигаться вправо и влево — к Федьке и к его врагам, так что в его последующем творческом развитии мы еще можем встретить не феерию новой деревни, поднимающейся в борьбе, а ее совершенно конкретное и живое раскрытие. Но для этого нужно не только время, но и развитие классового сознания художника.

Федор Иванов

Георгий Шилин. Страшная Арват. ЛАПП, «Прибой» (Современная пролетарская литература), 1929, стр. 218, ц. 1 р. 20 к.

Тематика Г. Шилина — это советский Восток, люди Шилина — старые и новые, советские и несоветские, раскалывающие былой консерватизм уклада и застывающие в нем.

Г. Шилин — художник малого жанра, действительность он фиксирует в небольших по об'ему отражениях, он не охватывает жизни Советского Востока во всей сложности его противоречий. Попытка сильной, волевой тюрчанки круто повернуть к советскому обиходу один из глухих дайра (район) и гибель ее,—ибо слишком силен был напор, противодействие ее сбросило (рассказ кончается сценой самосуда («Страшная Арват»). Разрыв тюрчанки с самодуром мужем при содействии женотдела («Шефике») и, наоборот, гибельная покорность другой («Саадыт»). Упорство безграмотного председсельсовета заоблачного Узуна, затащившего старый локомобиль к себе в горы и осветившего свой угол электричеством, открывшего залежи квасца («Шайтан»). Такова тематика свежей книжки Г. Шилина. Он знает то, о чем пишет,— небольшое берет Шилин из действительности, но это небольшое не есть случайное, оно преломляет в себе линии многих и значительных явлений.

Стилевой облик рассказов своеобразен, местный колорит в них — не только в тематике, но и в сказе. «У Гюлли-Ханум — большое хозяйство. Для такого хозяйства надо иметь большую голову. Тут не ковер ткать, не шерсть бить, а управлять селом и не одним селом, а целым дайра, в котором четыре села.

Лучшей женщины нет во всем дайра. Она умнее и сильнее всех зоргеранских мужчин».

Эта сказовая расцветка не переходит у Шилина в стилизацию, он не использует ее там, где некоторая суховатость и реалистическая точность изображения определяются самой материей.

Умело использует Г. Шилин и тонкое оружие иронии и юмора («Бабуш и Алыш», «Шефике»), образы торгашей и плутоватых, но опрокидываемых советской действительностью тюрок даются им сочно, с художественным тактом.

Г. Шилин знает свои творческие возможности и делает только то, что умеет делать. Для роста начинающего писателя — необходимое условие.

Ник. Сергеев

Гофманиана

Жан Мистлер. Жизнь Гофмана. Перев. с франц. А. Франковского. Изд. «Академия», 1929, стр. 231, ц. 1 р. 40 к.

Э. Т. А. Гофман. Собрание сочинений под ред. и с предисловием П. С. Когана. Том. I. Серапионовы братья, стр. 341, ц. 2 р. 50 к. Том II. Серапионовы братья (окончание), стр. 289, ц. 2 р. 50 к. Перевод с немецкого З. А. Вершининой. Изд. «Недра», 1929.

Э. Т. А. Гофман. Повелитель блох. Перевод с немецкого М. Петровского. Гравюры на дереве А. Кравченко. Предисловие П. К. Губера. Изд. «Академия», 1929, стр. 262 + XVIII, цена 1 р. 85 к.

Как видим, Гофман пользуется у нас значительным вниманием. В то время как многие классики буржуазного реализма, творчество которых представляет неизмеримо больший интерес (например, Бальзак), не находят места в планах наших издательств, Гофман получает широкое распространение.

Мы не имеем намерения отрицать Гофмана, мы только сомневаемся в том, достаточно ли оправдано его предпочтение другим классикам буржуазной литературы, хотя бы тому же Бальзаку.

Творчество Гофмана, конечно, не может представить интереса для широких слоев нашего читателя — в настоящее время оно неизбежно должно быть расчитываемо на любителей, на эстетствующих. Так что неожиданное наводнение нашего рынка изданиями Гофмана не может иначе рассматриваться, как уступка вкусам культурных одиночек в противоречии с запросами читательской массы. Гофман — это очень узко, специфично и, пожалуй, реакционно.

Не только книги Гофмана появляются, но и литература о Гофмане. Никто не удосужился перевести биографий Золя, Раблэ, Гюго, Дидро, а вот жизнеописание Гофмана, сделанное Ж. Мистлером, появляется с большой поспешностью. Об этой книге мы и будем говорить в первую очередь.

Она содержит в себе обычные недостатки романа-биографии, сделанного буржуазным автором. Здесь нет прежде всего той общественной перспективы, в которой может быть верно представлена творческая индивидуальность. Как всегда, личность писателя здесь фетишизируется.

Но этого мало, самое раскрытие индивидуального облика писателя дается очень узко и односторонне. Не было еще ни одного романа-биографии, в котором с необходимой полнотой была бы показана история творческой личности. Происходит постоянное перемещение — в художнике, история которого рассматривается, биограф не видит того, что является самым важным, насущным, животрепещущим. В Бальзаке он не видит автора «Человеческой комедии», а Жорж Занд для него важна только в свете ее романа с Шопеном. Самая сущность упускается из виду.

Роман-биография обычно ориентируется на будничное житие художника, а не на его творческое существование.

Список книг, полученных редакцией для отзыва

ГОСИЗДАТ.

Блок Александр, Собр. соч., Стихотворения, поэмы, театр, ред., вступит. статья и примеч. Гольцова В. В., предисл. Когана П. С., стр. 339, ц. 4 руб.

Коган П. С., Очерки по истории новейшей русской литературы, т. IV, стр. 323, ц. 2 руб., перепл. 30 к.

Бакунц, Аксель, Темное царство, сборн., пер. с армянского Бабаяна А., стр. 207, ц. 1 р. 40 к.

Светлов М., Книга стихов, стр. 184, ц. 2 р., перепл. 10 к.

Караваева А., Двор, повесть, стр. 126, ц. 20 к.

Бересфорд Дж. Д., Революция, роман, пер. с англ. С-на Игоря, стр. 197 ц. 1 р.

ПРИБОЙ.

Щеголев П. Е., Книга о Лермонтове, вып. I, стр. 228, ц. 3 р. 20 к.

Робеспьер М., Переписка, собрал Мишон Ж., пер. Шуваловой Ф., ред. и прим. Фридлянда Ц., стр. 265, ц. 2 р. 50 к.

Честертон Г. К., Человек, который был четвергом, пер. с англ. Вайсенберга Л. М., стр. 279, ц. 1 р.

Дженнингс Ф., На дне Лондона, пер. с англ. Левберга М. Е., стр. 232, ц. 1 р.

Шагинян Мариэтта, Собр. соч., т. II, Голова Медузы, повести и рассказы, 1915 — 1928, стр. 430, ц. 2 р. 50 к., перепл. 30 к.

Рождественский Всеволод, Гранитный сад, сборн. стихов, стр. 140, ц. 2 р. 25 к., перепл. 23 к.

ЗИФ.

Мак-Кей Клод, Домой в Гарлем, пер. с англ. Волосова М., предисл. Ван-Манс и Вильсона В., стр. 239, ц. 1 р. 50 к.

Яковлев Александр, Полн. собр. соч., т. VI, Человек и пустыня, роман, кн. I, стр. 288, ц. 2 р.

То же, т. VII, Человек и пустыня, роман, кн. 2, стр. 316, ц. 2 р.

Майн-Рид, Собр. соч., т. XXI, На дне трюма, роман, пер. под ред. Мандельштама О., пред. Сторчакова, стр. 244, ц. 1 р. 25 к.

Шишков Вячеслав, Полн. собр. соч., т. VIII, Торжество, Шутейные рассказы, стр. 202, ц. 1 р. 60 к.

Ряховский Вас., Четыре стены, роман, стр. 272, ц. 2 р. 25 к.

Ильф Илья и *Петров Евг.*, Двенадцать стульев, роман, 2 изд. стр. 416, ц. 2 р. 40 к.

Завадовский Леонид, Железный круг, рассказы, стр. 168, ц. 1 р. 50 к.

Алтаев Ал., Последние звенья, роман, стр. 168, ц. 1 р. 30 к.

Четвериков Дм., Заграничный Степан, сборн., стр. 268, ц. 2 р.

Аш Шолом, Дядя Мозес, пер. с еврейского под ред. Гехт С., стр. 276, ц. 1 р. 20 к.

Келлерман Бернгард, Собр. соч., т. V, пер. Вершининой З. А., стр. 362, ц. 1 р. 80 к., перепл. 25 к.

Зегерс, Восстание рыбаков, пер. с немецк. Немирова С. Н., пред. Уманского Д., стр. 116, ц. 70 к.

Донн Бэрн, Дом палача, роман, пер. с англ. Волосова М., пред. Звавича И., стр. 325, ц. 1 р. 80 к.

Купер Фенимор, Полн. собр. соч., т. IV, Следопыт, роман, стр. 267, ц. 1 р. 40 к.

Авилов Мих., Подшефные коммуны № 5, стр. 119, ц. 80 к.

Неверов Александр, Андрон Непутевый, повесть, стр. 46, ц. 15 к.

ПРОЛЕТАРИЙ.

Веселый Артем, Пирующая весна, вступит. статья Полонского В., стр. 548, ц. 4 р. 25 к.

Инбер Вера, Так начинается день, очерки, стр. 162. ц. 1 р. 50 к.

Ее же, Стихи, стр. 206, ц. 1 р. 90 к.

Сытин Александр, Пастух племен, роман, стр. 290, ц. 2 р. 10 к.

Гехт С., Штрафная рота, повесть, стр. 126, ц. 80 к.

ACADEMIA.

Гофман Э. Т. А., Повелитель блох, стр. 262, ц. 1 р. 85 к., перепл. 80 к.

НЕДРА.

Гофман Э. Т. А., Собр. соч., пер. с нем., ред. Вершининой З. А., т. II, Серапионовы братья, стр. 289, ц. 2 р. 30 к., перепл. 70 к.

То же, т. III, Серапионовы братья, стр. 353, ц. 2 р. 30 к., с перепл. 70 к.

Вересаев В., В двух планах, статьи о Пушкине, стр. 205, ц. 1 р. 75 к.

Колоколов Николай, Шкура ласковая, рассказы, стр. 187, ц. 1 р. 60 к.

Редакц. коллегия: Вл. Васильевский. Б. Волин. Вс. Иванов. С. Канатчиков. Ф. Раскольников.

Ответственный редактор: Ф. Раскольников.

Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4, тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

Продолжение воспоминаний С. Подьячева «Моя жизнь» будет помещено в следующем номере «Красной нови».